

**ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН*

**2**

**МАРТ-АПРЕЛЬ**

---

"НАУКА"  
МОСКВА – 2011

## СОДЕРЖАНИЕ

Б.А. Успенский (Рим/Москва). Дейксис и вторичный семиозис в языке.....	3
Л.Л. Касаткин (Москва). Орфоэпема как основная единица орфоэпии .....	31
А.Ф. Журавлев (Москва). Фреквентарий мотивных элементов в мифологиях мира.....	39
В.Ю. Апресян (Москва). Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональ- ные концепты (II).....	63
Г.В. Федюнсва (Сыктывкар). О статусе местоглаголия в языке.....	89
В.В. Семенов (Тарту). К проблеме метрической неоднозначности в русском неклассиче- ском стихе XX в. ....	97

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

И.В. Недеялков (Санкт-Петербург). Об отце – лингвисте и учителе .....	111
---	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

П.М. Аркадьев (Москва). <i>R.P. Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel</i> (eds.). Text, time, and context. Selected papers of Carlota S. Smith .....	132
Н.В. Вострикова (Москва). <i>P. Epps, A. Arkhipov</i> (eds.). New challenges in typology: Transcending the borders and refining the distinctions .....	139
В.Д. Соловьев (Казань). <i>M. Everaert, S. Musgrave, A. Dimitriadis</i> (eds.). The use of databases in cross-linguistic studies .....	142
А.С. Кулева (Москва). <i>Н.А. Николкина</i> . Активные процессы в языке современной русской художественной литературы .....	151

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

#### Хроникальные заметки

М.И. Конюшкевич (Гродно). XII Международные научные чтения «Е.Ф. Карский и современное языкознание» (Навстречу 150-летию Евфимия Федоровича Карского)...	156
---	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин,  
В.А. Виноградов* (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,  
В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,  
Ю.И. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован,  
Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плузгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, А.С. Кулева, М.М. Маковский*  
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,  
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН  
Редакция журнала «Вопросы языкознания»  
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:  
[www.ruslang.ru](http://www.ruslang.ru), см. раздел «Издания»

© 2011 г. Б.А. УСПЕНСКИЙ

## ДЕЙКСИС И ВТОРИЧНЫЙ СЕМИОЗИС В ЯЗЫКЕ

В статье уточняется понятие дейксиса. Особое внимание уделяется рассмотрению так называемого «вторичного дейксиса», который не связан непосредственно с речевой ситуацией и представляет собой трансформацию первичного дейксиса (т. е. дейксиса в собственном смысле) в особом речевом режиме.

**1.1.** Человеческая коммуникация так или иначе основывается на естественной диалогической речи, которая может экстраполироваться на иные сферы коммуникационной деятельности. Диалогическая речь не предполагает обязательный обмен репликами между участниками коммуникации, но предусматривает саму возможность такого обмена (которая может реализоваться или же не реализоваться в действительности); в этом смысле в рамках диалогической речи оказывается возможен монолог, так же как и спорадические элементы наррации. Вместе с тем диалогическую речь как таковую характеризует направленность на диалогическое общение, предполагающая регулярный обмен репликами и исключая элементы монолога и наррации: монолог и наррация возможны в рамках диалогической речи, не будучи присущи диалогической речи в собственном смысле. Диалогическая речь определяет так называемую каноническую речевую ситуацию, когда есть говорящий и слушающий, которые связаны единством места и времени, имеют общее поле зрения и могут видеть жесты и мимику друг друга<sup>1</sup>; наиболее важным при этом является наличие говорящего и слушающего, объединенных временем речевого акта.

Разнообразные формы лингвистической активности, т.е. владения языком, не ограничиваются диалогическим общением, но в существенной степени базируются на нем. При этом могут различаться первичные значения, проявляющиеся именно в условиях диалогической речи, и вторичные значения, которые реализуются в других условиях, но объясняются из первичных.

Это явление отчетливо проявляется на примере дейксиса. В собственном смысле слова дейксис представляет собой явление диалогической речи, предполагающей участие говорящего и слушающего, меняющих свои позиции в процессе общения (см. ниже, § 1.2); вместе с тем существует так называемый «вторичный дейксис», который не связан непосредственно с речевой ситуацией и представляет собой трансформацию первичного дейксиса в особом речевом режиме; «вторичный дейксис» – это явление вторичного семиозиса<sup>2</sup>. Мы будем называть этот режим «режимом вторичного дейкси-

\* Автор считает своим долгом выразить признательность Е.В. Падучевой и В.М. Живову, которые ознакомились с данной работой в ее предварительной версии; их советы и замечания оказались очень полезными при ее окончательном редактировании.

<sup>1</sup> См. [Lyons 1977: 637 (§ 15.1)]; ср. [Падучева 1995/2009: 527].

<sup>2</sup> Вторичный семиозис предполагает не непосредственное соотнесение формы с содержанием, а соотнесение ее через другой знак (при этом образуется цепочка: знак знака..., см. [Uspensky 1976: 80–82 (примеч. 34)]).

са»; в тех же случаях, когда дейксис непосредственно связан с речевой ситуацией, мы будем говорить о «речевом режиме» или «режиме первичного дейксиса».

В первой части данной работы мы будем говорить о дейксисе как таковом, т. е. «первичном дейксисе», и всегда иметь в виду диалогическую речь (даже если это специально каждый раз не оговаривается). «Вторичный дейксис» рассматривается во второй части работы.

**1.2.** Дейктическими принято называть слова, которые соотносятся со своими обозначаемыми не непосредственно, но в процессе коммуникации, т.е. не в языке, а в р е ч и, – иначе говоря, через речевой акт.

В обычном случае слова относятся в нашем сознании к некоторой реальности – актуальной или виртуальной<sup>3</sup> – независимо от процесса коммуникации. Так, например, слово *стол* служит для обозначения любого члена открытого класса отождествляемых объектов, которые ассоциируются на основании тех или иных характеристик. Такого рода классификация представлена в языке, которым мы пользуемся, – независимо от того, имеет ли место процесс коммуникации, т.е. в отвлечении от речевой деятельности<sup>4</sup>.

Дейктические слова между тем непосредственно относятся к акту коммуникации и только опосредованным образом – через речевой акт – соотносятся с той реальностью (актуальной или виртуальной), которая является предметом коммуникации<sup>5</sup>. Эти слова не обладают абсолютно независимым содержанием, в полной мере абстрагированным от акта коммуникации<sup>6</sup>.

Итак, явление дейксиса состоит в том, что слово соотносится со своим обозначаемым через указание (эксплицитное или имплицитное) на речевой акт; таково общее определение дейксиса (основывающееся на диалогической речи). Указание на речевой акт осуществляется в диалогической речи как ориентация на актуального или потенциального говорящего<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Актуальная реальность представлена денотатами, виртуальная – значениями (в специальном семиотическом смысле этого слова).

<sup>4</sup> Обсуждая вопрос существования языка, В. Пизани писал, что, когда двести юкагиров «спят и не видят снов» (предполагается, что все население юкагиров состоит из двухсот человек), язык их перестает существовать и может прекратить свое существование, если по какой-либо причине юкагиры перестанут просыпаться ([Pisani 1953: 24]; см. также [Косериу 1963: 157]). Мы полагаем, напротив, что язык как модель мира, будучи продуктом коммуникации, существует и вне акта коммуникации, независимо от нее.

Ср. в этой связи различное понимание времени в разных культурных традициях: время может мыслиться как нечто абстрактное и лишь внешним образом связанное с миром, т.е. условная масштабная сетка, с которой соотносятся происходящие события; или же, напротив, как нечто конкретное и в принципе неотъемлемое от меняющегося мира и происходящих в нем событий (ср., в частности, различие линейного и циклического времени). В первом случае время может мыслиться отдельно от мира, как нечто в принципе от него независимое: мир может перестать существовать, но это не означает исчезновения времени; во втором случае конец мира с необходимостью означает исчезновение времени – предполагается именно, что если мир прекратит свое существование, «времени уже не будет» (Откр. X, 6). См. [Успенский 1988–1989/1996: 44–45].

<sup>5</sup> В частности, только через речевой акт они соотносятся со своими денотатами. В обычном случае связь между словами и денотатами – иначе говоря, идентификация предметов или явлений – осуществляется через значения.

<sup>6</sup> Ср. наименование местоимений (т.е. наиболее типичных дейктических слов) в санскрите: *sarvanama* ‘имя для всего’ (ср. [Greenberg 1986: XVII]). Тем самым подчеркивается, что в системе коммуникации (в языке) местоимения могут обозначать самые различные объекты, при том что в акте коммуникации (в речи) они приобретают конкретное содержание.

<sup>7</sup> Указание на участника речевого акта выступает как необходимое, но не достаточное условие для определения дейксиса. Так, при указании на говорящего субъекта совсем не обязательно имеет место дейктическая референция, т.е. соотнесение значения слова с речевым актом. В самом деле, указание на говорящего может содержаться в словах, выражающих субъективную модальность (ср., например, такие вводные слова, как *к сожалению*, *вероятно* и т. п.) или оценочную

Различение актуального и потенциального говорящего в принципе отвечает различению 1-го, 2-го и 3-го лица (*я, ты* и *он, она, оно*).

*Я* обозначает актуального говорящего в актуальном дискурсе (*я* – это тот, кто говорит). *Ты* обозначает потенциального говорящего в актуальном дискурсе (*ты* – это тот, кто может стать говорящим в данном диалоге). *Он, она* и *оно*, если эти слова относятся к лицу, обозначают потенциального говорящего в потенциальном дискурсе (это те, кто в данный момент находятся вне ситуации коммуникации, не участвуют в диалоге, но в принципе – при известных условиях – могли бы стать его участниками)<sup>8</sup>.

Диалогическая речь характеризуется возможностью смены ролей между участниками коммуникации, когда в процессе диалога говорящий превращается в слушающего, а слушающий в говорящего, или же когда тот, о ком идет речь, становится слушающим, что дает ему возможность затем принять участие в коммуникации (т.е. стать говорящим). При этом тот, кто назывался *я*, начинает обозначаться как *ты* или же *он* (или, соответственно, *она, оно*); тот, кто назывался *ты*, начинает именоваться *я* или же *он* (*она, оно*); тот, кто назывался *он* (*она, оно*), начинает называться *я* или *ты* и т. п.<sup>9</sup>

Именно это явление лежит в основе употребления личных местоимений, которые образуют ядро дейктических слов: в самом деле семантика всех дейктических слов включает в себя референцию (референциальное указание), представленную в личных местоимениях (см. ниже, § 1.5).

**1.3.** Поскольку коммуникация осуществляется говорящим, дейксис обычно (чаще всего) предполагает ориентацию именно на говорящего. Вместе с тем в каких-то случаях может иметь место и ориентация на других возможных участников коммуникации (которые выступают при этом как потенциальные говорящие, см. выше, § 1.2).

Принято различать вообще две системы пространственного дейксиса: «distance-oriented» и «person-oriented». В первом случае имеет место ориентация на говорящего, т. е. различается относительная степень близости к говорящему (ср. русск. *здесь* и *там, этот* и *тот* и т. п.)<sup>10</sup>. Во втором случае имеет место ориентация не только на говорящего, но и на других участников коммуникации, ср. япон. *kore* ('это' – близкое к говорящему), *sore* ('то' – близкое к слушающему), *are* ('то' – далекое как от говорящего, так и от слушающего) или *kono* ('этот' – близкий к говорящему), *sono* ('тот' – близкий к слушающему), *ano* ('тот' – далекий как от говорящего, так и от слушающего)<sup>11</sup>.

---

позицию (ср., например: *Германская война и разные там окопчики – все это теперь, граждане, на нас сказывается*. М.М. Зощенко. «Четыре дня»). Такого рода слова, безусловно, ориентированы на говорящего субъекта, но при этом не имеют дейктического значения постольку, поскольку в подобных случаях не имеет места соотнесение слова с обозначаемым через акт коммуникации (что и является определяющим признаком дейксиса).

Речь идет о так называемых эгоцентрических элементах в языке («egocentric particulars», см. [Russel 1940: 134]). Ср.: «Эгоцентрическими называются слова, в смысл которых входит отсылка к говорящему» ([Падучева 1997/2009: 451]; см. также [Падучева 2001/2009: 464]); они охватывают как область дейксиса (ограниченную ориентацией на актуального говорящего), так и область субъективной модальности (ср. [Падучева 1995/2009: 525]). См. еще в этой связи [Падучева 2008: 274].

<sup>8</sup> См. подробнее [Успенский 2007: 17–22]. Отвлекаемся от случаев, когда местоимение 3-го лица обозначает неличный объект (см. обсуждение вопроса [Там же: 37–39]).

<sup>9</sup> См. подробнее [Там же: 20–21, 34, 48, 89–90 (примеч. 135), 102, 112].

<sup>10</sup> Степень близости к говорящему может определяться при этом не объективными характеристиками, а психологией говорящего, т.е. свойственным ему релятивистским восприятием пространства (см. [Апресян 1986/1995: 636–637]). В дальнейшем, говоря о пространственном дейксисе, мы специально это не оговариваем.

<sup>11</sup> См. [Anderson, Keenan 1985: 282–284]. Примеры ориентации на 3-е лицо здесь не приводятся (вопреки утверждению, высказанному в работе [Bhat 2004: 14]).

В языке самаль группы моро (архипелаг Сулу, Филиппины) представлено четыре дейктических выражения для значений 'near me', 'near you', 'near other participants in our conversation', 'away from all of the above'. Вот как комментирует Ч. Филмор различие между последними двумя случаями: «... If A is talking to B, and C is a part of their conversational group, A will use one deictic category for locating things which are near C; if C is not a part of the conversational group, as might be the case if he has fallen asleep or if A and B are whispering or if C has picked up a newspaper or has started talking to somebody else, then A must use the fourth place-deictic category instead of the third»<sup>12</sup>. Таким образом, здесь различаются две дейктические референции, относящиеся к 3-му лицу (при условии, что 3-е лицо обозначает человека): случай, когда человек присутствует при разговоре и легко может в него включиться, и случай, когда он временно выключен из разговора, но в принципе может в него включиться. В обоих случаях человек, о котором идет речь, рассматривается как потенциальный участник разговора<sup>13</sup>.

Последовательная и формально выраженная дейктическая ориентация на 3-е лицо представляет собой, по-видимому, относительно редкий случай в типологии языков. Вместе с тем такого рода явление зафиксировано в языках, которые недостаточно изучены; по необходимости приходится опираться на сведения об этих языках, полученные из вторых рук. Следует иметь в виду при этом, что под ориентацией на 3-е лицо иногда имеется в виду то, что в действительности выражает предельную удаленность от говорящего<sup>14</sup>.

**1.4.** В целом ряде случаев одно и то же слово может предполагать ссылку на 1-е, 2-е или 3-е лицо при том, что только из контекста можно понять, чья именно речевая перспектива имеется в виду. В этих случаях также имеет место ориентация на актуального или потенциального говорящего, но в отличие от рассмотренных выше примеров (см. § 1.3) эта ориентация не получает формального выражения. Можно считать, что в этих словах содержится указание на речевой акт, хотя оно является имплицитным: указание на речевой акт реализуется в такого рода случаях не в тексте, а в контексте фразы. Таким образом эти случаи подпадают под предложенное выше определение дейксиса (см. § 1.2) и, значит, соответствующие слова могут быть квалифицированы как дейктические.

Действительно, эти слова не обладают абсолютно независимым содержанием, в полной мере абстрагированным от акта коммуникации. Их референтное значение определяется имплицитным указанием на актуального или потенциального говорящего, т. е. на 1-е, 2-е или 3-е лицо: кто говорит, с кем говорят или о ком говорят. Можно сказать, что идентификация объекта (события) – связь между словом и денотатом – выражается при этом через речевой акт, а именно, через отношение к его участникам.

Если в примерах, рассмотренных ранее (в § 1.3), дейктическая ориентация на 1-е, 2-е или 3-е лицо находит формальное выражение в языке, то сейчас речь идет о случаях, когда она осуществляется исключительно в речи – без какой бы то ни было дифференциации на собственно языковом уровне.

<sup>12</sup> [Fillmore 1975: 43] (со ссылкой на информацию, полученную от У. Джогана).

<sup>13</sup> Ориентацию на 3-е лицо как на потенциального участника коммуникации следует отличать от случаев «вторичного дейксиса», не связанного с диалогическим общением, которые могут предполагать (особенно в нарративном тексте) соотнесение с 3-м лицом: в этом случае 3-е лицо не обозначает потенциального участника коммуникации. См. ниже, § 2.6 и 2.7.

<sup>14</sup> Так, в сербохорватском языке различаются три указательных местоимения: *ovo*, *to* и *ono*, и говорят *ovo meni* 'это мне', *to tebi* 'то тебе', *ono njemu* 'вон то ему'; по мнению Дж. Гринберга, здесь представлено эксплицитное соотнесение указательных местоимений с 1-м, 2-м и 3-м лицом (см. [Greenberg 1986: XX]), в действительности же здесь имеет место дифференциация по степени удаленности от говорящего, которая окказионально может совпадать с различием 1-го, 2-го и 3-го лица.

Иллюстрацией сказанного могут служить такие слова, как *вперед*, *назад* или *направо*, *налево*. Обычно (по умолчанию) эти слова предполагают ориентацию на говорящего. Вместе с тем нетрудно представить себе ситуацию, когда их употребление ориентировано на слушающего или на кого-то, кто не является ни говорящим, ни слушающим.

Пример ориентации на слушающего приводит К. Бюлер: «Если я предстану перед строем гимнастов в качестве тренера, то я буду выбирать команды *вперед*, *назад*, *направо*, *налево* <...> в соответствии не со своей, а с чужой системой ориентации. И этот перевод столь прост психологически, что любой фельдфебель им овладевает»<sup>15</sup>. Между тем в такой фразе, как *Он повернул направо*, слово *направо* может относиться как к говорящему, так и к 3-му лицу<sup>16</sup>.

Сказанное относится, в частности, к так называемым «релятивным словам», т. е. именам с посессивной валентностью (их можно было бы также называть, по-видимому, «словами неотчуждаемой принадлежности»). Имеются в виду слова, которые обозначают объект через отношение к какому-то лицу, являющемуся его обладателем: употребление таких слов подразумевает указание на обладателя обозначаемого объекта.

Типичным примером «релятивных слов» служат имена родства: денотатом слова *отец* в речи всегда является чей-то отец, денотатом слова *мать* – чья-то мать и т. п.<sup>17</sup>, т. е. употребление этих слов предполагает ссылку (эксплицитную или имплицитную) на то лицо, по отношению к которому данный субъект может быть назван соответствующим образом, т. е. по отношению к которому он является ‘отцом’ или ‘матерью’.

Так, фраза *Я говорил с папой* двусмысленна: слово *папа* может относиться как к говорящему, так и к его собеседнику (слушающему). Между тем фраза *Он говорил с папой* еще более двусмысленна: это слово (*папа*) может относиться к говорящему, к слушающему и к 3-му лицу, обозначенному местоимением *он*.

Итак, в только что рассмотренных русских примерах имеет место ориентация на лицо, но эта связь не выражена формально: та или иная ориентация определяется исключительно контекстом высказывания. Можно считать, что в подобных случаях имеет место **дейктическая омонимия**.

**1.5.** В соответствии с вышесказанным дейксис всегда предполагает указание на **лицо** – в диалогической речи им является один из участников коммуникации, – которое может выступать как точка отсчета при определении называемого явления (объекта, действия или состояния). В случае личных местоимений это указание не сопровождается никакой дополнительной информацией (помимо той, которая содержится в самой местоименной форме<sup>18</sup>). Во всех прочих случаях дейктическая референция содержит ту или иную информацию, которая определяется (в диалогической речи) именно через указание на актуального или потенциального участника коммуникации, т. е. предполагает ориентацию на 1-е, 2-е или 3-е лицо.

Лицо, на котором сосредоточивается дейктическая референция, определяет **дейктический центр** соответствующего участка текста.

<sup>15</sup> [Бюлер 1993: 95 (гл. II, § 7)].

<sup>16</sup> Эти слова могут иметь также недейктический смысл, не будучи соотнесены с участниками коммуникации, но об этом будет сказано ниже (см. *Экскурс* к наст. работе).

<sup>17</sup> Отвлекаемся от случаев, когда денотатами этих слов являются не люди, а слова, например, когда денотатом слова *отец* является само это слово и т.п., как это имеет место во фразе ‘*Отец*’ обозначает родителя мужского пола; в подобных случаях слово *отец* может быть поставлено в кавычки. Р.О. Якобсон определяет это явление как «message referring to the code», т.е. сообщение, направленное на код [Jakobson 1957/1971: 130–133; Якобсон 1972: 95–98].

<sup>18</sup> Так, например, если местоимения 1-го и 2-го лица обычно не различаются по роду, то в 3-м лице такое различие нередко имеет место; в некоторых языках (в частности, семитских) различие по роду наблюдается и во 2-м лице; наконец, существуют языки, где различие по роду представлено в местоимениях неединственного числа – во всех трех лицах. См. [Bhat 2004: 13].

Так осуществляется идентификация называемого события<sup>19</sup>, которая дает возможность слушателю воссоздать ситуацию, стоящую за данной фразой: слушатель должен установить, о каком лице идет речь (1-м, 2-м или 3-м), и соотносить с этим лицом называемый объект, действие или состояние. Как мы уже отмечали (см. § 1.4), под идентификацией имеется в виду связь между словом и денотатом.

**1.6.** В наиболее типичном случае указание на лицо сопровождается указанием на время и место; так задаются пространственно-временные координаты, в рамках которых описываются сообщаемые события<sup>20</sup>. Вообще время и место предстают как основные параметры в высказывании (характеризующие явление, о котором идет речь).

Таким образом, временные и пространственные характеристики определяются относительно того или иного участника коммуникации, т.е. оказываются представленными в его перспективе. Иначе говоря, указание на лицо (в том случае, когда оно формально выражено) дается непосредственно, тогда как указание на время или место события (явления), о котором идет речь, производится через указание на лицо.

Примером могут служить, с одной стороны, указательные местоимения, такие как *этот* и *тот*, *здесь* и *там*, *вот* и *вон*, и т.п., где в диалогической речи представлена пространственная перспектива говорящего, с другой же стороны – личные глагольные формы (в русском или целом ряде других языков), которые содержат указание на отношение описываемого действия или состояния к моменту речи; это указание, в свою очередь, определяется временной перспективой говорящего<sup>21</sup>.

Временные характеристики более характерны для дейксиса, нежели характеристики пространственные: показательно, что действительные временные характеристики получают формальное (грамматическое) выражение в грамматических категориях времени и вида (относительно категории вида см. ниже, § 1.8). Это обстоятельство, возможно, связано с принципиальным различием времени и места при коммуникации: говорящий и слушающий в нормальном случае существуют в одном и том же времени, но при этом

---

<sup>19</sup> Понятие идентификации иногда ложится в основу определения дейксиса. Ср.: «*Дейктическим* называется такой элемент, который выражает идентификацию объекта – предмета, места, момента времени, свойства, ситуации – через его отношение к речевому акту, его участникам или контексту. <...> Конституирующим признаком дейксиса <...> служит то, что у дейктических слов обращение к контексту речевого акта работает на нужды идентификации (объектов, моментов времени, участков пространства и проч.)» [Падучева 1996: 245–246]. Ср. также: «By deixis is meant the location and identification of persons, objects, events, processes and activities being talked about, or referred to, in relation to the spatiotemporal context created and sustained by the act of utterance and the participation in it, typically, of a single speaker and at least one addressee» [Lyons 1977: 637, § 15.1].

<sup>20</sup> Иногда указание на время и место признается основной функцией дейксиса, ср., например: «The notion of *deixis* <...> is introduced to handle the “orientational” features of language which are relative to the time and place of utterance» [Lyons 1968: 275]. Ср. также: «...The basic function of deixis is to relate the entities and situations to which reference is made in language to the spatio-temporal zero-point – the here and now of the context of utterance» [Lyons 1982: 121]. Иное – несколько более содержательное – определение того же автора мы цитируем выше (в примеч. 19).

К. Бюлер определял дейксис как «указательное поле», представляющее собой пространственно-временную систему координат, построенную относительно субъекта восприятия [Бюлер 1993: 74–135].

<sup>21</sup> В случае личных местоимений указание на лицо представлено в чистом виде, не будучи осложнено дополнительной информацией о месте и времени (ср. выше, § 1.5). Указательные местоимения содержат такую информацию. Что же касается личных глагольных форм, то они обладают еще независимым лексическим значением (оно представлено и в неличных формах, например, в форме инфинитива), которое, как правило, непосредственно не связано с процессом коммуникации, абстрагировано от него.

Можно полагать, что указание на лицо содержится и в безличных глагольных формах, таких как *вечерело*, *смеркалось* и т.п. Здесь представлен, по-видимому, нулевой знак (нулевое указание на лицо).

они находятся в разных местах, которые могут объединяться или же противопоставляться одно другому. Слушающий может включаться в пространство говорящего или же выключаться из него; иначе говоря, пространство слушающего может объединяться с пространством говорящего (например, когда мы говорим *вот здесь у тебя...* и т. п.) или же противопоставляться ему (например, когда мы говорим *вон там у тебя...*).

Таким образом временные характеристики непосредственно связаны с говорящим и всегда имеют к нему отношение; в случае же пространственных характеристик может иметься в виду либо точка зрения говорящего, либо противопоставленная ему точка зрения слушающего. Поэтому ориентация на слушающего возможна лишь при пространственном дейксисе и не может иметь место при дейксисе временном.

Пространственно-временной дейксис выражается не только в грамматических показателях (таких, как показатели вида и времени) или словах, лишенных собственного лексического значения (как это имеет место в случае местоимений). Указание на пространственную или временную перспективу участника коммуникации может проявляться и непосредственно в лексике: существуют слова, в семантике которых определенным образом задана соответствующая дейктическая референция. Такими словами являются, например, *вчера* или *сегодня*, которые выражают временную перспективу говорящего; или же такие слова, как *правый* или *левый*, *вперед* или *сзади*, которые обычно (хотя и не всегда) выражают его пространственную перспективу<sup>22</sup>.

Другим примером ориентации на пространственную перспективу участника коммуникации может служить английское *to come*, в отличие от русского *прийти* или *приехать*: в диалогической речи английский глагол предполагает присутствие говорящего или слушающего в месте назначения. Так, например, фраза *John is coming to the shop tomorrow* предполагает, что говорящий или слушающий либо находится, либо будет находиться в месте, о котором идет речь; эта импликация не имеет места, между тем в соответствующей русской фразе *Джон завтра придет в магазин*. Совершенно так же фраза *John came to the shop yesterday* возможна как в том случае, если говорящий или его собеседник находится в магазине, так и в том случае, если они находятся в другом месте, но кто-то из них был там вчера<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Эти слова могут выступать также в недейктическом значении (безотносительно к точке зрения участников коммуникации). См. ниже, *Экскурс к наст. работе*.

<sup>23</sup> Ср.: «... It is necessary to distinguish the coding time, roughly, the time of the speech act, from the reference time, the point or period of time that is being referred to or focused on in the sentence. <...> We can see how both of these types of temporal concepts can figure in the description of a single sentence by considering the sentence *John was here last Tuesday*. The reference time is reflected in the choice of tense of the verb and is indicated by the phrase *last Tuesday*. The coding time is involved in the interpretation of *last Tuesday* as, (say) the Tuesday of the calendar week which precedes the moment of speech, and in the interpretation of *here* as meaning 'the place where the speaker finds himself at the time of pronouncing the sentence'.

The role of deictic categories in the interpretation of sentences with our verb *come* may be observed with sentences of the form:

*X came to Y at T*

where *X* is the moving entity, *Y* is the destination, and *T* is the reference time. <...> It happens that sentences of the form *X came to Y at T* are appropriate just in case any of the following conditions obtains:

- (1) The speaker is at *Y* at coding time
- (2) The addressee is at *Y* at coding time
- (3) The speaker is at *Y* at reference time (*T*)
- (3) The addressee is at *Y* at reference time (*T*)

To see that this is so, take *John*, *the office*, and *yesterday morning* as values of *X*, *Y* and *T* respectively. A sentence like *John came to the office yesterday morning* is appropriate under any of the four conditions just indicated. That is, it is a sentence that I can say appropriately if I am in the office when I say it, if you are in the office when I say it to you, if I was in the office yesterday morning when John came, or if you were in the office yesterday morning when John came» [Fillmore 1975: 9-10], ср. подробное рассмотрение вопроса [Там же: 50-69].

Дейктические слова со значением пространственного указания могут выступать вне дейктического контекста, т. е. иметь абсолютный, а не относительный смысл (см. *Экскурс к наст. работе*).

1.7. Указание на пространственную или временную перспективу участника коммуникации представляет собой типичный, но отнюдь не единственный случай дейктической референции. Примером дейктической референции, не связанной непосредственно с пространственно-временными параметрами высказывания, может служить указание на определенность упоминаемого объекта. Грамматическим средством выражения определенности служит определенный артикль; сходную роль играют местоименные дефиниции, такие как *этот* и *тот* (которые различаются при этом по степени удаленности от говорящего)<sup>24</sup>. Действительно, определенность объекта, как правило, детерминирована точкой зрения того или иного участника коммуникации.

Отметим, что определенный артикль, в отличие от указательных местоимений, обычно предполагает ориентацию на адресата. Так, определенный артикль в обычном случае указывает, что говорящий предполагает способность слушающего идентифицировать объект, о котором идет речь<sup>25</sup>. Если я говорю, например, *the car*, это, по-видимому, должно означать, что мой собеседник знает, о какой машине я говорю; напротив, я должен сказать *a car*, если имеется в виду машина, которую я купил, но слушающий, как я полагаю, не слышал об этом раньше. Если я ищу свою любимую ручку, я должен спросить *Haven't I left a pen here?* или *Haven't you seen a pen?*, отвлекаясь от того, что этот объект обладает для меня самого свойством определенности.

1.8. Дейктическая референция может иметь модальный характер, выражая личностное отношение к упоминаемому явлению; речь идет об идентификации явления, которое имеется в виду, не просто в системе пространственных и временных координат, но именно в рамках личностного отношения – иначе говоря, о включении описываемого явления в личную сферу участника коммуникации<sup>26</sup>.

Так, временные характеристики могут выражаться как грамматической категорией времени (не имеющей модального смысла), так и грамматической категорией вида (связанной с выражением модальности). Категория времени в диалогической речи относится к речевому акту: временная форма глагола так или иначе соотносится с моментом речи и, следовательно, представляет собой дейктическое слово. Между тем категория вида определяется включением или же, напротив, невключением упоминаемого события в сферу личного времени говорящего; тем самым вид также оказывается средством дейктической характеристики. Так, «в случае совершенного вида говорящий мыслит время события как образующее единое целое со своим временем, т.е. тем временем, в котором он мыслит себя. Одним из следствий этого обстоятельства является эффект сохранения результата действия в настоящем. В случае несовершенного общезначимого (*Он читал этот роман, Он уже ходил за хлебом, Кто открывал окно?*) говорящий мыслит время события как отличное от того времени, в котором в момент речи он мыслит себя»<sup>27</sup>. Между тем в другом значении несовершенный вид описывает «действие, продолжающееся в то время, о котором говорится»<sup>28</sup>. В любом случае действие в несовершенном виде не включено в сферу личного времени говорящего (будучи либо вообще с ним не связано, либо выходя за его пределы). В целом оппозиция совер-

<sup>24</sup> Указательные местоимения могут различаться в языке по степени близости к тому или иному участнику коммуникации (например: *этот* и *тот*); в этом случае они служат для выражения пространственного дейксиса. Вместе с тем, категория определенности сама по себе не выражает пространственных отношений.

<sup>25</sup> См. [Bhat 2004: 11].

<sup>26</sup> Ср. о личной сфере говорящего [Апресян 1986/1995: 644–647].

<sup>27</sup> [Там же: 637–638].

<sup>28</sup> [Дурново, I: с. 41 (§ 68)]. Ср. в этой связи [Успенский 2008: 852–854].

шенного и несовершенного вида предстает как противопоставление субъективного и внесубъективного (остраненного, абстрагированного) описания действия<sup>29</sup>.

Равным образом личная сфера говорящего или слушающего проявляется в категории определенности: определенный артикль в принципе выражает включение в личную сферу участника коммуникации (обычно слушающего, ср. § 1.7), неопределенный артикль – выключение из нее. Такую же роль играют указательные местоимения, такие как *этот* и *тот*, *вот* и *вои* и т. п. (с той, однако, разницей, что здесь по преимуществу проявляется личная сфера говорящего, а не слушающего, ср. § 1.7).

**2.1.** До сих пор речь шла о так называемом *первичном дейксисе* или *дейксисе* в собственном смысле, который реализуется в естественных условиях диалогической речи (см. выше, § 1.1). Диалогическая речь характеризуется наличием говорящего (адресанта) и слушающего (адресата), предусматривая при этом возможность смены ролей между отправителем и получателем сообщения (см. выше, § 1.2). В соответствии с предложенным нами определением, явление дейксиса состоит в том, что слово соотносится со своим обозначаемым через указание на речевой акт, которое осуществляется как ориентация на актуального или потенциального говорящего (см. там же).

Существуют, однако, более специальные виды коммуникации, когда в процессе речевой деятельности имеет место – спорадически или последовательно – отвлечение от речевой ситуации. И в этих случаях соотношение обозначения и обозначаемого осуществляется через указание на речевой акт, но этот речевой акт непосредственно не связан с речевой ситуацией, предусматривающей наличие говорящего и слушающего. В этих условиях дейктические слова не предполагают ориентации на актуального или потенциального говорящего, но функционируют особым образом: их употребление не основывается на речевой ситуации, но ее имитирует или, можно сказать, моделирует (воспроизводит). В подобных случаях принято говорить о *вторичном дейксисе*. Вторичный дейксис представляет собой преобразование дейксиса первичного при изменении параметров речевой деятельности. Речь идет об употреблении дейктических слов в ситуации, когда их появление непосредственно не мотивировано естественными условиями диалогической речи (предполагающими прежде всего наличие говорящего и слушающего, объединенных временем речевого акта).

О вторичном дейксисе целесообразно говорить в том случае, если позиция, с которой ведется описание, может быть представлена как определенная трансформация позиции говорящего (например, как позиция говорящего, переведенная в тот или иной режим).

Итак, различается первичный дейксис, или дейксис в собственном смысле, и вторичный дейксис, при котором соотношение с речевым актом осуществляется непрямым (опосредованным) образом. В ситуации первичного дейксиса имеет место непосредственная ориентация на участника коммуникации (актуального или же потенциального), в наиболее типичном случае – на говорящего как субъекта речи, т.е. дейктические слова отсылают к реальным условиям порождения речи. В ситуации же вторичного дейксиса имеет место ориентация на речевую позицию или речевую роль (*маску*) говорящего, которая отличается от реальной позиции адресанта (говорящего или пишущего) как производителя речи. Соотношение с речевым актом осуществляется при этом через какую-то промежуточную инстанцию, которая, в свою очередь, либо опосредованно соотносится с говорящим или, в более общих терминах, с создателем текста как реальным лицом, либо выступает как субститут говорящего, имитируя его поведение. В первом случае имеет место анафора или же катафора<sup>30</sup>, во

<sup>29</sup> См. [Успенский 2008: 856].

<sup>30</sup> В случае анафоры (анафорического употребления слова) слово употребляется «не для прямого указания на объект или явление, а для отсылки к объекту или явлению, который уже был упомянут в предшествующем тексте» [Апресян 2004/2009: 489]. В случае катафоры (катафорического употребления слова) имеет место аналогичная отсылка к последующему тексту. При анафорическом или катафорическом употреблении производитель речи (говорящий или пишущий) меняет свою перспективу, принимая позицию, диктуемую предшествующим или последующим высказыванием.

втором случае субститутом говорящего оказывается герой повествования или же имплицитно присутствующий в нем (в повествовании) наблюдатель.

Таким образом, в режиме вторичного дейксиса может иметь место ориентация как на актуального говорящего (который принимает при этом какую-то виртуальную позицию, отличающуюся от его реальной позиции во время производства речи), так и на виртуального говорящего, который выступает как субститут реального говорящего, имитируя его поведение и принимая на себя, соответственно, функции дейктического ориентира. Можно сказать, что вторичный дейксис представляет собой виртуальное указание на основные параметры речевого акта, притом что степень виртуальности может быть различной: виртуальность может актуализоваться либо полностью, либо частично.

**2.2.** Рассмотрим некоторые примеры вторичного дейксиса при анафорическом или катафорическом употреблении. В этом случае выбор речевой позиции может быть грамматически обусловлен в языке.

Так, время, выражаемое формой плюсквамперфекта, определяется не отношением действия или состояния к моменту речи (как это имеет место в случае первичного дейксиса), а отношением его к другому действию или состоянию, которое уже непосредственно соотносится с реальным временем речевого акта. Например, во фразе *I had finished my work when he came back* время, обозначаемое глагольной формой *had finished*, соотносено с временем, обозначаемым формой *came*, которое при этом соотносится с временем речевого акта. Форма *came* здесь выражает первичный дейксис, форма *had finished* – вторичный. Между тем в русском языке нет плюсквамперфекта и в соответствующей по смыслу фразе *Я окончил работу, когда он вернулся* оба глагола соотносены с временем речевого акта; мы можем только исходя из контекста догадываться о возможной временной соотношенности обоих действий – предшествовали ли они одно другому или произошли одновременно. Таким образом, в русской фразе оба глагола выражают первичный дейксис.

Если во фразе *He said that he wanted to go to the cinema* время, обозначаемое глагольной формой *wanted*, так же как и время, обозначаемое формой *said*, соотносено с временем речевого акта, то в соответствующей по смыслу фразе русского языка – *Он сказал, что хочет пойти в кино* – время, обозначаемое глагольной формой *хочет*, соотносится с временем, обозначаемым формой *сказал*, которое, в свою очередь, соотносено с временем речевого акта; иначе можно сказать, что настоящее время глагола *хочет* соотносится не с самой реальностью, а с текстом, который ее описывает<sup>31</sup>. В самом деле, настоящее время глагола *хочет* соотносится не с моментом речи, а с действием в прошлом, обозначенным глаголом *сказал*; таким образом обозначается н а с т о я щ е е в п р о ш е д ш е м<sup>32</sup>. В этих примерах в английской фразе оба глагола выражают первичный дейксис, тогда как в русской фразе мы имеем как первичный дейксис (в форме *сказал*), так и вторичный (в форме *хочет*).

Итак, в первом (английском) и в последнем (русском) примере представлен как первичный, так и вторичный дейксис: первичный дейксис предполагает непосредственное соотношение дейктического слова с речевым актом, тогда как вторичный дейксис пред-

<sup>31</sup> Если же употребить форму прошедшего времени *хотел* (*Он сказал, что хотел пойти в кино*), то она может выражать не одновременность (как это имеет место при употреблении соответствующих форм в английском языке – во фразе *He said that he wanted to go to the cinema*), а предшествование, т. е. форма прошедшего времени может выступать здесь в значении плюсквамперфекта.

<sup>32</sup> Ср.: «Актуальный момент речи говорящего, с одной стороны, и момент речи (мысли, чувства, восприятия) того субъекта, которого имеет в виду говорящий (*Я думал, что он придет*), с другой, – это разные точки отсчета. Из них одна первична, а другая – производна. В случаях типа *Он думал, что еще успеет вернуться* явно представлен “вторичный дейксис”: говорящий как бы воспроизводит отношение времени действия к исходному пункту временной ориентации, но не со своей точки зрения, а с точки зрения того субъекта, о котором идет речь» [Бондарко 1998: 75].

полагает отсылку к слову, соотносённому с речевым актом, – иначе говоря, вторичный дейксис осуществляется в этих случаях через первичный.

Русской фразе *Я думал, что он придет* в итальянском языке соответствует фраза *Pensavo* (или: *Ho pensato*) *che lui sarebbe venuto*. В этих примерах глагол в главном предложении (в форме прошедшего времени) выражает первичный дейксис, а глагол в придаточном предложении – вторичный. Согласно норме итальянского языка, специальной формой для обозначения вторичного дейксиса в подобных случаях является форма «сослагательного прошедшего» (*condizionale passato*). В условиях первичного дейксиса (т.е. в речевом режиме, предполагающем возможность первичного дейксиса) эта глагольная форма имеет другое значение, а именно выражает неосуществившееся действие (ср., например: *Lui sarebbe venuto se non fosse ubriaco* ‘Он пришел бы, если бы не напился’). Между тем в русской фразе один глагол (в главном предложении) стоит в прошедшем времени, а другой (в придаточном предложении) в будущем, но это будущее определяется не по отношению к моменту речи, а по отношению к прошедшему времени, обозначенному в главном предложении: так выражается будущее в прошедшем (т.е. будущее время, представленное в перспективе прошедшего времени, с точки зрения прошлого состояния).

Заметим, что в разговорном итальянском языке форма «сослагательного прошедшего» в подобных случаях часто не употребляется и вместо нее в придаточном предложении используется – вопреки стандартным правилам итальянской грамматики – форма прошедшего времени изъявительного наклонения, т.е. вместо *Pensavo* (или: *Ho pensato*) *che lui sarebbe venuto* говорят *Pensavo* (или: *Ho pensato*) *che lui veniva*. Ср. также: *Giovanni ha detto che mi aiutava* ‘Джованни сказал, что мне поможет’ (вместо нормативного *Giovanni ha detto che mi avrebbe aiutato*) и т. п. В этих примерах оба глагола – в главном и придаточном предложениях – стоят в прошедшем времени, одинаковым образом выражая предшествование по времени по отношению к моменту речи (и формально не соотносясь друг с другом по времени); оба они выражают, таким образом, первичный дейксис. Мы можем понять соотносённость соответствующих действий только исходя из семантики глаголов, которыми они обозначены: формально эта соотносённость никак не выражена.

Итак, русские фразы, где вторичный дейксис относится к действию или состоянию, обозначенному глаголом в прошедшем времени, выражают смену временного регистра. Так, во фразе *Он сказал, что хочет пойти в кино* в придаточном предложении обозначается настоящее в прошедшем, а во фразе *Я думал, что он придет* – будущее в прошедшем. Такого рода примеры в принципе не сводятся к сложноподчиненным предложениям; такой же случай мы имеем при переходе на «настоящее историческое» (*praesens historicum*), когда после фиксации того, что описываемое действие происходило в прошедшем времени (что выражается формой глагола прошедшего времени) употребляется глагол настоящего времени, ср.: *Я пришел и говорю* и т. п.

Аналогичным образом во фразе *А если я приду, а он уже ушел?* прошедшее время глагола *уйти* (*ушел*) определяется не по отношению к моменту высказывания, а по отношению к форме в будущем времени (*приду*): по отношению к моменту речи слово *ушел* обозначает будущее действие. В этом случае перед нами прошедшее в будущем (т.е. прошедшее время, представленное при отправной точке в будущем – в перспективе будущего времени, с точки зрения будущего состояния). В обычном случае (в независимом употреблении) форма *ушел* выражает первичный дейксис, но в данном случае та же форма выражает вторичный дейксис.

Совершенно так же, наконец, выражается и настоящее в будущем, т.е. настоящее время, представленное в перспективе будущего времени. Ср., например: *А если я приду, а он там сидит?*

Теоретически мы могли бы ожидать специальных способов выражения – с помощью вторичного дейксиса – прошедшего в прошедшем, т.е. сверхпрошедшего времени (которое является прошедшим временем по отношению к другому прошедшему времени), и будущего в будущем, т.е. сверхбудущего времени (которое

является будущим по отношению к другому будущему времени), но в русском языке такие способы выражения не наблюдаются. Прошедшее в прошедшем, вообще говоря, выражается плюсквамперфектом, который как грамматическая категория отсутствует в русском языке. Фраза *Когда я пришел, Петя прочитал роман* может означать любую последовательность событий, т. е. мы можем понять эту фразу как в том смысле, что прочтение романа предшествует моему приходу, так и в том смысле, что приход предшествует прочтению; иначе говоря, как *пришел*, так и *прочитал* может соответствовать по своему значению плюсквамперфекту. То или другое понимание никак формально не обусловлено: мы вынуждены интерпретировать эту фразу, исходя из контекста.

Равным образом нельзя утверждать, что во фразах типа *А если я приду, а он уйдет?* выражается сверхбудущее время (будущес в будущем). Может показаться, что форма *уйдет* выражает действие в будущем времени по отношению к действию, выраженному формой *приду*, но этот эффект в данном случае не объясняется вторичным дейксисом. При сочетании нескольких глаголов в будущем времени, относящихся к разным субъектам, они, как правило, выражают последовательные действия, и именно поэтому слово *уйдет* относится к более позднему состоянию по отношению к действию, выраженному формой *приду*; здесь нет отсылки к временной перспективе, присущей вторичному дейксису в анализированных выше случаях.

В рассмотренных русских примерах вторичный дейксис образуется с использованием дейктических слов, которые в речевом режиме (т. е. режиме первичного дейксиса) имеют такое же значение. Фраза *Я думал, что он придет* предстает как объединение двух фраз с первичным дейксисом: *Я думал + Он придет*. Здесь используются те же значения дейктических слов, которые они имеют в независимом (автономном) употреблении: образование вторичного дейксиса происходит за счет смены временного регистра – иными словами, как результат изменения временной перспективы, – поскольку слово *придет* в интересующей нас фразе (*Я думал, что он придет*) относится не к настоящему времени (как это имеет место в ситуации первичного дейксиса), а к прошедшему. Таким образом, в ситуации вторичного дейксиса фигурируют те же формы (с тем же значением), что в независимом употреблении, но они представлены в другой временной перспективе. В речевом режиме временной дейксис ориентирован на настоящее время (которое совпадает с временем речевого акта). Если дейктическое слово предстает в иной временной перспективе – в перспективе прошедшего или будущего – возникает вторичный дейксис<sup>33</sup>.

Иначе обстоит дело в соответствующих фразах английского, итальянского или других романо-германских языков: так, например, соответствующая итальянская фраза *Pensavo che lui sarebbe venuto* не представляет собой простого механического объединения фраз (*Io pensavo + Lui sarebbe venuto*, поскольку в независимом употреблении *sarebbe venuto* имеет другое значение (значение неосуществившегося в прошлом действия), чем в интересующей нас конструкции (*Pensavo che lui sarebbe venuto*).

Очевидным образом особенности русского словоупотребления связаны с отсутствием в русском языке *consecutio temporum*. Это явление (*consecutio temporum*) обычно понимают как согласование времен, в действительности же речь идет не о грамматическом согласовании как таковом, а об одинаковом отношении обозначаемых действий или состояний к моменту речи – иначе говоря, при этом имеет место не согласование времен, а соотнесенность по времени. Отсутствие *consecutio temporum* является грамматической нормой в русском языке, и это создает возможность переключения временных регистров, что, в свою очередь, сообщает языку особые выразительные средства.

В приведенных примерах имеет место временное (грамматически обусловленное) отвлечение от речевой ситуации, предполагающей наличие говорящего и слушаю-

<sup>33</sup> Ср. еще более наглядное объединение такого рода: «...Трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее» (фраза Осипа из «Ревизора» Н.В. Гоголя, акт II, явл. 1): *Трактирщик сказал + Не дам вам есть...* Ср. обсуждение этого примера: [Пешковский 1935: 429; Волошинов 1929: 148 (примеч. 2); Успенский 1970/2000: 62–63].

щего; как мы отмечали, отвлечение от речевой ситуации присуще вообще вторичному дейксису, и это обстоятельство в полной мере относится к анафоре и катафоре (см. выше, § 2.1).

**2.3.** В других случаях появление вторичного дейксиса обусловлено нарративной стратегией говорящего или пишущего. Речь идет о случаях, когда говорящий или пишущий, отвлекаясь от реальной речевой ситуации (ср. выше, § 2.1), помещает в дейктический центр не себя самого и не другого участника коммуникации (как это имеет место в случае первичного дейксиса, см. выше, § 1.5), а какого-то своего представителя. Таким образом, дейктические слова – т.е. такие слова, которые в обычном случае (в речевом режиме, предполагающем возможность первичного дейксиса) ориентированы на актуального или потенциального говорящего, – оказываются ориентированными на какое-то лицо, которое замещает говорящего в повествовании и которому говорящий делегирует свои полномочия.

Итак, повествование строится в этих случаях относительно представителя говорящего, который отличается от говорящего, но выполняет его функции<sup>34</sup>.

Это лицо может совпадать с героем повествования – с тем, о ком идет речь; в подобном случае соответствующий персонаж в какой-то мере принимает на себя функции субъекта речи, т.е. повествование на том или ином отрезке текста строится от его имени. Именно на данного персонажа и ориентированы в этом случае дейктические указания в тексте.

Но точно так же повествование может быть ориентировано и на некоего условного наблюдателя, который имплицитно присутствует в тексте, не совпадая ни с кем из действующих лиц. Дейктическая референция оказывается в этом случае направленной именно на этого наблюдателя.

Как в том, так и в другом случае имеет место ориентация повествования на некоторую фигуру, отличающуюся от говорящего, которая эксплицитно или имплицитно присутствует в тексте (т.е. либо прямо названа в тексте, либо может быть в нем опознана как своего рода виртуальная реальность, структурный конструкт).

Отметим, что если при первичном дейксисе возможна ориентация как на говорящего, так и на слушающего, а иногда также и на того, о ком идет речь (см. выше, § 1.3 и 1.4), в случае вторичного дейксиса персонаж или наблюдатель как объект дейктической референции замещает именно говорящего. Это понятно: вторичный дейксис предполагает отвлечение от речевой ситуации и здесь нет противопоставленных друг другу участников коммуникации (см. выше, § 2.1)<sup>35</sup>.

Вторичный дейксис этого рода характерен для художественного нарратива. Вместе с тем рассматриваемое явление не сводится к литературному творчеству, когда имеет место последовательное отвлечение от речевой ситуации, т.е. вообще нет говорящего и слушающего, а есть автор и читатель (ср. ниже, § 2.9). Элементы наррации возможны и в общих рамках диалогической речи, когда имеет место спорадическое (контекстно обусловленное) отвлечение от речевой ситуации – при наличии реальных говорящего и слушающего. Корректно говорить о противопоставлении речевого или

---

<sup>34</sup> Ср: «Субъект вторичного дейксиса – это лицо, которое в некоторых отношениях подобно говорящему. Мы называем говорящего субъектом первичного дейксиса, поскольку он имеет право идентифицировать объекты и участки пространства (так сказать, указывать их) через местоположение самого себя, а отрезки времени – через их отношение к своему настоящему моменту. В этом смысле Наблюдатель, субъект вторичного дейксиса, полностью подобен говорящему» [Падучева 2008: 275].

<sup>35</sup> Выше мы приводили примеры, когда одна и та же фраза имеет разный смысл, в зависимости от того, предполагается ли ориентация на 1-е, 2-е или 3-е лицо; в качестве примера фигурировала фраза *Я говорил с папой* – слово *папа* может относиться к говорящему, слушающему или к тому, о ком идет речь (см. § 1.4). Так обстоит дело в речевом режиме. Между тем в режиме вторичного дейксиса исключается ссылка на говорящего и слушающего и в такого рода фразах возможна только ссылка на того, о ком идет речь, т.е. на персонажа.

диалогического режима (при котором предполагается возможность смены ролей между участниками коммуникации, ср. выше, § 1.2) и нарративного режима (при котором имеет место отвлечение от речевой ситуации и тем самым исключается такая возможность, см. выше, § 2.1). Тем не менее, наиболее очевидным образом вторичный дейксис, ориентирующий повествование на персонажа или предполагающий имплицитное присутствие наблюдателя, представлен именно в литературных текстах, т. е. в художественном нарративе.

Приведем пример вторичного дейксиса в нарративе.

Мы говорили об условиях употребления английского глагола *to come* (см. выше, § 1.6). Этот глагол означает передвижение из одного места в другое (в место назначения). При этом предполагается дейктическая ориентация на точку зрения того или иного из непосредственных участников коммуникации – говорящего или слушающего: один из них либо находится в момент речи в том месте, к которому направлено передвижение (т. е. в месте назначения), либо находился там во время описываемого события, либо, наконец, будет (или предполагает) там находиться в то время, о котором идет речь. Так обстоит дело в обычной, диалогической речи, т. е. в речевом режиме, и при этом имеет место первичный дейксис. Но что происходит в нарративе, где нет участников коммуникации, которые соотносят друг с другом свои позиции (как это имеет место в речевом режиме)? В нарративном тексте ориентация на говорящего может быть заменена ориентацией на литературного героя (персонажа), с которым как бы ассоциирует себя в этот момент рассказчик, и, соответственно, мы можем сказать, например: *The thief came into her bedroom* (имея в виду точку зрения героини повествования)<sup>36</sup>. В равной мере дейктическая ориентация может определяться точкой зрения имплицитного наблюдателя, который как бы незримо присутствует на месте действия. Так, например, высказывание *People kept coming and going all day* в диалогической речи предполагает присутствие говорящего или слушающего в том месте, куда приходили люди; между тем в нарративном тексте оно предполагает присутствие там героя рассказа или имплицитного наблюдателя<sup>37</sup>.

Приведем пример вторичного дейксиса в рамках диалогической речи. Представим себе ситуацию телефонного разговора: один человек звонит другому и спрашивает: *Могу ли я поговорить с профессором NN?* У телефона оказывается при этом сам профессор NN. Как он может ответить?

По-английски, по-немецки или по-итальянски в ответе на вопрос такого типа естественно употребить местоимение 1-го лица, однако невозможно употребить местоимение 3-го лица, ср. англ. *This is me* (или *This is I*), нем. *Das bin ich*, итал. *Sono io*.

Напротив, по-русски в подобной ситуации можно употребить как местоимение 1-го лица (ср.: *Это я*), так и местоимение 3-го лица (ср.: *Это он* или *Он у телефона*). Эти две возможности есть и во французском языке, где на аналогичный вопрос можно ответить *C'est moi* или *C'est lui*<sup>38</sup>.

Ср. также возможные ответы типа *Professor NN is speaking* или *Профессор NN слушает* и т. п.

Мы можем считать, что в подобных случаях представлена точка зрения постороннего наблюдателя, никак не соотношенная с реальными участниками коммуникации –

<sup>36</sup> См. [Fillmore 1975: 50, ср. 66–67; Падучева 2004: 375–376].

<sup>37</sup> Ср.: «Высказывание *John will come home at five* может быть сделано человеком, который не собирается быть дома у Джона. Процесс перемещения Джона к дому может быть ориентирован относительно другого наблюдателя, которого говорящий мыслит дома у Джона и которому он эмпатизирует» [Апресян 1986/1995: 633]. Как кажется, это замечание верно только в случае нарративного режима, когда имеет место вторичный дейксис. В речевом режиме (предполагающем первичный дейксис) глагол *to come* в такого рода фразе, по-видимому, неуместен: в этом случае надлежало бы сказать *John will get home* (или: *will be, will arrive at home*).

<sup>38</sup> Эти две противопоставленные друг другу позиции могут объединяться в одной фразе в русском языке – мы наблюдаем это во фразе *Вот он я*.

говорящим или слушающим. Профессор NN был назван говорящим в 3-м лице, и так же называет его слушающий; однако в данном случае представлена точка зрения не говорящего, не слушающего, а какого-то иного лица, никак не задействованного в актуальной коммуникации. Слушающий говорит о себе в 3-м лице, отвлекаясь от того факта, что речь идет о нем самом: он как бы смотрит на себя со стороны, принимая позицию не актуального, но виртуального участника коммуникации. Перед нами не реальная, а воображаемая речевая ситуация, когда меняются ориентиры и на время осуществляется переход в нарративный режим.

Мы видим, что вторичный дейксис возможен как в рамках диалогической речи, так и в условиях нарратива. В частности, он возможен при гипотаксисе, где могут иметь место как анафора или катафора (ср. примеры выше, § 2.2), так и элементы наррации. Между тем первичный дейксис возможен исключительно в диалогической речи, а именно, в речевом (диалогическом) режиме. Говоря о речевом (диалогическом) режиме, мы всегда имеем в виду автономную позицию говорящего, реализуемую вне гипотаксиса.

**2.4.** В широком смысле наблюдатель может считаться неотъемлемой принадлежностью всякого высказывания. Однако вторичный дейксис имеет место в том случае, когда фигура наблюдателя не совпадает с говорящим или пишущим, т. е. реальным создателем высказывания; именно – и только – в этом случае целесообразно говорить о наблюдателе<sup>39</sup>. Таким образом, «наблюдатель – <...> это аналог говорящего в сфере вторичного дейксиса»<sup>40</sup>.

Эту ситуацию хорошо иллюстрирует пример, проанализированный Ю.Д. Апресяном<sup>41</sup>. Русский глагол *показаться* (в значении 'появиться на виду, стать заметным, видным') относится к глаголам восприятия или внутреннего состояния (*verba sentiendi*). В обычном (первичном) случае субъектом восприятия или субъектом сознания является говорящий, и таким образом этот глагол представляет собой дейктическое слово: в его семантике заключена дейктическая референция. Так, например, во фразе *На дороге показался всадник* в диалогической речи представлена точка зрения говорящего. В речевом режиме невозможно сказать \**На дороге показался я*, поскольку говорящий не может быть одновременно и наблюдателем и объектом наблюдения. Вместе с тем такого рода фраза возможна в нарративном режиме; в этом случае описание ориентировано на фигуру наблюдателя, который является субъектом восприятия; этот наблюдатель не совпадает с говорящим, и говорящий оказывается объектом, а не субъектом наблюдения. Очевидным образом при этом имеет место вторичный дейксис<sup>42</sup>.

Наблюдатель может занимать внешнюю или внутреннюю позицию по отношению к описываемой ситуации. «Внешний наблюдатель – тот, который обозревает ситуацию со стороны, а внутренний – тот, кто мыслится говорящим (или пишущим. – Б.У.) как ее действующее лицо. <...> Ср. следующие высказывания с синонимичными глаголами *витья* и *вилять*: *По склону горы вилясь козья тропа* (внешний наблюдатель, рассматривающий тропу со стороны и наслаждающийся ее живописностью) – *Дорога все время виляла из стороны в сторону* (внутренний наблюдатель, перемещающийся по дороге

<sup>39</sup> Как пишет Ю.Д. Апресян, «наблюдатель – тот, кто воспринимает органами чувств или мысленно созерцает определенную ситуацию. Вообще говоря, наблюдатель – лицо, предполагаемое любым высказыванием: даже простейшее высказывание типа *Идет дождь* подразумевает, что существует кто-то, кто этот дождь воспринимает (видит, слышит и т. п.). Однако такой тривиальный наблюдатель не нуждается в особом упоминании именно потому, что присутствует всегда. Фигура наблюдателя становится нетривиальной тогда, когда она лексиколизована или грамматикализована, т. е. является частью значения какой-то языковой единицы, а не высказывания в целом» [Апресян 2004/2009: 515].

<sup>40</sup> [Падучева 2008: 275].

<sup>41</sup> См. [Апресян 1986/2005: 643]. Ср. также [Падучева 2008: 276].

<sup>42</sup> Ср. [Успенский 1970/2000: 144–148]. Здесь рассматриваются случаи, когда глаголы внутреннего состояния (*verba sentiendi*), которые в речевом режиме должны относиться к говорящему, относятся к персонажу. Это свидетельствует о том, что в повествовании используется точка зрения персонажа.

и с неудовольствием фиксирующий все ее повороты). Ср. также *Перед горой лежало озеро* (озеро лежало между горой и наблюдателем) и *За тем стоял огромный боровик* (пень стоял между наблюдателем и боровиком); *У реки дорога кончилась* (наблюдатель перемещался по дороге) и *Дорога кончалась у реки* (наблюдателя вообще нет)<sup>43</sup>. Заметим, что только что цитированные примеры могут относиться и непосредственно к говорящему, и в этом случае мы не можем говорить о вторичном дейксисе. Равным образом в рамках вторичного дейксиса эти фразы могут быть соотнесены с точкой зрения героя повествования; лишь при безличном описании мы можем говорить о наблюдателе как таковом.

Приведенные примеры иллюстрируют различие внешнего и внутреннего наблюдателя в пространственном плане. Аналогичное различие может быть прослежено и во временном плане. В русском языке это различие может быть выражено с помощью глагольного вида. Ср.:

*Лодка врѣзалась в берег.* Описываемое событие соотнесено с временем наблюдателя, т. е. дано в его перспективе и представлено как уже осуществившееся действие. Наблюдатель находится вне процесса, ему известен конечный результат описываемого события: описание дано с внешней по отношению к процессу точки зрения.

*Лодка врѣзалась в берег.* Наблюдатель является свидетелем происходящего; речь идет об осуществляющемся действии. Наблюдатель находится внутри процесса: описание дано с внутренней по отношению к процессу точки зрения<sup>44</sup>.

И в этом случае соответствующие фразы могут относиться непосредственно к говорящему, не предполагая участия отличающегося от него наблюдателя, и тогда имеет место первичный, а не вторичный дейксис. И совершенно так же эти фразы могут быть соотнесены с точкой зрения героя повествования<sup>45</sup>.

Различение внутренней и внешней позиции по отношению к изображаемым событиям может проявляться не только в пространственно-временном плане и не ограничено случаями дейктической референции<sup>46</sup>. Варьирование этих позиций является основным композиционным принципом в художественном нарративе, но оно может наблюдаться – в нарративном режиме – и в разговорной речи. Различение этих позиций актуально

<sup>43</sup> [Апресян 2004/2009: 515–516].

<sup>44</sup> См. [Успенский 2008: 854]. Примеры заимствованы из работы Гловинской [Гловинская 1982: 42, 94]; интерпретация принадлежит нам.

<sup>45</sup> Следует иметь в виду, что о позиции наблюдателя не всегда можно судить по фразам, вырванным из контекста. Так, Ю.Д. Апресян приводит фразу *Из комнаты вышел мальчик* как пример внешней позиции наблюдателя по отношению к комнате: «в приведенном тексте он (наблюдатель. – Б.У.) незримо присутствует, и притом вне того помещения, которое покинул мальчик». Исследователь считает, что эффект присутствия наблюдателя связан с коммуникативной организацией предложения: «...В высказывании *Из комнаты вышел мальчик* слово *мальчик* занимает ту позицию, в которую обычно вводится неопределенный объект, новая информация и рема высказывания. Очевидно, в частности, что объект ‘мальчик’ вводится в рассмотрение впервые. Между тем, если бы наблюдатель находился в комнате, то мальчик, покидающий ее, не мог бы быть объектом, впервые представившимся его вниманию» [Апресян 1986/1995: 642]. Но, если мы не знаем контекста, мы никак не можем утверждать, что «объект ‘мальчик’ вводится в рассмотрение впервые». В самом деле, легко представить себе ситуацию, мотивирующую появление данной фразы, которая предполагает присутствие наблюдателя не вне, а внутри данной комнаты. Представим себе, что наблюдатель мыслится в комнате, в которой находятся несколько человек, в их числе мальчик. Известно, что кто-то должен выйти из комнаты; после этого следует фраза *Из комнаты вышел мальчик*. Организация фразы остается той же самой, но наблюдатель при этом занимает другую позицию, чем в предложенной интерпретации. Если бы в русском языке был артикль, то в первой ситуации (предполагающей интерпретацию Ю.Д. Апресяна) был бы употреблен неопределенный артикль, во второй ситуации – определенный, но в обоих случаях слово *мальчик* относится к реме высказывания. Существенно, что обе интерпретации предполагают присутствие наблюдателя, при том что занимаемая им позиция может быть разной.

<sup>46</sup> См. [Успенский 1970/2000: 215–223].

и для изобразительного искусства, что позволяет говорить о структурном изоморфизме разных видов искусств<sup>47</sup>.

**2.5.** Итак, дейктическая референция, которая в обычном речевом режиме ориентирована на участника коммуникации, в режиме вторичного дейксиса оказывается ориентированной на какое-то иное лицо, имплицитно или эксплицитно присутствующее в тексте и выступающее как представитель говорящего. Это общее замечание относится и к анафорическим (катафорическим) конструкциям. Даже во фразе *Я думал, что приду*, где субъект анафорической конструкции кореферентен субъекту фразы, к которой отсылает эта конструкция, слово *приду* относится не к говорящему как субъекту речи, но к некоторой промежуточной инстанции, стоящей между дейктическим словом и говорящим, – к условной позиции, которая в этом частном случае совпадает с позицией самого говорящего.

Как видим, вторичный дейксис предполагает либо анафорическое или же катафорическое употребление слова (когда слово употребляется не для прямого указания на объект или явление, а для отсылки к объекту или явлению, который уже был упомянут в предшествующем тексте или будет упомянут в дальнейшем), либо ссылку на персонажа или же наблюдателя (который при этом отличается от говорящего или пишущего, т. е. создателя высказывания). Это, в сущности, явления одного порядка: речевая позиция, определяющая референцию, может быть эксплицитно названа или же может имплицитно подразумеваться. Во всех этих случаях дейктическая референция относится к субституту говорящего.

Показательно, что в целом ряде случаев мы не можем провести четкую грань между анафорой или катафорой и отсылкой к персонажу или наблюдателю. Так, Ю.Д. Апресян, говоря об анафорическом употреблении слова, приводит следующий пример: «...Во фразе *Здесь всегда холодно*, произнесенной человеком, который в момент высказывания зимует на Крайнем Севере, слово *здесь* использовано дейктически (имеется в виду первичный дейксис. – Б.У.) – для прямого указания на то место, где находится говорящий. Во фразе *Перемещение преступника удалось проследить до Киева; здесь след его потерялся* то же слово использовано анафорически, а именно, для отсылки к городу Киеву; *здесь* значит ‘в Киеве’, а не ‘в том месте, где в момент своего высказывания находился говорящий’; говорящий в момент своего высказывания мог быть где угодно. При этом вся фраза воспринимается как фрагмент какого-то повествования (отчета, журнальной статьи, рассказа), т. е. как нарративная»<sup>48</sup>. Как видим, в первой фразе имеет место первичный дейксис, во второй – вторичный. При этом во второй фразе в принципе может быть усмотрена как анафора, так и ссылка на наблюдателя. Возможность последней интерпретации становится очевидной, если обозначить в тексте персонажа, с которым совпадает наблюдатель, ср., например: *Перемещение преступника следователю удалось проследить до Киева; здесь след его потерялся* – очевидно, что слово *здесь* может относиться к точке зрения следователя.

**2.6.** В нарративе, вообще говоря, нет говорящего и слушающего (ср. выше, § 2.1) и, соответственно, здесь не употребляется 1-е и 2-е лицо – если отвлечься от вставок прямой речи (которые представляют собой цитаты) и от некоторых специальных случаев (таких, как повествование от 1-го лица или обращение к читателю), которые мы обсудим в дальнейшем (см. § 2.8). Основная нагрузка ложится, таким образом, на 3-е лицо, которое обозначает героя повествования – того, о ком идет речь (участника описываемого события, но не участника коммуникации). Можно сказать, таким образом, что в собственно нарративном тексте нет противопоставления по лицу.

<sup>47</sup> [Там же: 223–267]. Проблемам внешней и внутренней зрительной позиции в изобразительном искусстве посвящены работы [Успенский 1971/1995; Успенский 2009].

<sup>48</sup> [Апресян 2004/2009: 489–490].

Как мы помним, в диалогической речи дейксис в первую очередь заключает в себе указание на актуального или потенциального участника коммуникации, т. е. предполагает ориентацию на 1-е, 2-е или 3-е лицо, и при этом дейктическая референция может содержать ту или иную информацию, которая определяется именно через указание на участника коммуникации (см. выше, § 1.2–1.7). Между тем в нарративе, где нет противопоставления по лицу, дейксис выражается указаниями на место, время, определенность и т.п.; эти указания приобретают в данном случае самодовлеющее значение – именно они выполняют идентифицирующую функцию, присущую дейксису (ср. выше, § 1.5): вообще вторичный дейксис представляет собой виртуальное указание на основные параметры речевого акта. Так, например, если в диалогической речи указание на пространственно-временные параметры осуществляется через указание на лицо, то в нарративном тексте, напротив, указание на лицо, относительно которого строится повествование, осуществляется через относящиеся к нему пространственно-временные характеристики.

Таким образом соответствующему персонажу усваиваются характеристики говорящего. Так достигается эмпатия (способность к сопереживанию): мы переживаем вместе с героем, подобно тому, как можем переживать вместе с говорящим, – нам сообщается его восприятие.

2.7. Как отчасти видно уже из предыдущего изложения, одна и та же фраза может заключать в себе как первичный, так и вторичный дейксис: первичный дейксис представлен в речевом режиме, если имеется в виду позиция говорящего; вторичный дейксис представлен в нарративном режиме, если имеется в виду позиция героя повествования или же наблюдателя (отличающегося от говорящего).

Рассмотрим, например, фразу *Он пошел в кино*. В речевом режиме она соотносится с говорящим: так, прошедшее время глагола *пошел* определяется по отношению к настоящему времени говорящего (совпадающим с временем речевого акта). Ср., например: *Где Вася? – Он пошел в кино*. Это случай первичного дейксиса.

Между тем в нарративном режиме та же фраза может быть ориентирована на позицию персонажа. Ср., например: *Иванов ждал гостей, но они не пришли. Тогда он пошел в кино. Потом он долго вспоминал об этом*. Глагольные формы совершенного вида – *пришли, пошел* – соотносятся здесь с текстовым временем, т. е. каждый раз определяются тем временем, которое было на том или ином этапе *настоящим* для героя повествования (ср. ниже, § 2.11). Это случай вторичного дейксиса<sup>49</sup>.

Сходным образом во фразе *Иван знал этого человека* местоимение *этот* может соотноситься как с перспективой действующего лица (Ивана), который выступает как субъект сознания, так и с перспективой говорящего или рассказчика<sup>50</sup>.

То, что один и тот же текст может функционировать как в режиме первичного, так и в режиме вторичного дейксиса, представляется показательным: мы видим, что это явления одного порядка, одно сводится к другому.

Поскольку личные местоимения 1-го или 2-го лица предполагают первичный дейксис, для того чтобы преобразовать первичный дейксис во вторичный, достаточно заменить 1-е или 2-е лицо на 3-е и мысленно представить себе, что соответствующий текст вообще не имеет 1-го и 2-го лица. Тогда мы получаем нарратив.

Рассмотрим примеры.

<sup>49</sup> Вместе с тем данный текст может быть последовательно ориентирован на говорящего; в этом случае употребление глагольных форм определяется позицией говорящего, а не героя повествования.

<sup>50</sup> В нарративном режиме, когда рассказчик имплицитно присутствует в повествовании (т. е. не говорит от своего лица), перспектива рассказчика и перспектива персонажа могут быть практически неразличимы; кажется разумным считать в таких случаях, что автор использует «психологическую» точку зрения действующего лица (см. вообще о «психологической» точке зрения [Успенский 1970/2000: 138–170]).

*Я пошел в кино.* Слово *пошел* выражает первичный дейксис.

*Он пошел в кино.* Слово *пошел* может выражать первичный дейксис, если текст произносится от 1-го лица – в этом случае форма прошедшего времени *пошел* относится к действию, предшествующему моменту высказывания. Если же перед нами художественный текст, не имеющий 1-го лица, слово *пошел* может относиться к герою повествования (но не к говорящему!). Тогда оно как-то соотносится с другими действиями персонажа (например, может выражать последовательность или одновременность). В таком случае перед нами вторичный дейксис.

*Я увидел вблизи человека.* Слово *вблизи* относится ко мне (говорящему), выражает мою перспективу. Это первичный дейксис.

*Он увидел вблизи человека.* Слово *вблизи* относится к субъекту фразы – к тому, кто обозначен местоимением *он*, который отличается от говорящего; это вторичный дейксис. В принципе можно представить себе ситуацию, когда это слово относится к говорящему и обозначает первичный дейксис, но тогда мы должны предположить эллипсис: нормально было бы сказать в этом случае не *вблизи*, но *вблизи от меня*<sup>51</sup>.

Примеры такого рода нетрудно умножить.

**2.8.** Мы говорили, что в нарративном режиме, в условиях отвлечения от реальной речевой ситуации, в принципе нет говорящего и слушающего и, соответственно, не употребляется 1-е и 2-е лицо (см. выше, § 2.6). Исключение составляет *Ich-Erzählung* (повествование от 1-го лица), но это явный случай имитации диалогической речи. Это ни в коем случае не полноценное 1-е лицо (какое представлено в диалогической речи), но, в сущности, его паллиатив. В самом деле, 1-е лицо нарративного текста не совпадает с говорящим: если говорящий является собой субъекта речи в момент речи, то в данном случае перед нами оказывается субъект речи вне времени речи<sup>52</sup>. Вообще в повествовании от 1-го лица (*Ich-Erzählung*) нет заданного момента речи, объединяющего говорящего и слушающего (ср. выше, § 1.1). Следовательно, здесь нет реального говорящего, перед нами псевдоговорящий (рассказчик с маской говорящего) и речь может идти лишь о вторичном, но не о первичном дейксисе.

В дальнейшем изложении, говоря о нарративе, мы будем иметь в виду литературное повествование (художественный нарратив).

В художественном тексте – будь то литературный текст (нарратив) или текст изобразительного искусства – коммуникация имеет односторонний характер, не предполагая смены ролей между отправителем и получателем сообщения. Соответственно, здесь нет противопоставления 1-го и 2-го лица, которое присуще естественной, диалогической речи и которое, вообще говоря, определяет их сущность. Следует подчеркнуть в этой связи, что 1-е и 2-е лицо взаимозависимы: понятие «себя» («ego») предполагает понятие другого: субъект («ego») способен отдавать себе отчет в своем существовании только, если он признает существование другого субъекта (другого «ego») <sup>53</sup>.

Сказанное, *mutatis mutandis*, относится и к спорадическому обращению к читателю, возможному в рамках повествования (т. е. нарративного текста): если формы 1-го лица

<sup>51</sup> Ср.: «...Фраза типа *Маша только сейчас поняла, как важна для нее была поездка в деревню* может быть осмыслена двояко. Во-первых, *сейчас* в ней может указывать на время речи говорящего, т. е. иметь дейктическое значение (имеется в виду первичный дейксис. – Б.У.), и тогда она воспринимается как элемент диалога. Во-вторых, *сейчас* может указывать на то время, когда к Маше, которая в данном случае приобретает роль наблюдателя, пришло понимание важности ее поездки в деревню. В этом случае <...> вся фраза воспринимается как элемент рассказа о Маше, т. е. в нарративном режиме (и тогда это вторичный дейксис. – Б.У.)» [Апресян 2004/2009: 516].

<sup>52</sup> См. [Падучева 2008: 274, 276].

<sup>53</sup> Ср.: «La conscience de soi n'est possible que si elle s'éprouve par contraste. Je n'emploie *je* qu'en m'adressant à quelqu'un, qui sera dans mon allocution un *tu*. C'est cette condition de dialogue qui est constitutive de la *personne*, car elle implique en réciprocité que je deviens *tu* dans l'allocution de celui qui à son tour se désigne par *je*» [Benveniste 1966: 260; Бенвенист 1974: 294].

в нарративном тексте относятся к псевдоговорящему, то формы 2-го лица по той же причине (отсутствие заданного момента речи) относятся здесь к псевдослушающему. Обращение к читателю ни в коем случае не предполагает возможности ответной реплики читателя – таким образом, это не ситуация диалогической речи, но всего лишь условная имитация такой ситуации<sup>54</sup>.

**2.9.** Для того, чтобы понять специфику нарратива, целесообразно обратиться к категории времени. Рассказ о событиях (*narratio*), как правило, ведется здесь в прошедшем времени, т. е. описываемые события оказываются представленными ретроспективно (так в разных литературных традициях, по-видимому, друг с другом не связанных). В некоторых языках есть даже специальное повествовательное прошедшее время, которое не употребительно в обычной, разговорной речи: таковы, например, *passé simple* во французском языке, аорист в древнерусском<sup>55</sup>; ср. также особое употребление формы несовершенного вида прошедшего времени в русском<sup>56</sup>. При этом в этих языках повествовательное прошедшее время употребляется наряду с другими формами прошедшего времени.

Что же означает прошедшее время при повествовании? Мы знаем, что время – дейктическая категория (см. выше, § 1.8): в обычном случае категория времени соотносена с речевым актом, т. е. с моментом речи, объединяющим говорящего и слушающего (в этом случае прошедшее время обозначает событие, предшествующее моменту речи).

В литературном тексте нет говорящего, но есть пишущий (автор нарратива), позиция которого могла бы считаться аналогичной позиции говорящего. Можем ли мы считать, что прошедшее время в нарративе соотносится со временем сочинения (написания) рассказа – с тем временем, когда писатель создает соответствующий текст (это может быть достаточно продолжительный отрезок времени, но в любом случае по отношению к нему описываемые события находятся в прошлом)?

Очевидно, нет. Представим себе, что наше повествование относится к будущему времени (положим, это рассказ из жанра научной фантастики или утопии): мы все равно будем излагать события (которым предстоит совершиться!) в прошедшем времени. Иначе говоря, мы будем излагать их ретроспективно, с некоторой временной позиции, которая еще более отдалена от нас (еще более продвинута в будущее), чем описываемые события. Последние оказываются прошлыми событиями не по отношению к реальному времени рассказчика (с этой точки зрения они являются событиями будущего и предполагали бы использование грамматических форм будущего времени), а именно с точки зрения этой временной позиции; они представляют собой, можно сказать, прошлое в будущем.

Не менее характерны нарушения хронологической последовательности при изложении событий, когда автор забегаёт вперед и сообщает что-то о будущем своего героя: отвлекаясь от сюжетной линии, рассказчик может заметить, например: «Позднее он (герой) будет сожалеть об этом» и т. п.; форма будущего времени появляется в нарративном тексте, изложенном в прошедшем времени. Эта форма обозначает будущее героя, а не рассказчика: по отношению к рассказчику это будущее оказывается в прошлом<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> Спорадическое появление в тексте как 1-го, так и 2-го лица может отмечать сознательный выход из нарративного пространства, который призван обозначить рамки художественного текста. Ср. сказочную концовку типа «И я там был, мед-пиво пил ...» или обращение к принцу в балладах Вийона (см. об этом [Успенский 1970/2000: 234–243]).

<sup>55</sup> См. [Зализняк 1995/2004: 174; Успенский 1987/2002: 218; Vanfield 1981: 146 и сл.].

<sup>56</sup> См. [Успенский 1970/2000: 128–130; 2008: 835–836, 856].

<sup>57</sup> См. [Успенский 1970/2000: 119]. Подобный прием характерен для Достоевского. Ср., например, в «Братьях Карамазовых»: «Забегая вперед: то-то и есть, что он (Митя. - Б.У.), может быть, и знал, где достать эти деньги, знал, может быть, где и лежат они. Подробнее я на этот раз ничего не скажу, ибо потом все объяснится...» (кн. VIII, гл. 1); «Отмечаю этот факт заранее, потом разъяснится, для чего я так делаю» (кн. VIII, гл. 2); «Но я забегаю вперед» (кн. VIII, гл. 3).

Здесь представлено то же соотношение времен, которое мы наблюдаем во фразе *Я думал, что он придет* (см. выше, § 2.2): в обоих случаях выражается будущее в прошедшем.

Итак, события, о которых говорится в прошедшем времени, не связаны с временем составления рассказа, но соотносятся с некоторой условной временной позицией, при этом четко никак не обозначенной. Прошедшее время в нарративном тексте – это просто-напросто нарративное время. В самом деле, если в диалогической речи (в речевом режиме) время соотносится с моментом речи (объединяющим говорящего и слушающего), то при повествовании соотношение времен имеет условный характер.

Выбор временной формы в этом случае определяется отношением описываемого действия или состояния не к моменту речи (или создания текста), а к условной временной перспективе, имитирующей временную перспективу говорящего.

**2.10.** Итак, грамматическое время в нарративе принципиально отличается по своему значению и употреблению от времени в разговорной речи. Время в нарративе не соотносится с временем говорящего или пишущего. Тем более не соотносится оно и с временем реципиента (в данном случае – читателя).

Время написания, которое в известном смысле соответствует времени говорящего в естественной, диалогической речи, вообще говоря, не является общим для автора и читателя. В случае диалогической речи время говорящего является одновременно и временем слушающего, в данном же случае перед нами принципиально другая картина. Нарративный текст может быть прочитан существенно позже того, чем он написан<sup>58</sup>. Разумеется, можно считать, что пишущий имеет в виду не реального, а условного читателя, который синхронен автору. Но такого читателя не существует, это виртуальная фигура – своего рода «alter ego» автора, его проекция. Он сопоставим скорее не со слушающим, а с самим автором; он, по существу, является его двойником.

**2.11.** Хотя все повествование в нарративе дается в прошедшем времени, в общих рамках прошедшего времени выделяется время описываемых событий, синхронное действующим лицам. Будучи прошедшим временем для автора и читателя, которые, по определению, находятся вне описываемых событий и описывают или воспринимают их ретроспективно, это время предстает как настоящее время героев повествования, с чьей точки зрения дейктически описываются эти события<sup>59</sup>.

---

Лишь в таких авторских отступлениях, которые вообще никак не связаны с повествованием (выходят за пределы виртуальной действительности, определяемой сюжетным миром героев произведения), в литературном тексте возможно появление формы будущего времени, не соотношенного с прошедшим временем повествования. Ср., например, у Пушкина «Когда благому просвещению отдвинем более границ, Со временем <...> дороги, верно, У нас изменятся безмерно» («Евгений Онегин», VII, 23).

<sup>58</sup> Ср. в этой связи объяснение эпистолярного прошедшего в классической латыни: «автор письма переносится в то время, когда это письмо будет читаться, и поэтому употребляет имперфект или перфект, где для нас единственно естественной является форма настоящего времени» [Есперсен 1958: 343]; ср. [Падучева 1996: 261].

<sup>59</sup> Аналогичное значение могут иметь в нарративном режиме глаголы совершенного вида настоящего времени. А.В. Бондарко, рассматривая такие фразы, как *Все молчат, а он вдруг как крикнет* или *Заблудился он, никак дороги не найдет*, считает, что формы *крикнет*, *найдет* выражают в них «настоящее неактуальное», т. е. настоящее, не ориентированное на момент речи [Бондарко 1962: 182]. Поскольку в подобных случаях имеет место вторичный дейксис, мы можем считать, что речь идет здесь как раз об актуальном настоящем – при том что описываемое настоящее принадлежит не непосредственно самому говорящему, а воображаемому наблюдателю, которому говорящий сообщает (делегирует) свои функции. Высказывание соотносится, таким образом, с тем временем, которое является настоящим для этого наблюдателя; в перспективе этого наблюдателя и определяется актуальность соответствующего явления.

В речевом режиме описываемые события соотносятся с моментом речи, т. е. с настоящим временем говорящего (первичный дейксис), в нарративном режиме – с текстовым временем (вторичный дейксис). Необходимо различать при этом *событийное время*, которое соотносится с внутренней хронологией повествования, т. е. определяется последовательностью событий, и *текстовое время*, которое соотносится с позицией рассказчика, наблюдателя, действующего лица и т. п. Текстовое время представителя говорящего соответствует настоящему времени самого говорящего; иначе говоря, для представителя говорящего текстовое время является как бы настоящим временем или во всяком случае его аналогом. Таким образом, текстовое время определяется на хронологической шкале – в рамках событийного времени. И то и другое понятие актуально для вторичного дейксиса.

Как событийное, так и текстовое время могут выражаться грамматическими формами прошедшего времени (вместе с тем текстовое время спорадически может выражаться также формами настоящего времени – в значении «*praesens historicum*»). При этом событийное время обычно выражается глаголами совершенного вида прошедшего времени, а текстовое время – глаголами несовершенного вида прошедшего времени<sup>60</sup>. Именно поэтому формы несовершенного вида прошедшего времени в нарративе имеют особое значение: если в речевом режиме они обозначают предшествование, то в нарративном режиме они чаще всего выражают одновременность<sup>61</sup>. Можно сказать, таким образом, что они выражают *настоящее в прошлом*.

### Экскурс

#### *Дейктические слова со значением пространственного указания вне дейктического контекста (на примере различия «правого» и «левого»)*

Дейктические слова со значением пространственного указания могут выступать вне дейктического контекста, т. е. безотносительно к точке зрения участников коммуникации или какого бы то ни было их представителя.

Так, например, во фразе *Перед машиной стояла девушка* предлог *перед* может выражать указание на точку зрения говорящего или слушающего (тогда это первичный дейксис) или же на точку зрения виртуального наблюдателя, мысленно вводимого в описываемую сцену, позиция которого никак не связана с реальным положением кого-либо из участников коммуникации (в этом случае имеет место вторичный дейксис)<sup>62</sup>. Помимо того, слово *перед* может выражать положение девушки относительно машины (ее передней части), безотносительно к позиции какого бы то ни было наблюдателя (актуального или виртуального); в этом случае мы вообще не можем говорить о дейксисе<sup>63</sup>.

В случае дейктической ориентации система координат определяется участником коммуникации или, в случае вторичного дейксиса, субститутотом говорящего: это лицо (участник коммуникации или субститут говорящего) и выступает как точка отсчета. В случае недейктической ориентации система координат определяется безотносительно к говорящему или его субституту. В одном случае ориентация основывается на субъективных параметрах, в другом на объективных характеристиках.

Ч. Филмор иллюстрирует различие между дейктическим и недейктическим указанием, сравнивая фотографию и скульптуру: фотографическое представление человеческой фигуры и скульптурное изображение этой же фигуры. Как отмечает Филмор, «The sculpture does not represent any particular observer's point-of-view, but the photograph does.

<sup>60</sup> См. подробнее [Успенский 2008: 855–857], ср. [Там же: 835–836 (с отличающейся терминологией)].

<sup>61</sup> См. [Падучева 2008: 274].

<sup>62</sup> Ср. [Апресян 1986/1995: 634] (с иной интерпретацией).

<sup>63</sup> [Там же: 634–635].

The photograph does because the camera has to be positioned at a particular place in front of or to the side of, above or below, or on the same level as, the model»<sup>64</sup>.

Это различие наглядно проявляется в таких словах, как *правый* и *левый*, а также *справа* и *слева*, *направо* и *налево* и т. п. Определение позиции как «правой» или «левой» может устанавливаться по отношению к говорящему или замещающему его наблюдателю. Соответствующие оценки зависят тогда от положения говорящего (наблюдателя) в пространстве: так, например, если говорящий (наблюдатель) обойдет описываемый им объект на 180°, его оценки изменятся на противоположные: правое станет левым и наоборот. Точкой отсчета является при этом субъект описания.

Но если мы говорим о «правой руке» какого-то человека, мы, видимо, будем исходить из строения его тела. В данном случае понятия «правого» и «левого» имеют абсолютный, безусловный характер: эти оценки не меняются при изменении положения данного человека в пространстве: если он повернется на 180°, его правая рука останется «правой», а левая – «левой». Точкой отсчета является в данном случае не субъект, а объект описания.

А если речь идет о статуе? Скорее всего, будет иметь место то же самое: мы относимся к статуе, как если бы она была живым человеком. Можно сказать точнее: это именно зависит от нашего отношения. Если мы видим в статуе фигуру человека, мы назовем правой рукой то, что было бы правой рукой, если бы статуя была человеком. Если же мы относимся к статуе как к безжизненной каменной глыбе, мы в принципе можем использовать и свою точку зрения.

В целом ряде случаев выбор той или иной ориентации сводится к различию между объективной реальностью и субъективным восприятием этой реальности.

Показательна в этом плане полемика между католиками и протестантами о том, как изображать сцену Распятия Христова. Согласно традиции, восходящей к Никодимову евангелию (Деяниям Пилата), Благоразумный Разбойник, покаявшийся на Кресте и обретший веру и спасение, был распят «с правой стороны Христа», т.е., очевидно, по его правую руку, а другой разбойник – по левую его руку. Именно так и изображается эта сцена в православной и католической иконографии. Напротив, протестанты в XVI в. настаивали на том, что Благоразумный Разбойник должен быть изображен справа для нас (т.е. по левую руку Христа), а злой разбойник – слева для нас<sup>65</sup>.

Для протестантов (для которых вообще характерно отрицательное отношение к сакральным изображениям) изображение Распятия – это прежде всего назидательная картина, т.е. физический предмет, который имеет правую и левую сторону. В этом случае актуальной оказывается позиция человека, который смотрит на это изображение; «с правой стороны Христа» означает для него с правой стороны изображения или, если угодно, справа от фигуры (изображения) Христа. Правое и левое определяются перспективой зрителя картины; тем самым в данном случае имеет место дейктическая ориентация.

Совершенно иначе воспринимают изображение Распятия православные (у которых сохраняется традиция иконопочитания) и католики (у которых также наблюдается в какой-то мере почитание сакральных изображений). Изображение Распятия воспринимается (переживается) ими как изображение реальной сцены, которая является предметом молитвы и медитации. Православный или католический зритель сосредоточивается на изображаемом, а не на факте изображения; он призван забыть о том, что это картина, его задача – сопresentствовать в изображенной сцене, т.е. как бы войти в изображение. При таком понимании «с правой стороны Христа» означает правую сторону по отношению к самому Христу, а не по отношению к зрителю картины, и это предполагает недейктическую ориентацию.

Такая же разница наблюдается между протестантскими и православными или же католическими аллегорическими изображениями. В протестантских картинах грехо-

<sup>64</sup> [Fillmore 1975: 16].

<sup>65</sup> См. подробнее [Успенский 2009: 103–105].

падение изображается слева по отношению к зрителю картины, а спасение справа<sup>66</sup>, между тем как в православных и католических картинах противопоставление положительного и отрицательного начала представлено противоположным образом: то, что относится к спасению, представлено здесь слева для зрителя (справа по отношению к самой картине), а то, что относится к грехопадению, – справа для зрителя (слева по отношению к изображению)<sup>67</sup>. Во всех этих случаях имеет место аксиологическое противопоставление правой и левой стороны, но в одном случае это противопоставление предполагает дейктическую, в другом – недейктическую ориентацию.

Соответственно, в иконописной традиции принято было описывать икону, основываясь не на восприятии человека, который на нее смотрит, а на внутренней по отношению к иконописному изображению точке зрения: так, правая для зрителя часть изображения считалась «левой», а левая часть, напротив – «правой». Очевидным образом при этом имеет место недейктическая ориентация. Очень часто в центре иконы представлена фигура Христа, Богородицы или какого-то святого, и мы можем считать в этих случаях, что правое и левое определяется по отношению к этой центральной фигуре: «правая» часть изображения приходится по правую руку этой фигуры, а «левая» – по левую. Однако в точности такая же терминология может применяться при отсутствии этой центральной (ориентирующей) фигуры; таким образом это принципиальный момент иконописного изображения, который не сводится к какой-либо конкретной композиции<sup>68</sup>.

Иконописная традиция дает особенно наглядный материал в этом отношении в виду наличия более или менее точных словесных описаний различных иконографических сюжетов. Вместе с тем данное явление не специфично для иконописи; так же в свое время воспринималось и описывалось изображение на Западе. Спорадически подобный принцип описания живописного изображения прослеживается на Западе вплоть до середины XIX в.<sup>69</sup>

Тот же принцип описания принят и в архитектуре. Для человека, смотрящего на здание, правая и левая сторона определяются его положением по отношению к зданию. Если он отмечает, например, что в правом окне горит свет, он исходит из своей перспективы, что соответствует принципу дейктической ориентации. Но для архитектора, описывающего здание, дело обстоит иначе: в архитектуре принято описывать здание противоположным образом – точкой отсчета является здесь само здание и, соответственно, «правой» стороной здания считается та, которая является левой для человека, смотрящего на здание, и наоборот. Это отвечает принципу недейктической ориентации.

Другим примером может служить описание театральной сцены: «правой» стороной театральной сцены считается сторона, которая является левой для зрителя, и наоборот<sup>70</sup>. Это отвечает точке зрения актера, обращенного лицом к зрителям<sup>71</sup>. Таким

<sup>66</sup> [Там же: 35 (примеч. 48)].

<sup>67</sup> См. о русских аллегорических картинах [Успенский 1973/1995: 300–301]; ср. также [Успенский 2006: илл. I–II]. Примером католического изображения такого рода может служить «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха.

<sup>68</sup> См. [Успенский 1973/1995].

<sup>69</sup> См. [Успенский 2009: 34–35].

<sup>70</sup> См. [Успенский 1970/2000: 14].

<sup>71</sup> Такое положение актера было нормативным в старинном театре – актер должен был не поворачиваться спиной к зрителю и, по возможности, не поворачиваться к нему в профиль (см. [Успенский 1971/1995: 279]). Поскольку активная игра требует движения правой рукой и при этом нельзя показываться зрителю спиной, актер более активной роли в театре XVIII в. выпускался обычно с правой от зрителя стороны (с «левой» стороны сцены), а актера более пассивной роли ставили слева (с «правой» стороны сцены); например, принцесса стоит слева (для зрителя), а рабыня, ее соперница, представляющая активный персонаж, вбегает на сцену с правой от зрителя стороны. В соответствии с такой расстановкой актер пассивной роли находился в более выгодной (престижной) позиции, поскольку его относительно неподвижное положение не вызывало необходимости поворачиваться в профиль или спиной к зрителю – и поэтому эту позицию занимали актеры, роль которых характеризовалась большей представительностью или социальной значи-

образом, если в зрительном зале «правая» и «левая» сторона партера соответствуют точке зрения зрителя, обращенного к актеру, то на сценической площадке «правая» и «левая» сторона сцены соответствуют точке зрения актера, обращенного к зрителю. Можно считать, что здесь противопоставлены две системы ориентации: дейктическая и недейктическая.

Аналогичное противопоставление наблюдалось (до середины XVII в.) в русском православном храме: в предалтарной части храма точкой отсчета при определении правого и левого являлась позиция молящихся, обращенных лицом к алтарю, т. е. смотрящих на восток (как известно, алтарь в русских церквях располагается в восточной части храма). Например, «правым» клиросом назывался (как называется и сейчас) тот клирос, который находился справа от них (в южной части храма), а «левым», соответственно, – тот, что находился от них слева (в северной части храма); мужчины по традиции стояли на «правой» (южной) стороне церкви, а женщины на «левой» (северной) и т.п. Очевидным образом здесь представлена дейктическая точка зрения. Напротив, ориентация в алтаре была прямо противоположной: «правой» стороной алтаря считалась северная сторона, которая находилась слева для человека, смотрящего на алтарь, и наоборот<sup>72</sup>. Точкой отсчета является в данном случае сам алтарь, как главная часть храма: субъективной (дейктической) ориентации противопоставлена объективная (недейктическая)<sup>73</sup>.

Эти две возможности дифференциации правого и левого могут быть прослежены в порядке совершения крестного знамения в разных христианских традициях: если православные крестятся справа налево, то современные католики крестятся слева направо<sup>74</sup>. Так же, как католики, крестятся монофизиты (армяне, копты, эфиопы, сирийцы); в свою очередь, несториане крестятся так же, как православные.

При этом наблюдается следующая закономерность: тех, кто крестится справа налево, благословляют в противоположном направлении, т. е. по отношению к себе кладут крест слева направо; тех же, кто крестится слева направо, так же – слева направо – и благословляют.

---

мостью. В результате расположение действующих лиц в опере XVIII в. подчинялось достаточно определенным правилам, когда солисты выстраивались параллельно рампе, располагаясь по нисходящей иерархии слева направо (по отношению к зрителю), т. е. герой или первый любовник помещался, например, первым слева, за ним находился следующий по важности персонаж и т. д. См. [Успенский 1970/2000: 14].

<sup>72</sup> См. [Успенский 2006: 133–149]; ср. также [Успенский 2009: 41]. Принцип двойного описания храмового пространства, предусматривающий две системы ориентации, не прослеживается, насколько мы знаем, у греков. На Руси он был отменен патриархом Никоном в 1655 г.: после реформ Никона определение правого и левого в русских храмах, так же как и у греков, последовательно (во всех частях храма!) основывается на перспективе человека, обращенного к алтарю, т. е. смотрящего на восток (см. [Успенский 2006: 143]). Традиционный принцип двойной перспективы сохраняется у старообрядцев.

<sup>73</sup> В древнейших западных церквях – в частности, римских и североафриканских, – которые имели вход на востоке и алтарную апсиду с престолом на западе, определение правого и левого было соотносено с точкой зрения наблюдателя, обращенного спиной к апсиде и лицом к входу в церковь. Точкой отсчета оказывается при этом престол, правая часть которого (соответственно, левая с точки зрения молящихся, обращенных лицом к престолу) именуется в католической церкви «евангельской», а левая часть (правая для молящихся) – «апостольской»; эти названия отражают древнейшее представление о правой и левой стороне храма. Напротив, в церквях с апсидой на востоке и входом на западе (этот тип церквей доминирует на Западе со второй половины V в.), правое и левое, как правило, определялось позицией молящихся, обращенных лицом к престолу. Еще в XVIII в. прихожане во Франции могли спорить о том, какая сторона церкви является более почетной. См. [Успенский 2006: 143–146]; ср. также [Успенский 2009: 42].

<sup>74</sup> К дальнейшему см. подробнее [Успенский 2004; 2006: 15–113]. Ранее (вплоть до XVI в.) у католиков был принят как тот, так и другой порядок крестного знамения (при том, что православные всегда крестились справа налево).

Итак, благословляют всегда – в самых разных традициях – слева направо по отношению к субъекту действия или, что то же, справа налево по отношению к объекту действия. Действительно, крестное знамение при благословении во всех случаях сначала кладется на правое плечо того, к кому относится благословение, а затем – на левое.

Поскольку движение благословения совпадает в разных традициях, этот жест следует признать исходным. Это жест священника: изначально только священник может осенить другого человека крестным знаменем<sup>75</sup>. В древнейший период при катехизации (приготовлении к крещению) священник благословлял катехумена, после чего тот получал возможность сам осенить себя крестным знаменем.

При этом являлись две возможности: катехумен мог либо повторять действия священника (совершая движение рукой слева направо), либо начинать со своего правого плеча, подобно тому, как это произошло, когда его осеняли крестным знаменем (совершая движение рукой справа налево). Тот и другой способ действия закрепился в разных христианских традициях<sup>76</sup>.

Соответственно, в одной традиции всегда совершают движение в одном направлении (слева направо по отношению к себе). Таким образом принимается точка зрения субъекта действия, т. е. имеет место дейктическая ориентация. В этом случае крестное знамение понимается прежде всего как молитва, т. е. акцент делается на обращении к Богу. Движение слева направо призвано выразить стремление человека к Богу и вечной жизни: это движение от мрака к свету, от греха к спасению и т. п.

Между тем в другой традиции всегда начинают с правого плеча объекта – того, к кому прилагается крестное знамение. Таким образом принимается точка зрения объекта действия, т. е. имеет место недейктическая ориентация. В этом случае крестное знамение понимается прежде всего как исповедание веры, т. е. акцент делается на приобщении к Богу. Человек, который крестится справа налево, как бы принимает позицию Бога, находящегося на Кресте, оказываясь тем самым под его защитой: его правая сторона соотносится с правой стороной самого Бога и наоборот.

Примеры употребления дейктических слов вне дейктического контекста легко могут быть умножены. Мы сосредоточились на дифференциации «правого» и «левого», но аналогичные примеры могут быть приведены и в отношении других параметров трехмерного пространства, а именно в отношении дифференциации «верхнего – нижнего» и «переднего – заднего».

---

<sup>75</sup> Благословение (осенение другого человека крестным знаменем) в самых разных христианских традициях рассматривается как исключительная прерогатива священника. В русском быту сейчас любой человек может перекрестить другого, но это относительно новое явление (появившееся после реформ патриарха Никона, когда было установлено особое священническое перстосложение при благословении); у старообрядцев это не принято.

<sup>76</sup> Если обычай креститься слева направо восходит к катехизации взрослых (когда катехумен сознательно повторял действия священника, перенося руку в том же направлении), то обычай креститься справа налево восходит к катехизации детей. Совершая обряд катехизации ребенка, священник брал его правую руку и осенял его крестным знаменем, произнося при этом: «Signo te signaculo Sanctae Crucis Domini nostri Jesu Christi cum manu tua dextera, ut te conservet, et ab adversis te cripiat, ut habeas vitam aeternam, et vivas in saecula saeculorum» ('Знаменую тебя знаменем святого креста Господа нашего Иисуса Христа твоей правой рукой, дабы хранил тебя и исхитил тебя от врага, дабы имел ты жизнь вечную и жил во веки веков'). При этом крестное знамение совершается одновременно и рукой священника и рукой катехумена – как от имени священника (который говорит о производимом действии в 1-м лице: «Signo te...»), так и от имени катехумена (который сам осеняет себя крестным знаменем). Таким образом священник перемещает руку по отношению к себе слева направо, как это принято вообще (во всех традициях) при благословении, тогда как катехумен, напротив, перемещает руку по отношению к себе справа налево (постольку, поскольку движение руки катехумена определяется движением руки священника). См. [Успенский 2004: 31–32; 2006: 40–41].

Заметим, что все сказанное относится к дейктическим словам пространственной ориентации (со значением пространственного указания): напротив, дейктические слова временной ориентации (со значением временного указания) не могут быть употреблены вне дейктического контекста, т. е. иметь недейктический смысл.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1986/1995 – Ю.Д. *Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Апресян 2004/2009 – Ю.Д. *Апресян*. Понятийный аппарат системной лексикографии // Ю.Д. *Апресян*. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I. М., 2009.
- Бенвенист 1974 – Э. *Бенвенист*. О субъективности в языке // Э. *Бенвенист*. Общая лингвистика. М., 1974.
- Бондарко 1962 – А.В. *Бондарко*. Опыт общей характеристики видового противопоставления русского глагола // Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. Т. XXIII. М., 1962.
- Бондарко 1998 – А.В. *Бондарко*. Проблемы инвариантности/вариативности и маркированности/немаркированности в сфере аспектологии // М.Ю. *Черткова* (ред). Типология вида: Проблемы, поиски, решения. М., 1998.
- Бюлер 1993 – К. *Бюлер*. Теория языка. М., 1993.
- Волошинов 1929 – В.Н. *Волошинов*. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.
- Гловинская 1982 – М.Я. *Гловинская*. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Дурново I–II – Н. *Дурново*. Повторительный курс русского языка. Вып. I–II. М.; Л., [1924]–1929.
- Есперсен 1958 – О. *Есперсен*. Философия грамматики. М., 1958.
- Зализняк 1995/2004 – А.А. *Зализняк*. Древнесовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.
- Косериу 1963 – Э. *Косериу*. Синхрония, диахрония и история (Проблема языкового изменения) // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Падучева 1995/2009 – Е.В. *Падучева*. В.В. *Виноградов* и наука о языке художественной прозы // Е.В. *Падучева*. Статьи разных лет. М., 2009.
- Падучева 1996 – Е.В. *Падучева*. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива). М., 1996.
- Падучева 1997/2009 – Е.В. *Падучева*. Эгоцентрическая семантика союзов *а* и *но* // Е.В. *Падучева*. Статьи разных лет. М., 2009.
- Падучева 2001/2009 – Е.В. *Падучева*. Модальность сквозь призму дейксиса // Е.В. *Падучева*. Статьи разных лет. М., 2009.
- Падучева 2004 – Е.В. *Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Падучева 2008 – Е.В. *Падучева*. Вторичный дейксис и фигура наблюдателя // *Miscellanea slavica*: Сб. статей к 70-летию Б.А. *Успенского*. М., 2008.
- Пешковский 1935 – А.М. *Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. 5-е изд. М., 1935.
- Успенский 1970/2000 – Б.А. *Успенский*. Поэтика композиции. [3-е изд.]. СПб., 2000.
- Успенский 1971/1995 – Б.А. *Успенский*. Семиотика иконы // Б.А. *Успенский*. Семиотика искусства (Поэтика композиции, Семиотика иконы, Статьи об искусстве). М., 1995.
- Успенский 1973/1995 – Б.А. *Успенский*. «Правое» и «левое» в иконописном изображении // Б.А. *Успенский*. Семиотика искусства (Поэтика композиции, Семиотика иконы, Статьи об искусстве). М., 1995.
- Успенский 1987/2002 – Б.А. *Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд. М., 2002.
- Успенский 1988–1989/1996 – Б.А. *Успенский*. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема) // Б.А. *Успенский*. Избранные труды. Т. I. 2-е изд. М., 1996.
- Успенский 2004 – Б.А. *Успенский*. Крестное знамение и сакральное пространство: Почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо? М., 2004.
- Успенский 2006 – Б.А. *Успенский*. Крест и круг: Из истории христианской символики. М., 2006.
- Успенский 2007 – Б.А. *Успенский*. Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2007.
- Успенский 2008 – Б.А. *Успенский*. Вид и дейксис // Динамические модели: слово, предложение, текст: Сб. статей в честь Е.В. *Падучевой*. М., 2008.

- Успенский 2009 – *Б.А. Успенский*. Гентский алтарь Яна ван Эйка: композиция произведения. Божественная и человеческая перспектива. М., 2009.
- Якобсон 1972 – *Р.О. Якобсон*. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Б.А. Успенский (ред.); О.Г. Ревзина (сост.). Принципы типологического анализа языков разного строя. М., 1972.
- Anderson, Keenan 1985 – *S.R. Anderson, E. Keenan*. Deixis // T. Shopen (ed.). Typology and syntactic fieldwork. V. III. Cambridge, 1985.
- Banfield 1982 – *A. Banfield*. Unspeakable sentences: Narration and representation in the language of fiction. Boston; London; Melbourne, Henley, 1982.
- Benveniste 1966 – *É. Benveniste*. De la subjectivité dans le langage // É. Benveniste. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966. (Рус. перевод: Бенвенист 1974).
- Bhat 2004 – *D. N. S. [= Darbhe Narayana Shankara] Bhat*. Pronouns. Oxford, 2004.
- Fillmore 1975 – *Ch.J. Fillmore*. Santa Cruz lectures on deixis. Reproduced by the Indiana University linguistic club. Bloomington (Indiana), 1975.
- Greenberg 1986 – *J.H. Greenberg*. Introduction: Some reflections on pronominal systems // U. Wiese-mann (ed.). Pronominal systems. Tübingen, 1986.
- Jakobson 1957/1971 – *R. Jakobson*. Shifters, verbal categories and the Russian verb // R. Jakobson. Selected writings. V. II. The Hague; Paris, 1971. (Рус. перевод: Якобсон 1972).
- Lyons 1968 – *J. Lyons*. Introduction to theoretical linguistics. Cambridge, 1968.
- Lyons 1977 – *J. Lyons*. Semantics. V. I–II. Cambridge, 1977. Продолжающаяся пагинация в обоих томах.
- Lyons 1982 – *J. Lyons*. Deixis and subjectivity: Loquor, ergo sum? // R.J. Jarvella, W. Klein (eds.). Speech, place, and action. New York, 1982.
- Pisani 1953 – *V. Pisani*. Allgemeine Sprachwissenschaft, Indogermanistik // Forschungsberichte. Bd. 2. Bern, 1953.
- Russel 1940 – *B. Russel*. An inquiry into meaning and truth. London, 1940.
- Uspensky 1976 – *B. Uspensky*. The semiotics of the Russian icon. Lisse, 1976.

© 2011 г. Л.Л. КАСАТКИН

## ОРФОЭПЕМА КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ОРФОЭПИИ

Орфоэпема – основная единица орфоэпии. Ее представляют варьирующиеся в одной и той же фонетической позиции звуки или фонемы и варьирующееся в одной и той же словоформе или в первой основе сложного слова место ударения. Орфоэпемы могут различаться по степени употребительности составляющих ее вариантов, возможной прикрепленности их к разным фонетическим и фразовым позициям, употребляемости в разных сферах речи, по количеству вариантов и их функциональной нагрузке – количеству слов (словоформ), в которых наблюдается тот или иной вариант орфоэпемы. Варианты орфоэпем могут обозначаться и не обозначаться на письме.

### 1. ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ ОРФОЭПИИ

Понятие орфоэпии менялось и уточнялось в отечественной науке. Д.Н. Ушаков определял орфоэпию как правильное произношение. «Основа русской орфоэпии – московский говор. Что произнесено не по-московски, то “неправильно”». Другое возможное отклонение от правильного – «буквенное произношение», «противоречащее законам живого языка». Таким образом, «правильное общерусское произношение – это произношение образованных москвичей, но свободное от искажений в угоду букв русских и обрусевших слов». К правильному произношению Д.Н. Ушаков относил «законы и правила произношения», включая «физиологию звуков речи и русскую фонетику», а также «целый ряд отдельных случаев допустимых вариантов». Конкретизируя эти положения, Д.Н. Ушаков приводит ряд правил произношения – «главнейших черт московской речи, которую общепринято считать образцовой», в том числе произношение безударных гласных, звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными и др. [Ушаков 1995].

Уточняя эти положения, ученик Д.Н. Ушакова Р.И. Аванесов определял орфоэпию следующим образом: «Орфоэпия (от греч. *orthos* – прямой, правильный и *epos* – речь) – совокупность правил устной речи, обеспечивающих единство ее звукового оформления в соответствии с нормами национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке» [Аванесов 1984: 13]. Р.И. Аванесов относил к орфоэпии произношение и ударение. «Произношение охватывает прежде всего фонетическую систему языка, т. е. состав различаемых в данном языке фонем, их качество, их изменения в определенных фонетических условиях. <...> В понятие произношения входит, кроме того, звуковое оформление отдельных слов или отдельных групп слов в той мере, в какой оно не определяется фонетической системой языка. Так, например, имеется группа слов, в которых на месте орфографического сочетания *чи* произносится [шн]: *конé*[шн]о, *ску́*[шн]о, *яй*[шн]ица, *пустя́*[шн]ый, *пра́че*[шн]ая и др. В ряде случаев существует двойное произношение, с [шн] и [ч'н]: *сли́во*[шн]ый и *сли́во*[ч'н]ый, *моло́*[шн]ый и *моло́*[ч'н]ый и др. Фонетическая система русского языка в равной мере допускает оба сочетания – как [шн], так и [ч'н] <...>. В понятие произношения входит звуковое оформление отдельных грамматических форм, опять-таки в той мере, в какой оно не определяется фонетической системой языка. Например, вопрос о звуковом оформлении глаголов с возвратной частицей *-сь* (*бою́*[с] или *бою́*[с'], *мою́*[с]

или *мою*[с']) <...>. Таким образом, произношение представляет собой понятие более широкое, чем фонетическая система, хотя последняя занимает в нем главное место» [Там же: 13–15].

Иначе понимал орфоэпию А.А. Реформатский. Он возражал против понимания под орфоэпией «вообще произношение литературного языка» и выводил орфоэпию за пределы фонетики: «Орфоэпия обозначает раздел, посвященный произносительным нормам. <...> Опираясь на знание фонетики данного языка, т. е. на знание состава фонем и законов распределения их по позициям с получающимися в слабых позициях вариациями и вариантами, орфоэпия дает индивидуальные нормы для разных случаев и выбирает из существующих вариантов произношения то, что более соответствует принятым традициям, тенденциям развития языка и последовательности в системе» [Реформатский 1947: 81; 1987: 126–127].

Так же писал об орфоэпии М.В. Панов: «Орфоэпия – наука, которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации (орфоэпические правила)» [Панов 1979: 195]. Рассматриваемые им примеры относятся именно к «произносительным вариантам в литературном языке» [Панов 1967: 294–333]. Однако разграничение собственно фонетики и орфоэпии у М.В. Панова недостаточно четкое, ср.: «Есть фонетические законы и есть орфоэпические правила. В литературном языке на конце слова шумные звонкие заменяются парными глухими – это закон фонетики, он похож на законы природы тем, что непреложен, безысключителен (однако не для всех языков, а для современного русского литературного). Закон утверждает, что всякий, кто произносит *моро*[з] (например, под влиянием украинского языка), не вполне овладел фонетической системой русского литературного языка. В конце русских слов на месте букв “б–в–д–з–ж–г” нужно произносить звуки [п–ф–т–с–ш–к] – вот правило орфоэпии. Оно говорит о должном» [Панов 1979: 196]. Здесь к орфоэпии отнесено безвариантное произношение в литературном языке.

К орфоэпии следует относить лишь такие произносительные нормы, которые допускают вариантность в литературном языке. Фонетические законы, не знающие исключений, относятся к области фонетики (а не к орфоэпии), в частности и произношение глухих согласных на месте звонких шумных на конце слова: *зу*[б]ы – *зу*[п], *во*[з]ы – *во*[с] и т. п. Основная задача описательной фонетики – изучение характера звуков и синхронических законов чередования звуков, реализующих фонемы в разных позициях, орфоэпия же главным образом рассматривает и оценивает произносительные варианты слов и словоформ, выступающие в одних и тех же фонетических позициях, см. [Касаткин 1982: 121; 2008: 179–229; БОС]<sup>1</sup>.

## 2. ОРФОЭПЕМА – ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ОРФОЭПИИ

Термин «фонетика» употребляется в широком и узком значениях. Фонетика в широком значении включает в себя фонетику в узком значении, фонологию и орфоэпию. Основная единица фонетики в узком значении – звук; основная единица фонологии – фонема, представленная позиционно чередующимися звуками (с точки зрения Московской фонологической школы всем множеством звуков, обусловленных фонетическими позициями). Приведенное выше определение орфоэпии позволяет установить и ее основную единицу.

<sup>1</sup> В лингвистике существует терминологическое разграничение двух областей вариативности: вариантность фонемного состава морфем называется орфоэпией в узком значении, а вариантность звуковой реализации фонем – орфофонией; см., например [Мат. Ковал 1960: 163; Gołąb et al. 1970: 398; Вербицкая 1976: 25–28; 2001: 19–24; Высотский 1984]. В данной статье это разграничение не проводится: и та, и другая области вариативности относятся к орфоэпии в широком смысле слова.

О неоправданно более широком понимании орфоэпии, когда к ней относят и образование вариантных грамматических форм, как в [ОС], см. [Касаткин 2007: 346–350].

Основная единица орфоэпии – орфоэпема<sup>2</sup>. Ее представляют варьирующиеся в одной и той же фонетической позиции звуки или фонемы и варьирующееся в одной и той же словоформе или в первой основе сложного слова место ударения<sup>3</sup>.

Такая вариативность может быть в одной и той же словоформе, например: *ржаной* – *рж[а<sup>э</sup>]ной* и *рж[ы<sup>э</sup>]ной*, *расседлать* – *ра[с']седлать* и *ра[с]седлать*, *баржа* и *баржа́*<sup>4</sup>.

В слове может быть и несколько орфоэпем, например:

– *группа* – в формах с сочетанием *пп* перед *а, о, у, ы*: *группа...* – *гру[пп]а* и *гру[п]а*, в форме *группе* – *гру[п']е* и допустимо *гру[п'п']е*;

– *отрасль* – *отра[с']ль* и *отра[с]ль*, мн. ч. *отрасли*, *отраслям* и допустимо младшее *отрасля́м*;

– *внимательный* – *[в]нимательный* и допустимо старшее *[в']нимательный*; *внимá[т'ил']ный*, *внимá[т'л']ный* и *внимá[т']ный*; *внимáтельн[ы]й* и *внимáтельн[э]й*;

– *метеорологический* – *мет[иэ]рологический*, *мет[еа]рологический*, *мет[и]рологический* и *мет[е]рологический*; *метеорологи[ч'с]кий* и допустимо *метеорологи[ч'и'с]кий*; *метеорологичес[к'и'с]й* и допустимо устарелое *метеорологичес[кэ]й*.

Орфоэпему могут образовывать варианты, представленные в одной и той же позиции в разных словах или словоформах. Так, в словах *аллергия*, *торги́* произносится только [р], но этот звук представляет орфоэпему «[р]/[р'] в позиции перед [г']», так как в других словах возможно произношение [р'] наряду с [р]: *киргиз*, *Серге́й*. В сочетании *стл* в слове *счастли́вый* на месте *т* нуль звука, а в слове *растли́ть* смычный согласный всегда произносится; это варианты орфоэпемы, которая в некоторых словах может быть представлена обоими вариантами: *костля́вый*, *постла́ть*, *хвастли́вый*. В слове *водонепроница́емый* дополнительное ударение обязательно, в слове *водопа́д* оно всегда отсутствует, оба эти варианта произношения первой основы *вод(о)-* сложных слов представляют соответствующую орфоэпему, которая в некоторых словах может реализовываться обоими вариантами: *водозащитный* и допустимо *водозащитный*, *водоизмерительный* и допустимо *водоизмерительный* и т. п.

Орфоэпему представляют и варианты, наблюдающиеся в позиции, понимаемой в широком смысле слова, например: любой мягкий/твердый согласный перед любым мягким, наличие/отсутствие смычного согласного между согласными, наличие/отсутствие дополнительного ударения в любом сложном слове.

### 3. ХАРАКТЕР ВАРИАНТОВ ОРФОЭПЕМЫ

1. Употребительность вариантов может быть равная или не одинаковая, возможна прикрепленность их к разным фонетическим и фразовым позициям, употребляемость в разных сферах речи, что может отражаться в орфоэпических словарях. Так, в [БОС] принята следующая система помет:

*и* – соединяет равноправные варианты, например: *аббат* – *а[бб]áт* и *а[б]áт*, *вымпел* – *вы[м']пел* и *вы[м]пел*, *европейский* – *[и<sup>с</sup>]вропе́йский* и *[и<sup>с</sup>]вропе́йский*, *баржа* и *баржа́*;

*и допустимо* – присоединяет менее употребительный вариант, который может уточняться: *старшее*, *устарелое*, *младшее*; например: *творо́г* и допуст. *твóрог*, *втереть* – *[ф]терéть* и допуст. старшее *[ф']терéть*, *зна́лся* и допуст. устарелое *зналсá*, *звáло* и допуст. младшее *звалó*;

*в беглой речи возможно* – более редкие варианты, встречающиеся при быстром темпе речи, в том числе в слабой фразовой позиции, т. е. не под основным ударением

<sup>2</sup> Этот термин был предложен мною и использован в работе А.А. Бондаренко [Бондаренко 1988]. Орфоэпемы могут выделяться двойными угловыми скобками (кавычками) « ».

<sup>3</sup> Орфоэпему представляют и варианты интонации, однако в описаниях русской интонации проблема вариативности почти не затронута и эти варианты еще предстоит установить.

<sup>4</sup> Варианты орфоэпем здесь и далее приведены по [БОС].

фонетической синтагмы или фразы, например: *абстракционизм* – *абстракц[ыа]н[и]зм*, в беглой речи возможно *абстракц[а]н[и]зм*; *длинный* – *дл[и]н[н]ый*, в беглой речи возможно *дл[и]н[н]ый*; ср. *дл[и]н[н]ый звонок* и *дл[и]н[н]ый звон[о]к*.

Профессиональные варианты места ударения уточняются: у юристов, у математиков и др., если можно точно указать специальность. В других случаях пишется – в профессион. речи, например: *аф[а]зия*, у медиков *афаз[и]я*; *и[с]кра*, в профессион. речи *искр[а]*.

2. Орфоэпемы различаются по количеству составляющих ее вариантов. Двучленные орфоэпемы образованы двумя вариантами, трехчленные – тремя и т.д. Так, варианты ударения почти всегда двучленные, трехчленные – редкие исключения, например: *за[ж]ило* и допуст. младшее *заж[и]ло* и *зажил[о]*; *прида[л]о* и допуст. устарелое *при[д]ало*, и допуст. младшее *придал[о]*.

Произносительные варианты

– чаще всего двучленные, например: *жакет* – *ж[а<sup>3</sup>]к[э]т* и *ж[ы<sup>3</sup>]к[э]т*<sup>5</sup>, *содоклад* – *с[э]докл[а]д* и допустимо *с[о]докл[а]д*, *идеал* – *ид[с[а]л]* и *ид[и[а]л]*; *алмаатинец* – *алм[э]т[и]нец*, в беглой речи возможно *алм[а]т[и]нец*; *медвежьего* – *медв[э]ж[и]его* и *медв[э]ж[е]го*; *церковь* – *ц[э]р[к]овь* и допуст. старшее *ц[э]р[']ковь*; *конгресс* – *конг[р]эсс* и *конг[р']эсс*; *профессия* – *проф[э]с[']ия* и *проф[э]с[']ия*; *диспетчер* – *дисп[э]ч[']ер* и допуст. *дисп[э]ч[']ер*; *дисциплина* – *дисц[ип]ли[н]а*, в беглой речи возможно *дисц[ис]ипли[н]а*; *гигантский* – *гиг[а]нт[с]кий* и допуст. *гиг[а]нт[ц]кий*; *суборбитальный* – *суб[ор]бит[а]льный* и допуст. *суб[п]орбит[а]льный*; *строятся* – *стр[о]б[и]ются* и допуст. *стр[о]б[и]ются*; *мылся* – *мыл[с'э]* и *мыл[сэ]*;

– трехчленные: *официант* – *офиц[ы]ант*, *офиц[з]ант* и *офиц[а]нт*; *вуалехвост* – *ву[э]лехв[о]ст* и *ву[о]лехв[о]ст*, у аквариумистов *ву[э]лехв[о]ст*; *нового* – *но[в]о[в]о*, *но[в]о[в]о*, в беглой речи возможно *но[у]в[о]*; *колдунья* – *колд[у]н[']я* и допуст. *колд[у]н[']я* и *колд[у]н[']я*; *костный* – *к[о]ст[н]ый* и *к[о]ст[сс]ный*, в беглой речи возможно *к[о]ст[с]ный*;

– четырехчленные: *европейский* – *[аи]вр[о]п[э]йский* и допуст. *[ае]вр[о]п[э]йский*, *[аи]вр[о]п[э]йский* и *[аи]вр[о]п[э]йский*; *институт* – *ин[с'т'и'т]ут*, *ин[с'т'и'т]ут*, *ин[с':т]ут* и *ин[с'т]ут*; *таинственный* – *тай[нст]венный* и допуст. старшее *тай[нст']венный* и допуст. устарелое *тай[нс'т']венный* и *тай[н'с'т']венный*;

– пятичленные: *диаконат* – *д[иэ]кон[а]т*, *д[еа]кон[а]т*, *д[иэ]кон[а]т*, *д[и]кон[а]т*, в беглой речи возможно *д[и]кон[а]т*; *оология* – *[оо]л[о]гия*, *[оэ]л[о]гия*, *[оа]л[о]гия* и допустимо *[аа]л[о]гия*, в беглой речи возможно *[а]л[о]гия*; *стереодиализм* – *ст[э]р[иэ]диализм* и *ст[э]р[еа]диализм* и допустимо *ст[э]р[ио]диализм*, в беглой речи возможно *ст[э]р[и]диализм* и *ст[э]р[е]диализм*;

– возможно и б о л ь ш е е число членов, например: *палеоевропейский* – *п[а]л[еаи]вр[о]п[э]йский*, *п[а]л[иэи]вр[о]п[э]йский* и *п[а]л[иэи]вр[о]п[э]йский* и допустимо *п[а]л[еои]вр[о]п[э]йский* и *п[а]л[еои]вр[о]п[э]йский*, в беглой речи возможно *п[а]л[и]вр[о]п[э]йский*; *видеоизображение* – *вид[еаи]зображ[э]ние*, *вид[иэи]зображ[э]ние* и допустимо *вид[еои]зображ[э]ние*, *вид[иои]зображ[э]ние*, *вид[иэи]зображ[э]ние* и *вид[']ои]зображ[э]ние*, в беглой речи возможно *вид[еи]зображ[э]ние* и *вид[и]зображ[э]ние*.

3. Различны орфоэпемы и по функциональной нагрузке вариантов – количеству слов (словоформ), в которых наблюдается тот или иной вариант орфоэпемы. Так, произношение [р'] наряду с [р] в позиции «согласный + /е/ + [р']/[р] + заднеязычный согласный» встречается всего в одном слове *церковь*, а произношение только [р] в этой позиции – во многих словах: *верх*, *зеркало*, *четверг* и др.; произношение [ш] на месте *щ* встречается только в словах *помощник*, *всенощная*<sup>6</sup>, а [ш'], [ш':] – в большом числе слов; произношение на месте *жж*, *жж* [ж'ж'] знают около двух десятков слов, не

<sup>5</sup> Число произносительных вариантов на самом деле условно, опирается на общепринятую транскрипцию. Так, в приведенном примере могут произноситься и другие звуки в диапазоне от [а<sup>3</sup>] до [ы<sup>3</sup>], например *ж[э]к[э]т*.

<sup>6</sup> Для старопетербургского произношения характерно было [ш] на месте [ш'] перед [н] и в других словах: *изыщный*, *насущный*, *в сущности* и др. Сейчас это произношение в Санкт-Петербурге практически утрачено, см. [Чернышев 1970, 2: 341; Вербицкая 1976: 74, 102].

считая производных, а [жж] – несравненно большее число слов; произношение [в] на месте *z* в окончании *-ого* прилагательных, причастий и местоимений, как и произношение [г] на месте *z* известно в очень большом числе слов.

4. Фонетисты, описывавшие русское произношение, обычно не устанавливали общих правил соответствия между произносительными вариантами и отражением их на письме. Впервые на такую зависимость указал А.А. Реформатский: «Вспомогательным разделом орфоэпии служат так называемые правила чтения, т. е. произносительные указания к чтению букв и их сочетаний в тех случаях, когда письмо и язык не соответствуют друг другу (например, чтение окончаний прилагательных мужского и среднего рода в род. пад. ед. ч. *-ого* как [овл] или [эвл], чтение *ч* в *что*, конечно, *Никитична* как [ш], чтение *щ* в *помощник* как [ш], чтение *жж* в *брезжит*, *брюзжать* как [ж] (“ж долгое мягкое”) и т. п.)» [Реформатский 1947: 81–82]. М.Л. Каленчук писала: «В подавляющем большинстве случаев к орфоэпии относятся те факты, когда одному и тому же написанию может соответствовать разное произношение при условии тождества фонетических позиций» [Каленчук 1993: 25]. Несколько иначе было сказано: «Одни произносят *в[и']сна́*, другие *в[э"]сна́* <...>; одни произносят *бу́ло[ч']ная*, другие *бу́ло[ш]-ная*, одни – *умы́л[с]а*, другие – *умы́л[с']я* <...>. На письме такие варианты обычно не отражаются: *весна*, *булочная*, *умылся*. Однако варьирование фонемного состава корня может обозначаться на письме: *бриллиант* и *брильянт*, *жёлчь* и *желчь*, *калоши* и *галoши*, *кринка* и *крынка*, *матрас* и *матрац*, *ноль* и *нуль*» [Касаткин 1995]; см. также [Касаткин 2008: 179–180]. Теперь можно уточнить эти определения.

Варианты орфоэпем в одном и том же слове (словоформе) могут на письме обозначаться и не обозначаться.

Обозначаются на письме варианты орфоэпем в тех случаях, когда представляемые ими разные фонемы (или гиперфонемы) выступают в позициях их различения, а средства русской графики дают такую возможность, например:

– гласные: *желчь* – *жёлчь*, *ноль* – *нуль*, *строга́ть* – *струга́ть*, *тонне́ль* – *тунне́ль*, *дохну́ть* – *дыхну́ть*, *воробушек* – *воробышек*, *ола́душка* – *ола́дышка*;

– согласные: *гало́ши* – *кало́ши*, *камса́* – *хамса́*, *матра́с* – *матра́ц*, *микроцефа́л* – *микроцефа́л*, *пиццика́то* – *пиччикáто*, *рефлекси́вный* – *рефлекти́вный*; твердый/мягкий согласный: *изю́бр* – *изю́брь*, *кизи́л* – *кизи́ль*, *планши́р* – *планши́рь*, *зверу́шка* – *зверю́шка*, *кры́нка* – *кри́нка*, *пло́хонький* – *пло́хенький*, *и́скренно* – *и́скренне*, *междугоро́дный* – *междугоро́дний*, *чужеда́льный* – *чужеда́льний*;

– гласные и твердый/мягкий согласный: *си́лушка* – *си́лишка*, *пальту́шка* – *пальти́шко*;

– гласный/согласный: *аутога́мия* – *автога́мия*; *бриллиáнт* – *брилья́нт*, *валериáна* – *валерья́на*, *миллиóн* – *мильóн*, *фортепиáно* – *фортепя́но*, *зевáние* – *зевáнье*, *ката́ние* – *ката́нье*, *купа́ние* – *купа́нье*<sup>7</sup>;

– наличие и отсутствие фонемы: *аутэколоѓия* – *аутэколоѓия*, *боржо́ми* – *боржо́м*, *бобёр* – *бобр*, *вихорь* – *вихрь*; *и́волга*, род. мн. *и́волог* – *и́волга*; *арпéджио* – *арпéджо*, *капри́ччио* – *капри́ччо*, *о́стрый*, *остёр* – *остр*; *поднимать* – *подымать*, *то́ждество* – *то́жество*, *отождестви́ть* – *отожестви́ть*; в предлогах *без/безо*, *в/во*, *к/ко*, *с/со*, где распределение вариантов подчиняется определенным фонетическим закономерностям, но в некоторых случаях возможно употребление обоих вариантов с разной их употребительностью, например: *безо всего* – *без всего*, *во множественном числе* – *в множественном числе*, *ко вторнику* – *к вторнику*, *со лба* – *с лба* и т. п.;

<sup>7</sup> Правописание слов на *-ие*, *-ье* недостаточно упорядочено, наблюдаются разночтения в разных словарях. Эти примеры приведены по [Кузнецов 1998; Зализняк 2003]; в [МАС] *зевáние* и *зевáнье*, *ката́ние*, *купа́ние*, но в примере «После купа́нья...»; в [Шведова 2007] *зевáние*, *ката́ние*, *купа́нье*; в [Лопатин 2005] *зевáнье*, *ката́ние*, *купа́ние*; в [Правила 2006: 77] указано наличие «вариантов на *-ие* и *-ье*, *-ия* и *-ья*», которые в словах ср. рода в предл. падеже и жен. рода в дат. и предл. падежах имеют «вариантные пары типа *об умении* – *об уменье*, *в цветении* – *в цветенье*, *о многословии* – *о многословье*, *о Наталии* – *о Наталье*»; см. также [Чернышев 1970, 1: 454–455; Булаховский 1952: 140].

– место ударения на основе или окончании в форме именительного падежа единственного числа прилагательных: *автозаво́дский* – *автозаводско́й*, *обхо́дный* – *обходно́й*, *плюсо́вый* – *плюсово́й* и т. п.

Гораздо чаще варианты орфоэпемы в одном и том же слове (словоформе) одинаково обозначаются на письме.

Таковы случаи, когда мена звуков происходит в сигнификативно слабых позициях фонем и не может быть показана средствами русской графики, например: вариативность [и<sup>е</sup>] и [е<sup>и</sup>] на месте /e/, /o/, /a/ после мягких согласных в 1-м предударном слоге при иканье и эканье: *делá* – *д[и<sup>е</sup>]лá* и *д[е<sup>и</sup>]лá*, *весна́* – *в[и<sup>е</sup>]сна́* и *в[е<sup>и</sup>]сна́*, *пята́к* – *п[и<sup>е</sup>]та́к* и *п[е<sup>и</sup>]та́к*.

На письме обычно передается фонемный состав слова и поэтому не отражаются изменения произношения, вызванные контекстным влиянием звуков друг на друга, коартикуляцией – ассимиляцией и аккомодацией, например: ассимиляцией соседних гласных: *продолжа́ть* – *пр[э]д[а<sup>э</sup>]лжа́ть*, *пр[э<sup>а</sup>]д[а<sup>э</sup>]лжа́ть* и *пр[а<sup>э</sup>]д[а<sup>э</sup>]лжа́ть*; *забыва́ть* – *з[э]б[ы<sup>э</sup>]ва́ть*, *з[э<sup>и</sup>]б[ы<sup>э</sup>]ва́ть* и *з[ы<sup>э</sup>]б[ы<sup>э</sup>]ва́ть*; *му́зыка* – *му́з[ы]ку*, *му́з[э<sup>у</sup>]ку* и *му́з[у]ку*; аккомодацией – оглушением гласного между глухими согласными – и его диерезой с возможной передачей слоговости предшествующему согласному: *ме́сяца* – *ме́[с'и<sup>ц</sup>]а*, *ме́[с'и<sup>ц</sup>]а* и *ме́[с':ц]а* и др.

Не передается на письме мена звуков, вызванная качественной редукцией, связанной с количественной редукцией – уменьшением длительности гласного, и близостью реализаций разных фонем или их нейтрализацией: *выво́рачива́ть* – *в[ы]во́рачива́ть* и допустимо *в[э]во́рачива́ть*, *о́пыты* – *о́п[ы]ты* и *о́п[э]ты*; *аккумулято́р* – *акк[э]мулято́р* и допустимо *акк[у]мулято́р*; некоторые орфоэпемы связаны с вариантностью согласных по напряженности / ненапряженности, например: произношением на месте /т'/, /д'/ взрывных [т'], [д'], или аффрикатоидов [т'<sup>с</sup>], [д'<sup>з</sup>], или аффрикат [ц'], [д'<sup>з</sup>]: *те́тя* [т'<sup>с</sup>о́т'а], [т'<sup>с</sup>о́т'<sup>с</sup>а] или [ц'о́ц'а], *дядя́* [д'<sup>з</sup>а́д'а], [д'<sup>з</sup>а́д'<sup>з</sup>а] или [д'<sup>з</sup>а́ д'<sup>з</sup>а]; произношением на месте /j/ звука [j] и вызванных его редукцией [й] или нуля звука: *прия́тель* – *при[я́]тель*, в беглой речи возможно *при[йá]тель* и *при[á]тель*.

Не отражаются на письме варианты орфоэпем, выступающие в разных конститутивных позициях, в том числе и в слабых фразовых позициях, где они вызваны ускорением темпа речи, или, наоборот, при акцентном выделении слова, а также при отсутствии в русской графике соответствующих средств. Например: *нады́ндекс* – *на[ды́]ндекс*, но при акцентном выделении приставки – *на[ды́]ндекс*, *на[ты́]ндекс*, *на[дй́]ндекс* и *на[тй́]ндекс*, при гортанной смычке после приставки *на[д?й́]ндекс* и *на[т?й́]ндекс*; *выковы́вать* – *выко́[в.:]вать* и допустимо *выко́[вэ]вать*, в беглой речи возможно *выко́[у]вать*.

Ослабление напряженности артикуляции часто приводит не только к изменениям звуков, но и к их диерезе, выпадению, в том числе и к сокращению длительности согласных. Все такие изменения не отражаются на письме. Не характерны для обычного письма, но могут отражаться на письме в художественных произведениях произносительные варианты компрессивов<sup>8</sup> – широко употребительных слов, в которых происходит диереза отдельных звуков или звуковых блоков не только в беглой речи, но возможна и при обычном темпе речи: *сейчас* – *щас*, *пятьдесят* – *пнисят*, *сколько* – *скоко*, *когда* – *кода*, *нельзя* – *низя*, *человек* – *чек* и др.

Не передается на письме варьирование фонем в случаях, связанных с особыми правилами орфографии, например: в словах, где пишется *чи* при вариантах произношения [ч'] и [ш] перед *и*: *булочная*, *молочный*, *подсвечник* и др.; в конце основы прилагательных на *-кий*, *-гий*, *-хий* при вариантах произношения «[к']/[к]», «[г']/[г]», «[х']/[х]»: *тонкий*, *строгий*, *тихий* и т. п.; в постфиксе возвратных глаголов *-ся* при вариантах произношения «[с']/[с]»: *мы́лся*, *не́сся* и т. п.; в безударном окончании 3-го лица мн. числа глаголов 2-го спряжения при вариантах «[э] (/a/)/[у]»: *ва́рят*, *та́щат*, *стро́ят* и др.

<sup>8</sup> Термин «компрессивы» предложен Р.Ф. Касаткиной.

Орфоэпемы, образованные вариантами произношения, представленными в разных словах, всегда одинаково передаются на письме.

В одних случаях они возникают в результате отступления в отдельных словах и морфемах от основного графического значения этих букв, например: *мачта* – ма[ч']-та, *нечто* – не[ч']то, *почта* – по[ч']та, *почти* – по[ч']ти, но *почто* – по[ш]то, *ничто* – ни[ш]то; *отличник* – отли[ч']ник и т. п., но *двоечник* – дво[ш]ник и др.; *изящный* – изя[ш']ный, *мощный* – мо[ш']ный, *помощь* – по[мо]ш' и т. п., но *помощник* – пом[о]шник, *всенощная* – все[но]шная; *из города* – и[з]-го[р]ода, *из поселка* – и[с]-поселка, но *близ города* – бли[з']-го[р]ода, *близ поселка* – бли[с']-поселка; *огород* – о[г]ор[о]д, *много* – мно[г]о, *бегом* – бе[г]о[м] и др., но в окончании родительного падежа единственного числа мужского/среднего рода прилагательных и местоимений *того* – то[в]о, *красного* – кра[с]но[в]о, *синего* – си[не]в[о] и т. п.

В других случаях средства графики не могут отразить разницу в произношении слов; например, обычно [г] на месте *г* в сильной позиции, но и [γ] ([h]) в таких словах, как *бухгалтер* – бу[γ]а[л]тер, *ага* – а[γ]а и а[h]а, *ого* – о[γ]о и о[h]о, [γ] наряду с [г] в словах *бухгалтерский*, *бухгалтерия*, в междометиях *го[с]поди*, *ей-бо[г]у*.

Иногда не отражается на письме такое различие в произношении слов в связи с правилами орфографии, например: *постель* – пос[г'э]ль и *пастель* – пас[тэ]ль, *порей* – по[р'э]й и *пюре* – пю[рэ], *кофе* – ко[ф'е] и *кафе* – ка[фэ]; *гиена* – ги[је]на, *клиент* – кли[је]нт, *поездка* – по[је]здка и *ариятта* – ари[э]тта, *пациент* – паци[э]нт, *проекция* – про[э]кция и др.

Орфоэпемы возникают тогда, когда написание разных слов (словоформ) не позволяет выбрать один из возможных вариантов произношения звука или сочетания звуков, скрывающихся за данным написанием. Одинаковое отражение на письме является необходимым условием для определения произносительных вариантов в разных словах (словоформах) как вариантов орфоэпем и для отнесения их к орфоэпии вообще. Не образуют вариантов орфоэпем слова, в которых особенность произношения отражена на письме, например:

– произношение твердого согласного перед /e/ при написании э после согласной буквы: *мэр*, *сэр* и др. (в подавляющем большинстве случаев такого произношения после согласной буквы пишется *е*, как и при произношении мягкого согласного). Раньше писали *метр*<sup>1</sup> [м'этр] 'единица длины' и *метр*<sup>2</sup> [мэтр] 'учитель, наставник'; эти слова представляли орфоэпему «твердый / мягкий согласный перед /e/»; теперь установлено написание *метр* [м'этр] и *мэтр* [мэтр], и слова перестали образовывать такую пару;

– произношение [ш] на месте *ш* в словах, где оно возникло на месте прежнего [ч']: *рушник* ([ш] в *рушник* и [ч'] в *ручник* не образуют орфоэпемы, поскольку это разные слова), *двурушник*, *городошник*, *раёшник*, *дурашный* и др.;

– произношение мягкого [л'] перед мягким согласным и обозначение мягкости /л'/ мягким знаком: *скользи* (ср. *ползи*), *скользко* (ср. *ползко[м]*), *кольчуга* (ср. *колча[н]*) и т. п., где мягкость /л'/ и твердость /л/ обозначены на письме.

Не образуют орфоэпемы такие пары, как *аудиенция*, *доэсть*, *наездник* и *вилайет*, *дуайен*, *фойе*, где /j/ обозначена по-разному, хотя и в первой и во второй группе примеров возможно произношение [j], [й] и нуля звука на месте /j/ в одной и той же позиции – после гласного перед ударным [с]. Каждая из этих двух групп слов самостоятельно отражает эту орфоэпему.

В письме, не использующем букву ё, слова *небо*<sup>1</sup> и[']бо 'видимое над землей воздушное пространство' и *небо*<sup>2</sup> и[']бо 'верхняя стенка полости рта', *надеж*<sup>1</sup> над[']ж 'грамматическая категория' и *надеж*<sup>2</sup> над[']ж 'повальная смертность скота', *фен*<sup>1</sup> [ф'ен] 'прибор для сушки волос' и *фен*<sup>2</sup> [ф'он] 'сухой, теплый ветер, дующий с гор,' и др. представляют орфоэпему «[']/[']», но в письме, использующем ё, слова *небо* и *небо*, *надеж* и *надёж*, *фен* и *фён* не образуют орфоэпемы.

5. Орфоэпемы различаются по степени осознаваемости их вариантов говорящими. Обращают на себя внимание в первую очередь акцентные варианты орфоэпем, представленные варьированием места основного ударения в слове (словоформе),

и варианты произносительных орфоэпем, выступающие в сигнификативно сильных позициях, особенно те, которые по-разному обозначаются на письме. Гораздо менее очевидно для говорящих наличие или отсутствие дополнительного ударения и вариативность звуков, представляющих фонемы в сигнификативно слабых позициях, где чаще замечаются редкие варианты, свойственные старшей или младшей норме, а равноправные варианты могут иногда отмечаться лишь весьма искусственными фонетистами.

Орфоэпемы есть не во всех словах, например, в словах (и в их формах) *наро́д*, *обсыпной*, *выгрузить*, *иногда́* нет орфоэпем. Подобные слова не должны включаться в орфоэпические словари.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов 1984 – Р.И. Аванесов. Русское литературное произношение. 6-е изд. М., 1984.  
Бондаренко 1988 – А.А. Бондаренко. Изучение орфоэпии в начальной школе. М., 1988.  
БОС – М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина, Л.Л. Касаткин. Большой орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Л.Л. Касаткина. М., 2010.  
Булаховский 1952 – Л.А. Булаховский. Курс русского литературного языка. Т. 1. 5-е изд. Киев, 1952.  
Вербицкая 1976 – Л.А. Вербицкая. Русская орфоэпия. Л., 1976.  
Вербицкая 2001 – Л.А. Вербицкая. Давайте говорить правильно. 2-е изд. М., 2001.  
Высотский 1984 – С.С. Высотский. О московском народном говоре // Городское просторечие: Проблемы изучения / Отв. ред. Е.А. Земская, Д.Н. Шмелев. М., 1984.  
Зализняк 2003 – А.А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. М., 2003.  
Каленчук 1993 – М.Л. Каленчук. Орфоэпическая система русского литературного языка: Дис. ... докт. филол. наук. М., 1993.  
Касаткин 1982 – Л.Л. Касаткин. Фонетика // Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 1982.  
Касаткин 1995 – Л.Л. Касаткин. Фонетика. Орфоэпия // Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант. Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А. Леканта. 2-е изд. М., 1995.  
Касаткин 2007 – Л.Л. Касаткин. Заметки по русской орфоэпии // Проблемы фонетики. V / Отв. ред. Р.Ф. Касаткина. М., 2007.  
Касаткин 2008 – Л.Л. Касаткин. Современный русский язык: Фонетика. 2-е изд. М., 2008.  
Кузнецов 1998 – С.А. Кузнецов (гл. ред.). Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.  
Лопатин 2005 – В.В. Лопатин (отв. ред.). Русский орфографический словарь. 2-е изд. М., 2005.  
МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. 3-е изд. М., 1985–1988.  
ОС – С.М. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. 5-е изд., испр. и доп. М., 1989 и др. издания.  
Панов 1967 – М.В. Панов. Русская фонетика. М., 1967.  
Панов 1979 – М.В. Панов. Современный русский язык: Фонетика. М., 1979.  
Правила 2006 – Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. М., 2006.  
Реформатский 1947 – А.А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1947.  
Реформатский 1987 – А.А. Реформатский. Лингвистика и поэтика. М., 1987.  
Ушаков 1995 – Д.Н. Ушаков. Русская орфоэпия и ее задачи // Д.Н. Ушаков. Русский язык. М., 1995.  
Чернышев 1970 – В.И. Чернышев. Избранные труды: В 2 т. М., 1970.  
Шведова 2007 – Н.Ю. Шведова (отв. ред.). Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. М., 2007.  
Goląb et al. 1970 – Z. Goląb, A. Heinz, K. Polański. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa, 1970.  
Man, Koval 1960 – O. Man, L. Koval. Rusko-český slovník lingvistické terminologie / Věd. red. V. Skalička. Praha, 1960.

© 2011 г. А.Ф. ЖУРАВЛЕВ

## ФРЕКВЕНТАРИЙ МОТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МИФОЛОГИЯХ МИРА

На основе Предметного указателя к «Мифологическому словарю» под ред. Е.М. Мелетинского (М., 1991) формируется частотный список минимальных смыслов, вовлеченных в мифологические сюжетные мотивы (наименований природных и культурных явлений, одушевленных существ, предметов, локусов, действий, состояний, свойств, качеств, обозначений количественных характеристик и т.д.). Тем самым предлагается методика установления культурной ценности различных понятий в мифологиях мира. Фреквентарий представляется полезным для сопоставительного изучения культурной символики в разных мифологических традициях.

### НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ «МИФОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ» (М., 1991)

Изданный «Советской энциклопедией» однотомный «Мифологический словарь» под редакцией Е.М. Мелетинского (далее – МС) многие склонны рассматривать как сокращенный вариант широко известной двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира» под редакцией С.А. Токарева (далее – МНМ). Будучи вторичным по отношению к МНМ, МС тем не менее представляет собою издание с собственной физиономией. В однотомном словаре, повторяющем большинство статей МНМ, нет фото- и графических иллюстраций; опущены все обзорные статьи типа «Австралийская мифология» или «Палеоазиатских народов мифология», статьи теоретического характера «Архетипы», «Космогонические мифы» или «Низшая мифология», статьи, в которых обобщаются данные о важнейших мифологемах и культурных символах («Грибы», «Древо мировое», «Орел», «Свастика», «Смерть», «Числа» и т. п.), то есть сделана переориентация на словник, состоящий только из именовании мифологических персонажей и собственных имен; отсутствует ряд статей, входящих в словник МНМ (например, «Агаттияр» или «Акахада-но усаги»; содержащиеся в них сведения, обычно о дублетных именах или о подчиненных персонажах, в МС перемещены, как можно обнаружить, в статьи более общего плана), другие сильно ужаты («Фарн»); сняты послезаголовочные воспроизведения имен в графике языка-оригинала или их латинские транскрипции. Отсутствие в МС вступительного текста, подобного предисловию «Мифология» (авторы С.А. Токарев и Е.М. Мелетинский) в энциклопедии, компенсируется завершающими словарь статьей «Общее понятие мифа и мифологии» (автор Е.М. Мелетинский) и пространным, объемом более 3,5 листов, теоретическим глоссарием-приложением «Основные мотивы и термины» (без указания авторства образующих его статей). И все же МС нельзя считать краткой версией МНМ хотя бы потому, что словник его значительно шире. Только в диапазоне буквы А он пополнен 118 (!) новыми статьями (некоторые из них – развернутые тексты взамен входящих в словник двухтомника отсылок к другим статьям). Но главное его отличие – оснащенность новым аналитическим аппаратом. Если авторы и издатели энциклопедии МНМ ограничились составлением только указателя имен мифологических персонажей и конкретных мифологических объектов (с включением в него некоторых «терминов-названий общих понятий»), то МС сопровождается, кроме

аналогичного индекса, еще тремя реестрами. Во-первых, указателем словарных статей, сгруппированных здесь в рубрики по этносам и религиозным традициям («Абазины» [: *Анцва, Нарты*], «Абхазы» [: *Абнауаю, Абрскил...*]..., «Бушмены», «Ведийская мифология»..., «Ветхозаветная мифология» [: *Аарон, Аваддон...*]..., «Русские» [: *Алатырь, Аляша Попович, Алконост...*]..., «Японская мифология», «Яруро», «Яуйо»). Отдельно, во-вторых, существует словник всех словарных статей, перенумерованных внутри каждой буквы алфавитного разбиения: *а* 1, 2, 3..., *б* 1, 2, 3... и т.д. Он служит «адресной книгой» для поиска понятий, собранных в специальный «Предметный указатель» (далее – ПУ). Именно этот последний сообщает изданию особенную эвристическую ценность и здесь интересует нас более всего.

## ВОЗМОЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ФРЕКВЕНТАРИЯ К МС

Анализ культурных символов, исследование устройства, семантики, географии, генеза и истории мифологических представлений, свойственных тем или иным культурным традициям, выявление формальных и содержательных перекличек между разноразными текстами, отражающими эти традиции, сопоставительное и сравнительно-историческое изучение сюжетики мирового эпического фольклора, выяснение исторических корней ритуалов, установление межритуальных связей и множество иных задач предполагает, что повторяющиеся в различных мифологических системах мотивы и отдельные мотивные элементы могут и должны быть соотносимы друг с другом. Кроме выявления самого инвентаря мифологических мотивов и составляющих их элементов, воплощенных в отдельных словесных знаках (наименованиях природных и культурных явлений, одушевленных существ, предметов, локусов, действий, состояний, свойств, качеств, обозначениях количественных характеристик и т.д.), видится важным знание об их сравнительной встречаемости. Такие сведения могут быть извлечены из ПУ. Установление числа статей, адреса которых содержатся в каждой позиции этого индекса, весьма несложно, хотя требует усилий и времени. Результат подсчета – перечень слов и словосочетаний, упорядоченных по частоте использования в статьях МС, – можно рассматривать как список словесных знаков, отражающий степень распространенности в мифологиях мира того или иного мотивного элемента (концепта, «смысла», «идеи»).

Представительность аналитического списка обеспечивается достаточной обширной исходной базой: общее количество статей МС, описывающих различные фрагменты мифологических систем нескольких сотен этносов и этнических группировок, как современных, так и оставшихся лишь в истории, – 4141. Понятно, что разные мифологические традиции отражены в словаре по-разному: одни описаны во множестве отдельных статей (бесспорное и объяснимое первенство принадлежит мифологии греков), упоминания других народов (скажем, агулов, навахо или таунгу) или этнических группировок (например, «индейцев Перу») встречаются лишь в единичных статьях. При всей оговоренной неравномерности этнографических и повествовательно-фольклорных источников (скорее их пересказов-интерпретаций), которые подвергнуты словарному препарированию, именно верхний слой полученного списка с относительно высокой надежностью отражает меру распространенности в мифологиях мира тех или иных сущностей, приобретающих особое культурное осмысление. Позиции ПУ соотносятся со смысловыми единицами разного статуса: от мощной мифологемы безусловно универсального звучания (*огонь, гора, змей, кровь, камень, луна, молния, белый, правый, восток, время*<sup>1</sup>) до мелкой детали дежурного характера – обязательного «актантного» обстоятельства, не нагружаемого никакой специальной символикой, или случайного именованного проходного персонажа и т. п. (иллюстраций из благоразумной осторожности лучше не приводить). Тем самым создается некая аппроксимативная частотно-смысловая модель, которая позволяет интуитивные представления о значимости того или иного элемента или признака в структуре

<sup>1</sup> В дальнейшем курсивные написания со строчной буквы (если это не имена собственные) воспроизводят позиции ПУ, а курсивные написания с прописной – заголовки статей МС.

мифа, сюжета или ритуала соизмерять с показаниями ценностной шкалы, полученной путем обработки максимального в выбранных условиях мифологического материала. При этом, разумеется, нужна оглядка на то, что значительное число выявляемых элементов и признаков оказывается валоризованным лишь в границах некоторых культурных традиций. Мы хорошо осознаем ограниченную ареальную и этническую привязанность сакрализуемых и мифологизуемых сущностей типа *шаман, фараон, слон, крокодил, ягуар, рис, кукуруза (маис), пальма, лотос, нефрит*, но всегда ли отдаем себе отчет в том, что такие концепты, как *пастух, кузнец, волк, вино, плуг, колодец, могила*, могут быть пустыми для многих «не наших» культур?

### ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ КВАНТИТАТИВНЫХ ДАННЫХ ФРЕКВЕНТАРИЯ К МС

Аппроксимативный характер фреквентной модели ясен заранее: в работе такого масштаба на конечных данных не могут не сказаться пропуски, неточности, нераспознаваемость ряда принципиальных для данной мифологической конструкции смысловых элементов и т. д. Однако необходимо дать некоторые разъяснения.

Обращает на себя внимание отсутствие в ПУ самостоятельных позиций *бог, царь, храм, праздник* и под. (эти слова фигурируют в составе включенных в него словосочетаний типа *умирающий и воскресающий бог, слепой бог, идеальный царь, царь ада, латинский праздник, медвежий праздник*). Объяснение такому положению вещей можно искать в том, что, например, слова *бог* и *божество* встречаются в статьях МС настолько часто, что этим их помещение в ПУ обесмысливается. Скажем, из 44-х (без отсылочных) статей МС на букву «З» они отмечены в 19-ти, и если эта пропорция действительна для словаря в целом, то в позициях *бог* и *божество*, окажись они введены в ПУ, должно быть перечислено не менее 1780 адресов – едва ли не целая большеформатная страница очень мелким кеглем (в три с половиной раза больше, чем количество отсылок в наиболее нагруженной позиции указателя – *небо*). Пользоваться такой роскошью в качестве эвристического средства попросту невозможно. Вероятно, по той же причине в ПУ нет специальных позиций *отец, мать, муж, жена, сын, дочь, брат, сестра*: родственные отношения мифологических персонажей представляют, как мы знаем, настолько острый интерес для носителей мифотворческого сознания, что ситуация вполне подобна предыдущей. Из-за труднообразимой объемности данных, которые нужно было бы обрабатывать, указателем практически игнорируется символика чисел, играющая исключительную роль едва ли не в любой мифологической системе. Об этом можно сожалеть, но вынужденное решение составителей ПУ пропускать числительные нужно признать извинительным. Так или иначе, но в ПУ не включено множество менее частотных, но немаловажных для конкретных мифов «молекулярных» содержательных элементов. К такого рода упущениям нужно, в частности, отнести отсутствие прогнотического в ярких мифологических оппозициях: в ПУ учтено, например, понятие *ночное небо* (из статьи *Тиштриа*), но блистательно отсутствует формула *дневное небо*, чрезвычайно важная для объяснения имени *Зевс* (к и.-с. \**dei-* ‘светить’, ‘сиять’). За этой несогласованностью следует видеть невыработанность твердых принципов анализа и единых шкал отсчета.

Трудно сказать, какие специалисты занимались расписыванием статей МС по смысловым «молекулам», но есть основания полагать, что инструкции для них не были очень четкими и однозначно понимаемыми<sup>2</sup>. Иначе мы не сталкивались бы с таким большим

<sup>2</sup> Упрекать составителей МС за расплывчатость требований к аналитическому указателю было бы, пожалуй, не очень справедливо. Дело в том, что формулирование упомянутых единых принципов и надежных шкал, ясное осознание многочисленных сложностей, которые таит в себе «атомизация» словарных текстов, возможны только при знании картины в целом, то есть после тщательного и требующего большого времени разбора уже готового предметного индекса, желательно в его исчерпывающем составе, при этом разбора многостороннего, с участием и «общих» культурологов, и мифологов – специалистов по конкретным этническим и культурным традициям, и лингвистов.

числом пропусков и ошибок. Для примера возьмем статью *Янус*. Любой человек, обладающий хотя бы поверхностными сведениями об этом римском божестве, согласится, что отсутствие отсылок к посвященной ему статье в имеющихся позициях ПУ *жилище; регия* 'жилище царя', *дом; дверь; колонна; день; год; союз; мир; творец мира; мировая ось; фециал* 'жрец – член коллегии, объявляющей войну и заключающей договоры' можно толковать только как следствие беспечности или малой осведомленности составителей указателя, а вообще отсутствие в ПУ таких ключевых для портрета данного божества элементов, как («всякос»!) *начало, первый, первый месяц года, первый день месяца* (при том что в указателе учреждена особая позиция *первый день недели!*), *ключ(и)* [однако, чтобы не возникало омонимической путаницы, ссть позиция *ключ (водный!)*], *двуликость, прошлое* (при наличии учтенного слова *будущее!*), является недосмотром просто вопиющим.

Одной из причин неточности возможных численных оценок на базе ПУ может быть неосознание его составителями наличия в языке таких явлений, как лексическая полисемия и омонимия (омография в частном случае). Натолкнувшись в указателе на позицию *семя*, читатель без обращения к самим словарным статьям не в состоянии решить, в каком из значений учтено в ПУ это многозначное слово. Проконтролировать положение, на первый взгляд, нетрудно, однако здесь его ожидает неприятность. Сверка с текстом показала, что из первых 25 статей, которые указаны в позиции *семя* предметного индекса, от *Аватара* до *Маква*, в 8-ми говорится о 'семенах растений', в 16-ти – о 'сперме' (человека, животного, божества), а в одной (*Дунен беркат*) слово *семя* выступает с синкретичной семантикой. Отсутствие ударения у помещенного в ПУ слова *мука* не позволяет сразу судить, имеется ли в виду 'страдание' или 'продукт помола зерна'; если исходить из опыта, приобретенного только что, на примере «семени», безусловную ясность, несмотря на присутствие позиции *муки*, может внести лишь сплошной просмотр всех указанных в этой позиции статей; выясняется, кстати, что в 11 статьях упоминается *мука*, но в одной (*Инанна*) – все же *муки*. Разбравшаяся выше статья *Янус* – единственная, к которой отсылает позиция ПУ *агония*. Любой здравомыслящий читатель, бегло знакомясь с указателем, сообразит, что дело касается 'издыхания, предсмертных судорог', тогда как на самом деле имеются в виду *агонии*, иначе *агоналии*, – 'праздник в честь Януса, справлявшийся 9 января' (слово неясного происхождения). Переводить слово в форму единственного числа, по-видимому, не следовало<sup>3</sup>.

Одним словом, ПУ не представляет понятийное наполнение отдельных статей МС исчерпывающим образом и далеко не безупречен в исполнении. Однако пропуски и наложения, о которых шла речь, хотя и обильны, носят очевидно стохастический характер и при огромности исходного материала (объем МС – 140 учетно-издательских листов) на количественные соотношения между единицами фреквентария, особенно в его верхней части, влияние оказывают не слишком значительное.

Использование полученного фреквентария (ниже он представлен списком 1, который назван **основным**), наталкивается еще на ряд существенных сложностей. Одна из их досадных причин – лексическое богатство и гибкость языка, в нашем случае русского.

### СМЫСЛЫ ИЛИ ФОРМЫ?

Обращаясь к предметному (а не специально лексическому) указателю, сопровождающему какое-либо научное издание, заинтересованный читатель, как правило, намерен иметь дело с понятием (концептом), тогда как реально там ему предлагается перечень лексем и их сочетаний, то есть языковых единиц формального уровня (кода). Есть си-

<sup>3</sup> Нельзя не упомянуть, что на качество и удобство указателя влияет неудовлетворительная корректорская вычитка. Здесь встречаются дезориентирующие орфографические ошибки и опечатки: *приведение* вместо *привидение*, *ночное ведение* вместо ... *видение*, *черенок* вместо *черепок*, (асфоделсвый) *луч* вместо *луг*, курьезная *Казань* вместо *казнь*. Встретив позицию *зиморозок*, читатель должен проверить, что имеется в виду – *зимородок* или *заморозок*.

туации, когда концепт и содержание отражающей его языковой единицы, входящей в предметный указатель, совпадают, и проблем с их различением практически не возникает: это терминология. В предметных указателях к этнографическим и культурологическим, мифологическим в частности, исследованиям или компендиям перечисляются слова и словосочетания, в массе своей к терминологии не относящиеся, а следовательно, тянущие на себе груз многозначности, семантической диффузности, отношений синонимии, присущих обычному слову.

Именно с такой картиной мы имеем дело. ПУ к МС составлялся, как нетрудно было заметить, почти механически. Лексические синонимы (*глаз – око, битва – сражение, наводнение – потоп*, упомянутые *маис – кукуруза...*), перифразы и синтаксические синонимы (например, *небо – небесный свод, свадьба – свадебный обряд, катаклизм – стихийное бедствие, стихия – природные силы – стихийные силы природы...*) подаются в нем отдельно, не «суммируясь» в понятия (концепты). При избегании в ПУ прилагательных (их очень мало) отступления от механичности обработки текстов сказываются в чрезвычайно непоследовательном использовании приема словообразовательной конверсии; скажем, прилагательное *невидимый* в указателе трансформируется в абстрактное существительное *невидимость*, а *одноголовый* (из статьи *Шаркань*) – в *одноголовость*. Но уже члены словообразовательных пар *безногий – безноготь, бесполой – бесполость, немой – немота* в указатель попадают отдельно, отчего цельность предъявления понятия также страдает. В ПУ нет ни одного глагола; видимо, проектировщики указателя сочли, что эта часть речи в принципе берет на себя минимальную культурную информацию, а потому не заслуживает специального внимания. Поэтому, например, элементы статейных текстов *бежал, заставил бежать, убегающий* и проч., даже если они относятся к важному мифосюжетному узлу, не конвертированы ни в *бег* (в эту позицию «взято» только слово *бег*, в текстах, кстати, выступающее в разных значениях – широком '(собственно) передвижение бегом' и узком 'ристалище, спортивный бег'), ни в *бегство* (такая позиция в ПУ есть), ни в *побег* (в ПУ отсутствует). Поэтому же, вероятно, очень распространенный в мифологических сюжетах мотив *подмены*, находящийся в текстах преимущественно глагольное выражение, оказался, к сожалению, за пределами фреквентного списка.

«Основная» версия нашего фреквентария сформирована на базе ПУ, воспринятого как данность, без вмешательства в предложенный набор позиций, то есть с игнорированием моментов, о которых только что было сказано. Однако в таком виде он оставляет ощущение, что задача решена не лучшим образом.

#### ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ ФРЕКВЕНТАРИЙ: «SUMMAE»

Czyli treść jest ważna, niby ziarno w łupinie, a jak będą bawić się łupinami, nię ma większego znaczenia.

Czesław Miłosz. «Traktat teologiczny»

Если исследователю необходимо выяснить, насколько эксплуатируемо в мировой мифологии, например, понятие 'человечество', он должен не только выяснить употребительность самого слова *человечество*, но и принять в расчёт, что это понятие, помимо того, выражается словом *люди*, словосочетаниями *человеческий род* и *людское племя* (по крайней мере в ПУ). А захотев понять распространённость идеи 'подземный', он не найдет самостоятельной позиции *подземный*, но зато обнаружит целый выводок включающих это прилагательное адъективно-субстантивных сочетаний, которые представлены отдельными позициями указателя: *подземная влага, ... река, ... царство, ... вóды, ... сокровища, ... мир, ... мировой океан, ... огонь, ... океан пресных вод*. Естественный выход – в суммировании цифири, которая сопровождает в фреквентном перечне каждый из членов нужного ряда.

Общность искомого смысла для нескольких единиц фреквентария диктует их соединение в группы, которое может осуществляться на разных основаниях:

синонимия – *кумир + идол, чрево + утроба, ищест + кровосмешение, жизненная сила + жизненная энергия, палец + перст* и т. п. (одно и то же слово в разных своих значениях может входить в разные синонимические объединения: *рот + уста, губы + уста*);

гипо-гиперонимические отношения (с возможными расширениями «зоны» каждого участника отношений за счет когипонимов) – *дождь (+ ливень), драгоценный камень (+ самоцвет), тьма + темнота + мрак (+ мгла), лошадь (+ жеребец + кобылица), шкура (+ руно + тигриная шкура), амулет + оберег (+ амулет + талисман); копьё (+ пика + дротик), запах (+ аромат + зловоние)* и т. п.;

когипонимия – *старик + старуха* (→ ‘старый человек’), *вестник + вестница* (→ ‘доставщик вестей’, с погашением для большинства фиксаций малозначущего, эксплицируемого скорее по строевой прихоти русской грамматики, признака половой принадлежности: неловко сказать \**Она была вестником...*), *ящик – сундук + ларец + шкатулка* (→ ‘движимая рукотворная емкость жесткой конструкции и небольшого размера...’, с элиминацией признака ‘закрываемая’, необязательного для *ящик*), *лягушка + жаба* и т. п.;

включенность семантики одного слова / словосочетания в семантику другого целиком – *месть (+ кровная месь), старик (+ старичок с ноготок), жрец (+ первый жрец), вдова (+ благочестивая вдова)* и т. п.;

включенность искомого понятия в качестве подчиненного компонента в состав более сложного понятия иной рубрикационной принадлежности – *человек (+ сотворение человека + творение человека), луна (+ пятна на луне), лук (+ стрельба из лука), серебряный (+ серебряное блюдо)* и т. п. (необходимость таких объединений можно обосновать тем, что понятия, словесные манифестации которых в приведенных примерах помещены вне скобок, присутствуют в выражениях, заключенных в скобки, но эти выражения по условиям, предложенным в ПУ, даны как самостоятельные единицы «основного» фреквентного списка).

В простых случаях такое «суммирование» смыслов и количественных показателей не приводит к арифметическим казусам, так как отдельным позициям ПУ, без каких-либо поправок берущимся в «основной» фреквентный список, при их очевидной синонимичности отвечают непересекающиеся наборы внутрисловарных адресов. Но существует немало случаев сложных, обусловленных диффузностью лексической семантики, частичным наложением разных синонимических рядов, пересечением смыслов, погашением части лексического значения или, напротив, приращениями смысла, возникающими в дискурсе, наконец, использованием русского слова в контексте, описывающем чуждую этническую традицию (ср. хотя бы всем известную нетождественность понятия *души* в разных культурах). Как провести безупречное межевание значений, например, в лексической последовательности *магия - волшебство – чародейство колдовство - волхование – ведовство – чары*, когда понятно, что здесь присутствует и синонимия, и родо-видовые отношения, а одно и то же слово может параллельно употребляться как в значении ‘магическое воздействие’, так и в значении ‘гадание’, то есть во втором случае включаться в другой синонимический ряд (*гадание ворожба - ...*), да еще ‘предсказание’ (что отражается в синонимизации русск. *предсказать – нагадать*)? Как распутать действительное, не беззастенчиво отвечающее словарным дефинициям сплетение значений в блоке *род – колена* [в ПУ *колена*] – *поколение* (к нашему облегчению, в ПУ обошлось без *племени* и *отродья*, хотя есть подозрительное *семья*, см. выше)? Так или иначе, следует признать, что некоторые соединения заведомо будут носить довольно условный характер.

Подобные «summae» вошли в наш фреквентарий в виде **дополнительного списка 2** (см. ниже).

На базе ПУ нами осуществлена лишь часть возможных соединений его позиций в группы: возможности «суммирования» смыслов, о котором идет речь, велики, какие-то

были нами сознательно отвергнуты, а какие-то наверняка остались не замеченными. Группировок, построенных на принципах гипо-гиперонимических связей и когипонимии, могло быть осуществлено неопределенно много, однако даже от незамысловатых плюсований типа *рука + нога, овца + баран, рыба (+ акула + лосось + щука...), змея (+ кобра + питон + уж...), князь + конунг + султан...* по разным причинам пришлось отказаться. В частности, разумно уклониться от классификационного погашения семантики половых различий в объединениях названий самца и самки домашних животных одного вида, потому что этим различиям придается исключительно важный вес в любой культуре, тогда как пол дикого животного в большинстве ситуаций менее существен: группа *орел + орлица* с точки зрения «культурной семантики», в отличие от «биологической», более целостна, чем *петух + курица*. Думается, нет большого резона группу *светило (+ небесное светило)* наращивать за счет гипонимов *солнце, луна, звезда (+ созвездие)*: мифологические коннотации и сюжетные контексты этих высокочастотных слов разноплановы, и скорее всего только некая доля от общего количества употреблений, приписанного группе в целом, окажется отвечающей цельному мифологически нагруженному понятию, заявленному доминантными знаками (можно, впрочем, предположить, что эти сомнения применимы и к некоторым осуществленным ниже объединениям). Допустимость некоторых группировок, включенных в дополнительный список, по-видимому, может быть оспорена. Так, группа [*одно-*] (: *одноглазость, одноголовость, одноногость, однорукость*) сформирована из обозначений корпоральных отклонений в сторону уменьшения количества частей тела по отношению к некоей постулируемой мифами норме; однако если иметь в виду только нормальную человеческую анатомию, то из них должна быть составлена еще одна группа, понятие *одноголовости* из которой следует изъять (оно относится к «аномальной» разновидности драконов венгерской мифологии, ст. *Шаркань*); одноглазыми и одноногими, однако, в мифах могут быть не только люди, и это еще более осложняет задачи демаркации смыслов.

Вполне понятно, что предложенная в настоящей работе методика «взвешивания» понятий для взаимно-сравнительного определения их культурной ценности в мифологических системах мира, принимаемых как целое, – лишь пробный подход, ограниченный заданной формой исходного материала – предметным указателем к МС. Тем не менее общая картина оказывается выразительной и несет возможности нетривиальных содержательных интерпретаций.

## ФРЕКВЕНТАРИЙ

### 1. ОСНОВНОЙ СПИСОК<sup>4</sup>

небо	535	жертва	227
солнце	422	душа	222
гора	409	конь	220
смерть	363	луна	197
земля	335	злой дух	195
огонь	272	жертвоприношение	189
река	269	демон	188
вода	257	море	170
птица	256	камень	169
война	246	рождение	169
змея	244	<i>символ</i>	169
плодородие	229	бслый	168

<sup>4</sup>Нижним пределом для учета позиций ПУ в фреквентарии выбрана встречаемость слова/словосочетания в 9 статьях МС. Курсивом в фреквентном списке даны включенные в ПУ слова, которые разумно расценивать не как элементы собственно мифологического дискурса, а скорее как термины, принадлежащие культурологическому метаязыку. Сохранить их заставил «принцип невмешательства».

<i>культурный герой</i>	168	девушка	96
глаз	166	прародители	96
болезнь	161	растение	96
кровь	161	голова	94
<i>пантеон</i>	160	убийство	93
бык	159	дева, девица	92
дракон	159	мудрость	92
лес	158	охотник	92
тело	157	сон	92
дождь	156	зло	91
остров	153	корабль	91
судьба	147	подземный мир	90
брак	145	лошадь	89
черный	142	свет	89
ветер	140	могила	88
<i>ипостась</i>	140	нога	87
битва	138	победа	87
меч	138	поход	87
молния	136	копье	85
пещера	134	пастух	85
жрец	128	родоначальник	85
род	128	любовь	84
<i>олицетворение</i>	127	подвиг	84
собака	127	путь	84
звезда	126	скот	84
корова	124	младенец	82
красный	122	богатырь	81
<i>атрибут</i>	121	старик	81
воин	121	возлюбленный	80
рыба	121	молоко	77
волосы	120	<i>эпоним</i>	77
охота	120	вселенная	76
стрела	120	гнев	76
человек	119	олень	76
гром	117	яйцо	76
богатство	114	старуха	75
великан	114	волк	73
святилище	111	мудрец	73
лук	110	спутник	73
близнец	109	статуя	73
рука	108	лев	72
умерший	108	озеро	72
демиург	106	золото	71
урожай	106	кузнец	71
источник (водный)	104	первопредок	71
потомок	104	пир	71
колесница	103	смертный	71
ребенок	103	подземное царство	70
скала	101	рай	70
золотой	99	шаман	70
враг	98	облако	69
змей	98	созвездие	69
мертвый	97	медведь	68
гибель	96	потоп	68

рог	68	первые люди	51
столица	68	дар	50
оружие	67	наказание	50
шкура	67	праведник	50
ночь	66	сердце	50
трава	66	судья	50
запад	65	баран	49
оракул	65	вождь	49
счастье	65	свадьба	49
беда	64	святой	49
восток	64	тигр	49
запрет	64	ворота	48
хитрость	64	плод	48
молитва	63	пустыня	48
орел	63	роды	48
громовержец	62	ад	47
поле	62	войско	47
предок	62	глина	47
пророк	62	желтый	47
царство мертвых	62	жизнь	47
крыло	61	прародитель	47
океан	61	спор	47
вино	60	трон	47
потомство	60	голод	46
бессмертие	59	колодец	46
земледелие	59	лицо	46
красавица	59	первочеловек	46
красота	59	прорицатель	46
поединок	59	рот	46
семья	59	хвост	46
цветы	59	чаша	46
алтарь	58	безумие	45
бессмертный	58	борода	45
грех	58	зеленый	45
засуха	58	зерно	45
буря	57	идол	45
грудь	57	мировое древо	45
жених	57	невеста	45
прозвище	57	пламя	45
дерево	56	планета	45
страж	56	поколение	45
топор	56	сад	45
мир	55	ведьма	44
мясо	55	чрево	44
зуб	53	время	43
сокровище	53	изобилие	43
тьма	53	стена	43
хлеб	53	суд	43
загробный мир	52	тайна	43
петух	52	новорожденный	42
роща	52	пища	42
север	52	преисподняя	42
закон	51	престол	42
овца	51	черепаха	42

щит	42	проклятие	35
голос	41	родина	35
космос	41	синий	35
палец	41	сражение	35
растительность	41	стороны света	35
рис	41	диск	34
свинья	41	дорога	34
стадо	41	дьявол	34
труп	41	заклинание	34
убийца	41	здоровье	34
вера	40	прародительница	34
дворец	40	ремесло	34
император	40	сосуд	34
колдун	40	стихия	34
людоед	40	танец	34
нечистая сила	40	хаос	34
олимпийское божество	40	богиня-мать	33
пес	40	лодка	33
правая рука	40	пение	33
путешествие	40	перо	33
титул	40	потусторонний мир	33
воздух	39	слон	33
единоборство	39	странствия	33
клятва	39	юг	33
козел	39	бес	32
мальчик	39	дно	32
посох	39	железо	32
серебро	39	котел	32
слуга	39	лотос	32
состязание	39	лягушка	32
ухо	39	магия	32
гроза	38	местность	32
карлик	38	очаг	32
кость	38	плечо	32
оборотень	38	поток	32
певец	38	спина	32
холм	38	удача	32
весна	37	человечество	32
землетрясение	37	город	31
коза	37	долголетие	31
радуга	37	кожа	31
ученик	37	кошка	31
веревка	36	плен	31
колесо	36	путник	31
мед	36	рыбак	31
музыка	36	<i>фетиш</i>	31
свита	36	цепь	31
слеза	36	червь	31
туча	36	черт	31
фараон	36	водная стихия	30
крепость	35	голубь	30
мост	35	зима	30
нож	35	изгнание	30
песня	35	король	30

мировой океан	30	буйвол	25
обет	30	гробница	25
пояс	30	знание	25
<i>трикстер</i>	30	кобылица	25
грешник	29	лоб	25
живот	29	магическая сила	25
жизненная сила	29	медный	25
заяц	29	месяц	25
<i>инициация</i>	29	насекомое	25
когти	29	обезьяна	25
костер	29	покойник	25
крест	29	сатана	25
луч	29	слепой	25
монах	29	<i>эманация</i>	25
мрак	29	благополучие	24
несчастье	29	взгляд	24
столб	29	громовник	24
страшный суд	29	добыча	24
учитель	29	домашний очаг	24
язык	29	жар	24
болото	28	зрение	24
врата	28	клюв	24
дети	28	колос	24
истина	28	люди	24
копыто	28	мировой порядок	24
крокодил	28	<i>тотем</i>	24
светило	28	укус	24
башня	27	фея	24
дыхание	27	яд	24
жертвенник	27	вдова	23
жрица	27	вепрь	23
знамение	27	ворон	23
металл	27	вход	23
напиток	27	доспехи	23
невидимость	27	драгоценный камень	23
палица	27	клад	23
пиво	27	колдовство	23
разбойник	27	лебедь	23
речь	27	небожитель	23
сотворение мира	27	нос	23
справедливость	27	очищение	23
деньги	26	песок	23
домовой	26	плуг	23
дуб	26	погода	23
левая рука	26	раб	23
маска	26	самоубийство	23
масло	26	страх	23
месть	26	царство	23
ожерелье	26	череп	23
отверстие	26	барабан	22
похищение	26	бездетность	22
сила	26	волшебница	22
слава	26	двойник	22
сокол	26	жребий	22

колени	22	монастырь	19
музыкант	22	мысль	19
наводнение	22	Новый год	19
палка	22	плодовитость	19
пасть	22	рана	19
печь	22	рост	19
роса	22	ручей	19
бедро	21	слово	19
бой	21	снадобье	19
ветвь	21	стрелок	19
гадание	21	утроба	19
дверь	21	шапка	19
жезл	21	бесплодие	18
злак	21	воскресение	18
инцест	21	врачевание	18
крещение	21	деторождение	18
кувшин	21	дом	18
молот	21	еда	18
наложница	21	зачатие	18
нить	21	книга	18
отшельник	21	конец мира	18
пахтанье океана	21	крик	18
пространство	21	лед	18
темница	21	лето	18
тростник	21	львица	18
тыква	21	<i>мистерия</i>	18
ужас	21	оборотничество	18
шлем	21	окно	18
бегство	20	письмо	18
венки	20	погоня	18
всадник	20	погребение	18
дым	20	подарок	18
зеркало	20	посев	18
искусство	20	преступление	18
капля	20	рабство	18
колена <рода>	20	сватовство	18
кольцо	20	серебряный	18
князь	20	сеть	18
ложь	20	служанка	18
мешок	20	талисман	18
печень	20	творение	18
пчела	20	чума	18
раковина	20	аскет	17
роженица	20	восход	17
серб	20	выкуп	17
трапеза	20	горе	17
человеческий род	20	знамя	17
чужеземец	20	календарь	17
амулет	19	кладбище	17
вражда	19	кормилица	17
град	19	корона	17
долина	19	курица	17
запретное имя	19	лисица	17
казнь	19	маг	17

мышь	17	родник	15
обман	17	скотоводство	15
пожар	17	спасение	15
погребальный костер	17	царская власть	15
прах	17	эпидемия	15
прорицание	17	яблоко	15
свирель	17	амбар	14
страдание	17	блудница	14
туман	17	бровь	14
утренняя заря	17	веретено	14
антилопа	16	воздушное пространство	14
больной	16	вол	14
внутренности	16	врач	14
драгоценность	16	всемирный потоп	14
жемчужина	16	гнездо	14
живая вода	16	исполин	14
журавль	16	камлание	14
земледелец	16	кара	14
искра	16	клык	14
колыбель	16	колдунья	14
корзина	16	леший	14
коршун	16	лоно	14
кошмар	16	мировая гора	14
паломничество	16	молодость	14
паук	16	монета	14
персик	16	мор	14
пляска	16	муравей	14
пруд	16	муха	14
разум	16	нефрит	14
ссора	16	оспа	14
теленок	16	пастбище	14
фаллос	16	пена	14
холод	16	порядок	14
беременность	15	след	14
будущее	15	страна мертвых	14
видение	15	факел	14
гребень	15	чучело	14
гроб	15	ящерица	14
железный	15	бамбук	13
золотой век	15	бездна	13
ларец	15	военачальник	13
ложе	15	волна	13
музыкальный инструмент	15	горшок	13
небесный свод	15	девственность	13
омовение	15	дружина	13
остров блаженных	15	дубина	13
пальма	15	жир	13
перевоплощение	15	закат	13
перекресток	15	игры	13
похороны	15	кузнечество	13
поэт	15	лестница	13
призрак	15	летучая мышь	13
разрушение	15	наковальня	13
ребро	15	осел	13

перун	13	яма	12
писец	13	благочестие	11
погребальные игры	13	венец	11
пряжа	13	веселье	11
рыболовство	13	весталка	11
сандалия	13	виноградная лоза	11
сирота	13	возлияние	11
скипетр	13	вознесение	11
снег	13	воспитание	11
ткань	13	дань	11
усы	13	добро	11
чародей	13	древо жизни	11
шаг	13	дыра	11
шаманка	13	жаба	11
ящик	13	желание	11
акрополь	12	животное	11
верблюд	12	колокольчик	11
влага	12	конец света	11
водоем	12	крайний запад	11
водяной	12	кукла	11
волос	12	лось	11
вулкан	12	мать-земля	11
грот	12	наука	11
грязь	12	оберег	11
губы	12	осень	11
двуполое существо	12	пастырь	11
заговор	12	пепел	11
кабан	12	перстень	11
канал	12	повитуха	11
кукуруза	12	процветание	11
лунное затмение	12	пшеница	11
мачеха	12	русалка	11
медь	12	скорпион	11
морская стихия	12	соитие	11
мука	12 (11!)	сорока	11
нищий	12	сосна	11
плеть	12	страсть	11
поиск	12	сундук	11
поступок	12	тиара	11
прародина	12	титаномахия	11
пророчество	12	<i>топоним</i>	11
раздоры	12	трезубец	11
ревность	12	туловище	11
семья	12	уязвимое место	11
слепота	12	фламин	11
сок	12	хромота	11
строитель	12	целитель	11
умирающий		чистота	11
и воскресающий бог	12	ягненок	11
ураган	12	бабочка	10
флот	12	беременная	10
чудо	12	богоборец	10
эмблема	12	великанша	10
ягуар	12	весы	10

вина	10	солнечное затмение	10
возмездие	10	ступа	10
волшебник	10	таинство	10
вор	10	тайга	10
времена года	10	флейта	10
гагара	10	целомудрие	10
грехопадение	10	щука	10
гусь	10	агнец	9
забвение	10	вихрь	9
загробное царство	10	гадатель	9
заклятие	10	дикие животные	9
запах	10	дикие звери	9
зелье	10	жажда	9
злая сила	10	жеребец	9
змееборец	10	жернов	9
зола	10	загадка	9
золотые яблоки	10	замок	9
игла	10	ива	9
кит	10	игра в кости	9
коварство	10	испытание	9
ковчег	10	ковчег завета	9
кольчуга	10	козленок	9
конюшня	10	ком	9
кузница	10	круг	9
кумир	10	лабиринт	9
лань	10	ласточка	9
лихорадка	10	листья	9
маис	10	ловушка	9
мореплавание	10	лучник	9
моряк	10	мельница	9
орошение	10	муки	9
останки	10	мумия	9
падший ангел	10	неуязвимость	9
первичный океан	10	обрезание	9
перевозчик	10	одноглазость	9
перерождение	10	память	9
печать	10	панцирь	9
погребальный обряд	10	письменность	9
предзнаменованье	10	питье	9
предсказание	10	плач	9
пропасть	10	пленник	9
пророческий дар	10	плотник	9
просо	10	плющ	9
птенец	10	покаяние	9
рабыня	10	порок	9
равнина	10	постель	9
рассвет	10	проводник	9
ремесленник	10	пятка	9
рог изобилия	10	свиток	9
роза	10	скелет	9
рыбная ловля	10	скотовод	9
садовник	10	слюна	9
самоубийца	10	солома	9
свеча	10	спаситель	9

страны света	9	утка	9
табу	9	Феникс	9
<i>теофорное имя</i>	9	халат	9
тыква-горлянка	9	хромой	9
тюлень	9	шар	9
уголь	9	шея	9
урод	9	эфир	9
уродство	9	юность	9

## 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК («SUMMAE»)

небо (+ небесный свод + небесная сфера + воздушное пространство + ясное небо + звездное небо + ночное небо + отец-небо + седьмое небо)	573
гора (+ мировая гора + хрустальная гора)	424
солнце (+ солнечный диск + пятна на солнце)	424
смерть (+ преждевременная смерть + насильственная смерть)	367
земля + (мать-земля + мать сыра земля)	347
пламя + огонь (+ очажное пламя + костер)	347
огонь + пламя (+ небесный огонь + подземный огонь + адский огонь + серный огонь + разрушительное и очистительное пламя + блуждающие огни + огненный ...: бездна, река, страна, вихрь, меч, столп)	334
вода (+ водная стихия + небесные воды + мировая вода + мировые воды + космические воды + первичные воды + первоначальные воды + пресная вода + соленая вода + океан соленых вод + живая вода + мертвая вода + сильная вода + бессильная вода + чистая вода + святая вода)	330
первопредок + первочеловек + первые люди + прародители + предок	326
река (+ поток + подземная река + река забвения)	304
загробная страна + загробное царство + загробный мир + потусторонний мир + тот свет + подземный мир + мир мертвых + царство мертвых + страна мертвых	286
птица (+ вещая птица + птенец + райская птица + стимфалийские птицы + полет птиц)	271
змей (+ дракон + мировой змей + морской змей)	266
демон + бес + нечистая сила	260
война (+ справедливая война)	247
конь (+ жеребец + скакун)	233
плодородие (+ плодоносящая сила)	233
море (+ океан)	231
лес (+ роща + джунгли + дубрава + кедровый лес + пальмовая роща + тайга)	228
бык (+ буйвол + тур + вол)	206
битва + сражение + бой (+ последняя битва + эсхатологическая битва)	201
луна (+ пятна на луне)	198
дева, девица + девушка (+ непорочная дева + чистая дева)	191
ребенок + дитя + младенец	190
рука (+ правая рука + левая рука + прокаженная рука)	174
подземный ... (: влага, река, царство, воды, сокровища, мир, мировой океан, огонь, океан пресных вод)	172
человек (+ первочеловек + сотворение человека + творение человека)	171
глаз + око	170
собака + пес (+ кобель + шенок)	170
тело + туловище (+ Адамово тело + туша)	170
болезнь + недуг (+ инфекционная болезнь)	169

остров (+ остров блаженных + яблоневый остров)	169
судьба (+ доля + книга судеб + таблица судеб)	169
бык (+ критский бык + марафонский бык + небесный бык)	165
дождь (+ ливень)	164
подземный мир + подземное царство	160
богатство + изобилие	157
родоначальник + первопредок	156
старик + старуха	156
соревнование + состязание + соперничество (+ поединок + борьба + единоборство + спортивное состязание + гимнастические состязания + шаманский поединок)	153
брак + супружество + супружеские отношения + брачные узы (+ брачная связь)	151
золотой (+ <золотые предметы, существа и проч.>)	149
молния (+ перун + ночная молния)	149
пещера (+ грот)	146
черный (+ черный боб + черный камень)	144
ветер (+ сильный ветер + северный ветер + западный ветер)	143
великан + исполин + гигант (+ великанша)	141
меч (+ меч-кладенец + огненный меч)	141
бессмертие + вечная жизнь (+ бессмертный + древо бессмертия + трава бессмертия + напиток бессмертия + яблоко бессмертия + снадобье бессмертия + пилюля бессмертия)	137
умерший + покойник + покойница	134
близнец + двойник	131
гром + перун	130
жрец (+ первый жрец)	129
воин (+ воитель)	127
источник (водный) + ключ (водный) + родник (+ родник забвенья)	127
лошадь (+ жеребец + кобылица + жеребенок)	127
корова (+ буйволица)	126
красота (+ красавица + красавец + прекраснейшая из женщин)	125
океан (+ мировой океан + первичный океан + первозданный океан + океан соленых вод + подземный океан пресных вод + пахтанье океана)	125
наказание + кара + возмездие	124
охота + охотничий промысел (+ звероловство)	122
свет (+ луч + ночной свет)	119
вселенная + космос (+ мировое пространство)	118
дорога + путь	118
пророк (+ предсказатель + прорицатель + прорицательница + пророчица)	117
драгоценный металл (+ золото + серебро)	114
лук (+ стрельба из лука)	114
оракул (+ предсказатель + прорицатель + прорицательница)	114
демиург + творец мира	110
ребенок + дитя	108
зерно (+ семя + гранатовое зерно + ячменное зерно)	106
облако (+ туча)	105
скала + утес	105
зло (+ злая сила + злое начало + мировое зло)	104
наводнение + потоп (+ всемирный потоп)	104
несчастье + беда + напасть (+ катаклизм + стихийное бедствие)	101

гибель (+ погибель + гибель богов)	98
убийство (+ насильственная смерть)	96
корабль (+ корабль мертвецов + корабль смерти + корабль сокровищ)	95
охотник (+ зверолов + ловчий)	95
мудрость (+ премудрость)	94
мир мертвых + царство мертвых + страна мертвых	93
скот (+ рогатый скот + крупный рогатый скот)	93
ад + преисподняя (+ царь ада)	90
копье (+ пика + дротик)	90
лев + львица	90
любовь (+ любовная связь)	90
трон + престол	89
тьма + темнота + мрак (+ мгла + царство мрака)	88
яйцо (+ мировое яйцо + космическое яйцо)	88
любовь (+ любовная страсть + любовная тоска)	87
громовержец + громовник	86
спутник (+ проводник + психопомп)	85
суд + судилище (+ страшный суд + судный день + загробный суд)	85
богатырь + витязь	84
колдун + маг + чародей + волшебник + кудесник (+ ведун)	84
колдунья + чародейка + волшебница (+ ведьма)	83
шаман + шаманка	83
старик (+ старичок с ноготок)	82
лев (+ киферонский лев + немейский лев)	81
спутник + спутница	81
человечество + люди + человеческий род + людское племя (+ прародина человечества + праотцы человечества + праматерь рода человеческого)	80
время (+ колесо времени + начало времен + конец времен + ранние времена + допотопное время + последние времена + конечное время + мировое время + <i>мифическое время</i> + неумолимое время + <i>мессианское время</i> )	79
рог (+ рог изобилия)	78
ворота + врата	76
буря + ураган (+ шторм)	75
волк + волчица	75
рай (+ райская страна + райские поля + райский сад)	75
статуя (+ скульптура)	75
запрет (+ табу + табуированное имя)	74
соперничество + спор (+ вражда)	74
кузнец + коваль	73
путешествие + странствия	73
грех (+ грехопадение + первородный грех)	71
пение + песнопение (+ песня)	71
шкура (+ руно + тигриная шкура)	71
клятва (+ обет)	69
дар + подарок	68
прах + останки (+ труп)	68
войско + дружина + рать (+ воинство)	67
запад (+ крайний запад + западный ветер)	67
зуб (+ клык)	67
поле (+ рисовое поле + возделывание полей + унавоживание полей)	67

трава (+ болотная трава)	67
страж + сторож + привратник (+ охранник)	65
орел + орлица	64
загробная страна + загробное царство + загробный мир	63
земледелие + возделывание полей (+ полеводство)	63
топор (+ секира)	63
чрево + утроба	63
дьявол + сатана (+ князь бесов + князь тьмы)	62
поединок (+ противоборство)	62
еда + пища (+ яства)	61
свадьба (+ женитьба + свадебный обряд)	58
кость (+ большая берцовая кость + тазовая кость + ребро)	56
напиток (+ напиток бессмертия + напиток забвения + опьяняющий напиток + хмельной напиток + питье)	56
правый ... (: нога, пятка, рука, сторона, глаз)	56
изобилие (+ корзина изобилия + котел изобилия + рог изобилия)	55
кумир + идол	55
север (+ северный ...: страна, сияние, ветер)	55
воздух (+ воздушное пространство + атмосфера)	54
очаг + печь	54
хлеб (+ каравай)	54
прародитель + праотец (+ праотцы человечества)	53
рот (+ уста)	53
сад (+ персиковый сад + сад Гесперид + сад эдемский + райский сад)	53
амулет + талисман (+ оберег + апотропей)	52
баран (+ овен)	52
жизнь (+ земная жизнь)	52
овца (+ овечка)	52
праведник (+ праведный царь + благочестивая вдова)	52
безумие (+ помрачение ума + сумасшедший)	50
карлик (+ цверг + гном)	50
лодка + ладья + челнок (+ каноэ + каяк + барка)	50
пляска + танец	50
тигр + тигрица	50
железный (+ железо + сталь)	49
заклинание + заговор + магические заклинания	49
идол + истукан	49
плен (+ рабство)	49
фея (+ волшебница + чародейка)	49
колодец (+ кладезь + криница)	48
дубина + палица (+ булава)	47
суд + судилище	47
костер (+ погребальный костер)	46
ведьма + знахарка	45
отверстие + дыра (+ щель + замочная скважина)	45
плач (+ слеза <слёзы>)	45
тайна (+ великая тайна + вечная тайна)	45
восход + рассвет + утренняя заря	44
стороны света + страны света	44
страх + ужас	44

лягушка (+ жаба)	43
погребение + похороны (+ погребальный обряд)	43
прародительница + праматерь (+ праматерь рода человеческого)	43
ящик (+ сундук + ларец + шкатулка)	43
левый ... (: нога, пятка, рука, подреберье, глаз)	42
метаморфоза + превращение + перевоплощение (+ оборотничество)	42
палец + перст	42
посох (+ клюка + костыль + ивовый посох)	42
стадо (+ табун)	42
стихия + природные силы + стихийные силы природы (+ необузданные силы природы)	42
лекарство + снадобье + зелье (+ лекарственные травы + медицинские травы)	41
мор + моровая болезнь + моровая язва + эпидемия (+ эпизоотия)	41
странствия + скитания	41
бесплодие + бездетность	40
веревка (+ шнур)	39
корона + венец (+ тиара)	39
магия + магическое искусство (+ черная магия)	39
прорицание + предсказание + пророчество	39
слепота (+ слепой + слепой бог)	39
сотворение мира (+ сотворение земли + сотворение человека + творение мира + творение человека)	39
удача + успех (+ военный успех)	38
ученик (+ школяр)	38
вепрь + кабан (+ калидонский вепрь + эриманфский вепрь)	37
знамение + предзнаменование	37
конец времен + конец мира + конец света	37
ложь + обман	37
медный (+ медь)	37
столб (+ столп + мировой столп)	37
живот + брюхо	36
истина (+ правда)	36
пение + песнопение	36
похищение + кража (+ воровство)	36
знание (+ магическое знание + медицинское знание + тайное знание)	35
палка (+ бамбуковая палка + клюка + палочка + указательная палочка + палочка для письма + грифельная палочка)	35
хаос (+ мировой хаос)	35
колдовство + волшебство + чародейство (+ чары)	34
котел + чан	34
слон (+ мировые слоны)	34
учитель (+ воспитатель)	34
рыбак + рыболов	33
спина (+ спинной хребет)	33
яблоко (+ яблоко бессмертия + молодильные яблоки + золотые яблоки + яблоко раздора)	33
изгнание (+ изгнание из рая)	32
кольцо + перстень (+ обручальное кольцо)	32
раздоры + ссора + распря	32
цепь (+ надочажная цепь)	32

болото (+ трясина)	31
врач + врачеватель + врачевательница + лекарь + медик	31
врачевание (+ лечение + врачебное искусство + лекарское искусство + медицина + медицинское знание )	31
жизненная сила + жизненная энергия	31
месть (+ кровная месть)	31
разум + рассудок + ум	31
снадобье + зелье (+ снадобье бессмертия)	31
грешник + грешница	30
имена (+ <i>теофорное имя</i> + запретное имя + табуированное имя)	30
тыква (+ тыква-горлянка)	30
жрица (+ весталка + пифия)	29
крокодил (+ аллигатор)	29
письмена (+ письмо + письменность)	29
светило + небесное светило	29
справедливость (+ справедливая война + справедливый царь)	29
дудочка (+ свирель + флейта)	28
инцест + кровосмешение	28
маска (+ личина)	28
разбойник + бандит	28
сила (+ физическая сила + мощь)	28
страдание + мучение + муки (+ Танталовы муки)	28
добыча (+ трофеей)	27
жар (+ зной)	27
игра на ... (: арфе, гонге, гусях, кантеле, кифаре, лире, органчике, свирели, струнном инструменте, трубе, флейте, форминге)	27
половой акт + совокупление + соитие (+ половые сношения + сексуальная связь + плотская жизнь + плотская любовь)	27
прах + останки	27
молот (+ молоток)	26
половые органы + гениталии + детородный орган (+ фаллос + тестикулы + женские гениталии)	26
темница + тюрьма	26
творение (+ творение мира + творение человека)	26
утро (+ утренний ...: заря, звезда)	26
чужеземец + иноземец	26
беременность (+ беременная)	25
гадание (+ ворожба)	25
девственность + непорочность + целомудрие (+ невинность)	25
драгоценный камень (+ самоцвет)	25
очищение (+ люстрация)	25
постель + ложе (+ кровать)	25
преследование + погоня	25
яд + отравы	25
вдова (+ благочестивая вдова)	24
древо (мифическое древо + древо бессмертия + древо желаний + древо жизни + древо милосердия + древо мира + древо познания добра и зла + древо смерти)	24
жезл (+ тирс)	24
жемчуг (+ жемчужина)	24
клад (+ подземные сокровища)	24

колыбель – люлька	24
наказание + кара + возмездие	24
погода (+ хорошая погода)	24
рыбная ловля + рыбная охота + рыболовство	24
бездна + пропасть	23
воплъ + крик	23
земледелец – пахарь – плугарь	23
злак (+ хлебный злак + созревание злаков)	23
кладбище + некрополь	23
молодость – юность	23
нить (+ нить Ариадны)	23
тростник (+ сахарный тростник)	23
ягненок + барашек (+ агнец)	23
блудница + распутница (+ проститутка + гетера + куртизанка)	22
ветвь (+ оливковая ветвь)	22
всадник + конник	22
кукуруза + маис	22
отшельник – пустышник	22
призрак + привидение	22
зола (+ пепел)	21
казнь (+ смертная казнь)	21
мешок (+ кожаный мешок)	21
теленок + телец	21
власть (+ царская власть + светская власть)	20
гроб (– саркофаг)	20
двуполое существо + гермафродит + андрогин	20
долина (+ долина смертной тени)	20
лисица (+ тевмесская лиса)	20
[одно-] (: одноглазость, одноголовость, одноногость, однорукость)	20
посев (+ сев)	20
стрелок + стрелец	20
хромота (– хромой)	20
шапка (+ шапка-невидимка)	20
военачальник + полководец (– воєвода)	19
губы (+ уста)	19
дикие животные + дикие звери (+ хищный зверь)	19
наваждение + кошмар	19
серебряный (+ серебряное блюдо)	19
сеть (+ невод)	19
холод + стужа (+ заморозки)	19
игра в ... (: карты, кости, мяч, шашки, шахматы)	18
календарь (+ лунный календарь)	18
корзина – лукошко (+ корзина изобилия)	18
спасение (– спасение мира)	18
уродство (+ урод)	18
моряк – мореплаватель + мореход	17
пальма (+ финиковая пальма)	17
паук + паучиха	17
перекресток (– развилка)	17
бедность (+ нищета + бедняк + нищий)	16

виноградная лоза (+ виноград)	16
вред (+ порча)	16
игра на <струнном инструменте>	16
клык (+ бивень)	16
плеть (+ кнут + бич)	16
повитуха + родовспомогательница	16
поэт (+ бард)	16
снег (+ снегопад)	16
страсть (+ любовная страсть + сексуальная страсть + похоть)	16
вестник + вестница (+ глашатай)	15
гадатель (+ авгур + гаруспик)	15
печаль + тоска + скорбь	15
поэзия (+ лирическая поэзия + буколическая поэзия + эпическая поэзия + книжная, настенная поэзия)	15
ткань (+ холст)	15
ящерица (+ варан)	15
верблюд (+ верблюдица)	14
измена + предательство + отступничество	14
канал (+ арык)	14
мельница (+ водяная мельница + Сампо)	14
опьянение (+ хмель + опьяняющий напиток + хмельной напиток)	14
осел + ишак	14
процветание + благоденствие + мир и благоденствие	14
путешественник + странник (+ паломник)	14
ступа + ступка	14
торговец + купец	14
запах (+ аромат + зловоние)	13
колокольчик + бубенчик	13
мореплавание + мореходство (+ кораблевождение)	13
прародина (+ прародина человечества)	13
яма (+ рыбная яма)	13
вихрь (+ смерч + огненный вихрь)	12
возлияние (+ попойка)	12
добро (+ царство добра)	12
кровля + крыша	12
лось + сохатый	12
мать-земля + мать сыра земля	12
мировое яйцо + космическое яйцо	12
подводный ... (: царство, дворец, мир)	12
пятно (+ пятна на луне + пятна на солнце + трупные пятна)	12
ткач + ткачиха	12
бабочка + мотылек	11
возница + возничий	11
вор (+ похититель)	11
гусь + гусыня	11
лань (+ керинейская лань)	11
ловушка (+ капкан)	11
перевозчик (+ паромщик)	11
полено + чурбан	11
садовник + садовод	11

шатер (+ палатка + скиния)	11
вечная молодость + вечная юность	10
листья (+ шелест листьев)	10
пятка (+ правая пятка)	10
смех (+ хохот)	10
танцор + танцовщица	10
воскрешение + оживление	9
маслина + олива	9
пост (+ великий пост)	9
соль (+ соляной столп)	9
таблица (+ таблица судеб + «табличка влажности»)	9
тутовое дерево + шелковица	9
удав (+ питон)	9
хлев (+ стойло)	9
язычник (+ идолопоклонник)	9

© 2011 г. В.Ю. АПРЕСЯН

## ОПЫТ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА: РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ\*

Эта часть работы является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем номере ВЯ, в которой содержится более полный список литературы по данной теме.

Рассматриваются эмоциональные кластеры 'грусть', 'радость', 'отвращение', 'жалость', 'стыд' и 'обида'. Исследование показывает, что, хотя индивидуальные различия между отдельными словами в двух языках могут быть значительными, в целом «концентральные карты» большинства эмоций различаются не столь сильно, как это принято считать. Так, во многих кластерах выделяются сходные типы эмоций, близкие по стимулам, степени и силе эмоций, и часто сопровождаемые похожими оценками.

### 2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

#### 2.3. Общие тенденции в устройстве семантических кластеров

##### 2.3.3. Кластер 'грусть' в русском и английском языках

Начиная с классической работы Анны Вежбицкой о трех ключевых концептах русской культуры – *душе*, *тоске* и *судьбе* [Wierzbicka 1990], русская *тоска* (сложная эмоция, включающая некоторые компоненты грусти, скуки и депрессии) традиционно считалась этноспецифичным концептом, и более поздние работы на эту тему [Levontina, Zalizniak 2001] также поддерживают мысль об уникальности русской концептуализации 'грусти'.

Слово *тоска*, безусловно, обладает уникальной комбинацией смыслов, которая не может быть передана ни одним отдельным словом английского языка, что можно

\* Данная работа написана при финансовой поддержке следующих грантов: гранта Президента РФ на поддержку ведущих научных школ № НШ-3205.2008.6, гранта РГНФ № 06-04-00289а на «Разработку словника и проспекта активного словаря русского языка», гранта Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории», гранта РГНФ № 07-04-00-202а «Системообразующие смыслы русского языка», при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований отделения историко-филологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей», а также гранта Дэвис-центра (Гарвард) на 2007–2008 гг. и гранта РГНФ № 10-04-00273а «Подготовка первого выпуска Активного словаря русского языка». Автор выражает свою благодарность Ю.Д. Апресяну, Л.Л. Иомдину и М.В. Гронасу за ценные критические замечания к более ранним версиям этой работы, а также всем тем, кто комментировал данную работу устно, когда разные ее части обсуждались на семинаре Дэвис Центра в Гарвардском университете, семинаре Отделения современных языков в Тринити Колледже, семинаре Отделения русского языка в Дартмутском Колледже, семинаре по теоретической семантике в Институте проблем передачи информации, на конференции «Диалог'2008», а также на ЛЛШ-2008 в Дубне. Отдельная благодарность моим информантам по английскому языку – Н. Шнитке, Д. Танненбойму, Э. Хьюитт, Д. Варилеку.

проиллюстрировать двумя авторскими вариантами набоковской «Лолиты» – английским и русским; Набоков выбирает *тоску* в качестве соответствия в самых разных английских контекстах для передачи эмоций типа ‘скучать по кому-то или чему-то’, ‘душевная боль’, ‘скучать от чего-то неинтересного и многократно повторяющегося’:

- (52) *Mists of tenderness enfolded mountains of longing* (букв. ‘страстное стремление к чему-то’)  
*Туман нежности обволакивал горы тоски;*
- (53) *The experience curbed forever my yearning for rural amours* (букв. ‘страстное томление по чему-то’)  
*Этот случай навсегда излечил меня от тоски по буколике;*
- (54) *My heart was bursting with love-ache* (букв. ‘боль’)  
*Мое сердце разрывалось от любви и тоски;*
- (55) *He succeeded in thoroughly enmeshing me and my thrashing anguish in his demoniacal game* (букв. ‘сильная боль, мучение, страдание’)  
*Ему удалось демонической сетью окончательно опутать меня и мою извивающуюся, бьющуюся тоску;*
- (56) *Somber, sad, full of world-weariness...* (букв. ‘усталость, скука’)  
*Сумрачно, грустно, с налетом мировой тоски...*

Однако, если мы сравним не отдельные слова, которые могут действительно очень сильно различаться в разных языках по тем наборам смыслов, которые они содержат, а ‘грусть’ как целый кластер, мы увидим, что английский и русский языки концептуализуют достаточно схожие разновидности этого типа эмоций.

В кластер ‘грусть’ входят эмоции, объединяемые идеей того, что произошло что-то плохое, и это вызывает ощущение собственного бессилия.

В обоих языках представлен нейтральный общий тип ‘грусти’ – лексемой *sad* и ее дериватами в английском языке, лексемой *грусть* и ее дериватами (особенно предикативом *грустно*) в русском. Хотя слова *sad* ‘грустный’ и *грустно* обладают наиболее общим значением, из этого не следует, что они могут использоваться в качестве гиперонимов ко всем остальным языковым единицам, обозначающим разные оттенки данного типа эмоции. *Sad* и *грустно* в самом общем виде указывают на обстоятельства, вызывающие чувство:

- (57) *X-y грустно, X feels sad* ‘произошло что-то плохое; X ничего не может сделать; X чувствует что-то плохое’.

Эти слова и их производные покрывают весьма широкое поле оттенков ‘грусти’ – от кратковременных эмоций, вызванных какими-то не слишком серьезными стимулами, до более глубоких чувств, вызванных важными стимулами, от событий, затрагивающих самого экспериенсера, до ситуаций, не касающихся его лично; ср.:

- (58a) *Мне грустно, что меня никто никуда не пригласил в выходные;*  
(58б) *I'm sad because I have no date for the weekend;*  
(59a) *Мне грустно, что мы никогда больше не увидимся;*  
(59б) *I'm sad that we'll never see each other again;*  
(60a) *Грустно, что страна идет в таком направлении;*  
(60б) *It's sad that the country is heading in this direction.*

Однако все-таки эти слова покрывают не весь спектр оттенков ‘грусти’; в тех случаях, когда описывается глубокое чувство, вызванное какими-то тяжелыми и непоправимыми потерями, затрагивающими лично экспериенсера, они не употребляются; ср. прагматическую странность:

- (61a) *?Ему было грустно, что у его ребенка обнаружили неизлечимую болезнь;*  
(61б) *?He was sad that his child was diagnosed with an incurable disease.*

Оба эти слова могут также обозначать чувство, которое возникло без какого-то реального стимула. Таким образом, в обоих языках отражено представление о беспричинной 'грусти' – или, по крайней мере, такой, причина которой либо не осознается экспериенсером, либо не является объективно достаточной:

- (62a) *Почему-то было очень грустно;*
- (62b) *I felt sad, I didn't know why;*
- (63a) *В дождь мне всегда грустно;*
- (63b) *Rainy weather makes me sad.*

У английского *sad* есть близкий синоним *unhappy* 'грустный, невеселый, несчастный', который обычно не употребляется в случаях, когда эмоция не вызвана какой-то внешней или внутренней, психологической причиной; ср. нормальность (64a) vs. странность (64б):

- (64a) *After they broke up, he was feeling very unhappy*  
'Он очень грустил после их разрыва';
- (64б) *??Rainy weather makes me unhappy*  
'??Я становлюсь несчастным от дождливой погоды'.

Таким образом, беспричинная 'грусть' может выражаться далеко не всеми словами, входящими в этот кластер; однако в обоих языках есть и специальные средства для выражения 'грусти' преимущественно как настроения, эмоционального состояния, беспричинного или вызванного неизвестной или недостаточной причиной (см. ниже).

Каждая часть основного трехкомпонентного сценария 'грусти' (а именно, 'произошло что-то плохое; X ничего не может сделать; X чувствует что-то плохое') может модифицироваться, отражая многочисленные оттенки этой эмоции.

Чем более серьезно и непоправимо плохое событие, тем глубже, острее и безнадежнее чувство, вызываемое им. Следующая стадия 'грусти' по степени серьезности стимула – это *печаль* и *sorrow*. Это более глубокий и длительный вид 'грусти', вызываемый обычно какой-то серьезной потерей (например, потерей близкого человека) и сопровождаемый более сильными проявлениями, чем *грустно* и *sad*: *По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей её* (Л.Н. Толстой «Отрочество»); *умирать от печали; Сердце разрывается от печали; to cry with sorrow* 'плакать от печали'; *My sorrow would blacken the bluest sky* 'От моей печали самое голубое небо почернело бы' (Д. Уоллас «Плач на смерть моей второй жены»).

Чувство *печали* может быть и светлым, сопряженным с какими-то, если и не приятными, то хорошими эмоциями: *любовь и печаль, печаль и смирение; love and sorrow, sorrow and acceptance*. При этом в целом просветленность, поэтичность (ср. знаменитое *Печаль моя светла*) и принятие ситуации свойственны русской *печали* в большей степени, чем английской *sorrow*, которая может быть очень болезненным, непримиримым и мрачным чувством: *black <dark> sorrow* 'черная <темная> печаль', *painful sorrow* 'болезненная печаль', *desperate sorrow* 'отчаянная печаль'; ср., впрочем, известную поговорку *Parting is such sweet sorrow* 'Разлука – это сладкая печаль'.

В отличие от *печали* и подобно русской *скорби*, *sorrow* может быть коллективным чувством:

- (65) *The Israeli government has expressed its great sorrow at the incident* (COCA)  
'Израильское правительство выразило свою **скорбь** по поводу этого события'.

В отличие от английской *sorrow*, русская *печаль* никогда не используется эвфемистически, в контекстах, подразумевающих скорее *сожаление*:

- (66) *Blair admits to 'deep sorrow' over slavery – but no apology* (BBC news, Monday, 27 November 2006)  
'Блэр признает, что испытывает **сожаление** по поводу рабства – но извинений не приносит'.

Семантически этот тип 'грусти' эксплицируется следующим образом:

- (67) 'произошло что-то очень плохое; X ничего не может сделать; X чувствует что-то очень плохое'.

Следующая степень 'грусти' – это *gore* и *grief*, эмоция, вызываемая потерей кого-то любимого, обычно чьей-то смертью: *Он в горе после смерти жены; He is in grief over his wife's death.*

И в английском, и в русском *gore* концептуализуется как очень сильная, острая, глубокая, часто неконтролируемая и временами деструктивная эмоция: *быть вне себя от горя, умирать от горя, быть раздавленным горем; to be prostrate with grief* 'быть сломленным горем', *to die with grief* 'умирать от горя', *crushed by grief* 'быть раздавленным горем'. Хотя *gore* и *grief* очень похожи, между ними есть и различия; в соответствии с общей англоязычной установкой на большую контролируемость эмоций (возможно, вызванную проникновением психоанализа в массовую культуру), *grief* представляется как нечто более управляемое и преодолимое, чем русское *gore*; ср. *grief management* 'управление горем', *the stages of grief* 'стадии горя', для которых нет адекватных русских эквивалентов:

- (68) *On Thursdays she attends grief management classes in anticipation of casualties and deaths*  
'По четвергам она посещает занятия по управлению горем в преддверии жертв и смертей' (СОСА).

И *gore*, и *grief* могут быть коллективными эмоциями, ср.: *всенародное горе, the country's grief*.

Этот тип 'грусти' эксплицируется следующим образом:

- (69) 'X потерял кого-то, кого он(а) любил(а); X ничего не может сделать; X не может думать ни о чем другом; X чувствует что-то очень плохое'.

В обоих языках также концептуализована менее личная 'грусть', которая не предполагает глубокой эмоциональной травмы, но, скорее, представляет собой более поверхностное плохое настроение, возникшее на почве разочарований и потерь не слишком серьезного характера. Этот подтип 'грусти' выражается русскими *расстроиться, огорчиться* и английским *to be upset*; ср.: *Она расстроилась, что он забыл ей позвонить; Если что-то сразу не получается – не стоит огорчаться; He was a bit upset that his car was dented* 'Он немного расстроился, что его машину поцарапали'; *The girl was upset by the results of the test* 'Девочка расстроилась из-за результатов экзамена'. Этот тип 'грусти' эксплицируется следующим образом:

- (70) 'произошло что-то плохое или не произошло что-то хорошее, чего ожидал X; X ничего не может сделать; X чувствует что-то плохое'.

В обоих языках есть тип 'грусти', связанный с чувством безнадежности, неверия в то, что может произойти что-то хорошее. В обоих языках этот тип 'грусти' может ассоциироваться и с каким-то конкретным стимулом, и с общим «депрессивным» настроением экспериенсера. В русском это *уныние*, в английском – *despondent, dejected, wretched*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> То, что для русского языка приводится существительное, а для английского – прилагательные, не случайно; в английском языке, как хорошо известно [Вежицкая 1996], именно прилагательные формируют основное ядро лексических средств выражения эмоций, в то время как в русском основные средства выражения эмоциональных состояний – это глаголы, существительные и предикативные прилагательные в конструкции с дательным падежом (*мне грустно*). Прилагательные, употребляющиеся в атрибутивной функции (такие как *унылый*), описывают не внутренние состояния, а их внешние проявления в мимике, жестах, поведении: *унылый вид, унылый взгляд* – 'такой, какой бывает, когда человек испытывает уныние'.

Как можно ожидать, исходя из общего соотношения между русским и английским языками, в последнем отражена существенно большая детализация чувства, чем в русском. *Despondent* 'мрачный, унылый, отчаявшийся, подавленный' выделяет в первую очередь компонент беспомощности, ощущения тупика и невозможности найти выход, *dejected* 'унылый, удрученный, подавленный, грустный, печальный' акцентирует внимание на чувстве усталости, «побежденности» у экспериенсера, который как бы махнул на все рукой, а *wretched* 'печальный, унылый, грустный, жалкий, несчастный' указывает на чувство жалости, которое экспериенсер может вызывать у наблюдателя. Ср.:

- (71) *Despondent over losing his job, he committed suicide*  
'В отчаянии от потери работы он покончил с собой';  
(72) *He's just sitting there, a dejected beaten man*  
'Он просто сидит там, подавленный побежденный человек';  
(73) *He decided to help that wretched woman whom everybody seemed to hate*  
'Он решился помочь несчастной женщине, которую, казалось, все ненавидели'.

Этот тип 'грусти' эксплицируется следующим образом:

- (74) 'произошло что-то плохое; X ничего не может сделать; X чувствует, что ничего хорошего не может произойти; X чувствует что-то очень плохое'.

Что касается основного кандидата на этноспецифичность, русской *тоски*, то если мы рассмотрим ее в контексте всей системы кластера 'грусть', то увидим, что это не такая и необычная эмоция. В обоих языках на концептуальных картах 'грусти' есть место для «несобъяснимой» эмоции, точнее, даже не эмоции, а настроения, которое может неожиданно «находить» на человека, часто без какой бы то ни было внешней мотивации; ср. выражения: *впасть в тоску*, *быть в тоске* и их английские корреляты *to have the blues on smb.*; *I have the blues on me* 'У меня тоска', букв. 'Я имею на себе тоску'. В русском языке такую беспричинную эмоцию обычно выражает слово *тоска*, а также *грусть*<sup>2</sup>, в английском – *blues* 'хандра, тоска, меланхолия' и *sadness*<sup>3</sup>. Если *тоска* считается одним из ключевых слов русской культуры, то и *blues*, ассоциируясь с целым музыкальным направлением, занимает немаловажное место в американской культуре и в культуре вообще.

Таким образом, основные слова, заполняющие этот участок на концептуальной карте 'грусти', – это *тоска*, а также глагол *тосковать*, и *blues*, значения которых, разумеется, далеко не полностью совпадают, однако имеют достаточные пересечения для того, чтобы утверждать, что эмоция немотивированной грусти не является уникальной для русского языкового сознания.

*Тоска* и *blues* не обязательно беспричинны; оба чувства могут вызываться какими-то плохими событиями; например, человек может испытывать *тоску* или *blues* после разрыва с любимым, т. е. обозначать собственно эмоцию как реакцию на стимул. Эти чувства также могут навеиваться окружающей обстановкой, безрадостной или однообразной. Ср.:

- (75a) *Этот постоянный дождь <этот уродливый индустриальный пейзаж> наводит тоску;*  
(75b) *This perpetual rain <this ugly industrial landscape> gives me the blues.*

<sup>2</sup> Этот список можно продолжить и другими единицами: поэт. *грусть-тоска*, книжн. *хандра*, книжн. *меланхолия*, однако здесь нас в первую очередь интересуют наиболее живые и частотные слова современного языка.

<sup>3</sup> В английском существует еще большее число слов, способных выражать этот тип 'грусти', однако большая их часть также неупотребительна, устарела (устар. *spleen* 'хандра') или относится к книжному регистру (книжн. *melancholy*).

У *тоски* и *blues* есть и другие общие характеристики, помимо способности появляться беспричинно или под воздействием угнетающей, мрачной, унылой, однообразной обстановки. Сама природа чувства в этих двух эмоциях до какой-то степени сближается; так, и *тоска* и *blues* могут указывать на подавленность, отсутствие жизненной энергии и желания жить, безверие и безнадежность. Ср.: *безнадежная* <черная, отчаянная> *тоска* и *hopeless* <*black, desperate*> *blues*; *Страстная жажда такого друга сопровождалась по временам приступами такой отчаянной тоски, что я выходил на улицу совсем как пьяный, в этом состоянии меня тянуло нечаянно броситься под трамвай* (М.М. Пришвин, В.Д. Пришвина); *И так становятся понятными те вопли отчаянной тоски и падения веры в свое дело, которыми полны интимные письма сильнейших представителей науки* (В.В. Вересаев).

При этом *тоска* в целом описывает более сильное и острое чувство, чем *blues*. Если *blues* – это достаточно ровная эмоция, без особых всплесков, подобная постоянной тупой боли или же душевному оцепенению и онемению, или, выражаясь еще более метафорически, серому беспросветному дню, то *тоска* может переживаться намного более сильно и остро. *Blues* не может быть *violent* ‘сильной, страстной’, не требует непременных проявлений в поведении и выражается скорее в апатии и отсутствии интереса к окружающему; *тоска*, напротив, часто бывает *жгучей* и *острой*. Мрачность *тоски* подчеркивается и ее цветовой символикой: *черная* <*беспросветная*> *тоска*.

Хотя *тоска*, особенно беспричинная или вызванная безрадостным окружением, тоже часто ассоциируется с монотонностью и серой беспросветностью (что сближает ее со *скукой*), в некоторых случаях она бывает очень сильным, страстным и болезненным чувством, особенно если она вызвана какими-то плохими событиями. В этих случаях *тоска* может иметь самые разные, часто самодеструктивные проявления в физиологии и поведении: *сохнуть* <*умирать*> *от тоски*, *запить с тоски*, *повеситься с тоски*, что невозможно для *blues*. Хотя *blues* тоже может вызываться плохими событиями (например, разрывом с любимым человеком), однако даже в этих случаях природа чувства и его характеристики отличаются от того, что предполагается *тоской*.

Перечисленные прототипические ситуации возникновения (беспричинно; под воздействием угнетающей, мрачной, унылой, беспросветной, однообразной обстановки; в результате какого-то плохого события) не исчерпывают всех возможных сценариев возникновения этих эмоций. Они лишь характеризуют зону их пересечения.

*Тоска*, слово с очень богатым значением, может описывать ряд самых разных ситуаций и оттенков эмоции; ср.: *тоска* <*тосковать*> *по любимому* <*по детям*>, где в фокусе внимания находится компонент ‘не хватает любимого человека’, чему в английском соответствует не *blues*, а *longing* и *yearning*; *тоска* <*тосковать*> *по родине* <*по дому*> ‘не хватает любимого места’, чему в английском соответствует не *blues*, а скорее *homesickness*. Ср., впрочем, *homesick blues*, что, по-видимому, является вполне точным соответствием выражению *тоска по родине*.

Разброс употреблений слова *тоска* очень велик, и, безусловно, каждое употребление характеризуется собственными сочетаемостными и конструктивными свойствами; так, *сохнут* обычно от *любвонной тоски*, *тоска по родине* не бывает \**беспросветной*, а конструкция *тосковать по кому-л.* <*чему-л.*> возможна только для *тоски*-‘ностальгии’, которая вызывается разлукой с объектом чувства. Однако все эти употребления отражают некоторый общий аффективный компонент, благодаря чему их можно объединить в одно значение. Этот компонент присутствует также в значении слова *blues* и сводится к ощущению безнадежности и подавленности, что сближает обе эти эмоции с *depression*. Это в большей степени характерно для слова *blues*, которое даже употребляется терминологически, например, в выражениях типа *baby blues*, *postpartum blues* ‘послеродовая депрессия’; *Judy Downie talked to her family doctor about feeling blue during the early months of her son's life* ‘Джуди Дауни говорила со своим семейным доктором о депрессии, которая у нее была в первые месяцы жизни ее сына’.

Предлагаемое ниже определение не является ни определением собственно *тоски* (которая была блестяще описана Анной Вежбицкой в работе [Wierzbicka 1990]), ни эмо-

ции *blues*, но их пересечением, тем общим, что у них есть, и таким образом, представляет собой некую «болванку» эмоционального подтипа потенциально беспричинной 'грусти', на которую каждый язык «наращивает» свои специфические особенности. Это пересечение эксплицируется следующим образом:

- (76) 'X ничего не хочет и не может делать; X чувствует, что ничего хорошего не может произойти; X чувствует что-то очень плохое; X чувствует так либо без причины, либо потому, что он не может быть с теми, с кем ему хорошо, или там, где ему хорошо, или потому, что с ним не происходит ничего хорошего'.

Завершают картину 'грусти' ее «клинические» подтипы *depression* и *депрессия*. Подобно тому, как это происходит со 'страхом', чрезмерные формы немотивированной 'грусти' воспринимаются не просто как отклоняющиеся от нормы, но как болезненные. Хотя основной круг контекстов употребления этих слов терминологический, однако они широко употребляются и в повседневной речи как обозначение плохого настроения (возможно, беспричинного), наравне со сленговым русским *депрессняк* (*Опять депресняк накатил*) и разговорным английским *to feel low: I'm feeling kinda low today* 'У меня сегодня что-то плохое настроение'.

Суммируя сказанное, отметим, что хотя индивидуальные различия между словами в двух языках могут быть ожидаемо значительными, в целом «концептуальные карты» 'грусти' в русском и английском различаются не столь уж сильно, а именно, можно выделить сходные подтипы 'грусти'. В целом, как и в случае многих других эмоций, в английском языке концептуальное поле заполнено большим количеством слов, чем в русском. Специфика кластера 'грусть' в русском языке состоит в том, что принадлежащее ему слово *тоска* является на самом деле пограничным термином, покрывающим территории трех кластеров: 'грусть', 'скука', 'ностальгия' ('ощущение нехватки отсутствующего человека или объекта'), в то время как в остальных рассмотренных кластерах пограничные эмоции типичны скорее для английского.

#### 2.3.4. Кластер 'радость' в русском и английском языках

С лингвистической точки зрения 'грусть' и 'радость' представляются антонимичными; ср. прототипические ситуации возникновения эмоций *грустно* и *sad*, с одной стороны, и *рад* и *glad*, с другой:

- (77a) *X feels sad*, *X-у грустно* = 'произошло что-то плохое; X ничего не может сделать; X чувствует что-то плохое'

vs.

- (77b) *X is happy*, *X рад* = 'произошло что-то хорошее; X чувствует что-то хорошее'.

Из-за антонимичности концептов было бы естественно ожидать, наряду с очевидными различиями, также и определенного сходства в лингвистическом устройстве кластеров 'грусть' и 'радость', как это обычно свойственно семантически близким классам слов, таким как синонимы и антонимы (хотя антонимам, безусловно, в меньшей степени). Однако в отличие от многих других антонимичных рядов (ср., например, параллелизм многих лингвистических свойств у антонимичных глаголов передвижения типа *войти/выйти*), антонимичные эмоциональные кластеры типа 'грусть' – 'радость', 'стыд' – 'гордость' устроены по-разному. По-видимому, устройство эмоциональных кластеров в большей степени определяется психологическими свойствами соответствующих эмоций, нежели чисто лингвистическими факторами. Так, скажем, с нейропсихологической точки зрения между страхом и отвращением мало общего – они «локализованы» в разных частях мозга и физиологически также очень различно проявляются. При этом лингвистически они во многом близки: при разной метафорической концептуализации

(которая в большой степени отражает разницу в их физиологических проявлениях) в толкованиях лексики 'страха' и 'отвращения' есть значительная пересекающаяся часть, так как слова обоих кластеров описывают нежелание контакта с некоторым объектом и попытку избежать его.

Тем не менее, между кластерами 'радость' и 'грусть' существуют некоторые пересечения. Оба кластера четко структурированы в соответствии с серьезностью, масштабностью стимула и интенсивностью, длительностью чувства, при этом между первым и вторым нет обязательной корреляции.

В обоих языках выделяется несколько типов радости. Самый общий тип 'радости' выражается в русском языке словами *радость* и *радостно*, в некоторой степени глаголом *радоваться* (хотя он также указывает на внешние проявления чувства) и прилагательным *рад*, а в английском – существительным *joy* 'радость' и прилагательным *happy* 'радостный, счастливый'. Последнее семантически ближе русскому прилагательному *рад* (или *счастлив* в речевых контекстах типа *Я счастлив вас видеть*), чем к обозначающему гораздо более глубокую и серьезную эмоцию прилагательному *счастливый*.

Этот тип 'радости' может вызываться любыми стимулами, а также может возникать беспричинно; эта 'радость' может быть как сильной, так и слабой, может быть благожелательной и недоброжелательной, может вызываться личными причинами или испытываться «за» другого человека: *радость от любого пустяка* и *joy at mere trifle*; *радость первой любви* и *joy of the first love*; *мимолетная радость* и *fleeting joy*; *глубокая радость* и *profound joy*; *радость за друга* и *joy for one's friend*; *злая радость* и *malicious joy*; *Глаза светятся радостью* и *One's eyes are alight with joy*; *Глаза горели злобной радостью* и *One's eyes are blazing with vicious joy*.

Ср. также *I'm happy that my exams are over* и *Я рада, что у меня закончились экзамены* (незначительный стимул); *When she finally agreed to marry him, his joy knew no limits* и *Когда она наконец-то согласилась выйти за него замуж, его радость была безгранична* (значительный стимул); *I feel happy today* и *Сегодня радостно на душе* (стимула нет). Этот тип 'радости' эксплицируется следующим образом:

(78) 'X чувствует что-то очень хорошее, обычно потому, что произошло что-то очень хорошее'<sup>4</sup>.

Следующий подтип 'радости' – это умеренная радость от хороших, но не слишком значительных событий. Она выражается кратким прилагательным *рад* в русском языке и прилагательным *glad* в английском: *Я рад, что вы пришли* и *I'm glad you could come*, но не <sup>??</sup>*Он был рад, что его сын выжил* и <sup>??</sup>*He was glad his son has survived*. Эта 'радость' не бывает беспричинной (ср. невозможность *\*Я почему-то рад*; *\*I'm glad, I don't know why*) и эксплицируется следующим образом:

(79) 'произошло что-то очень хорошее; X чувствует что-то очень хорошее'.

Есть еще одна разновидность умеренной 'радости', в которой доля чувства невелика, однако присутствует рациональное удовлетворение от достижения некоторых целей или исполнения планов и ожиданий. Она выражается словами *удовлетворение, доволен, satisfaction, content, pleased*. Поскольку доля чувства в этих состояниях невелика, они не употребляются в ситуациях, предполагающих эмоциональную реакцию; ср. странность:

(80a) <sup>??</sup>*Я удовлетворен, что она согласилась выйти за меня замуж*;

(80b) <sup>??</sup>*I'm satisfied she agreed to marry me*.

<sup>4</sup> Этот элемент является факультативным, возможно, он имеет статус слабого смысла, так как *радость, happy* и прочие состояния этого подтипа 'радости' могут быть беспричинными. Указание на беспричинность не включается, однако, в толкование в виде дизъюнкции, в отличие от того, как это делалось для *тоски* и *blues*, так как прототипическая *радость* все-таки имеет причину, в отличие от прототипической *тоски*, которая ближе к настроениям и чаще бывает беспричинной.

Эти фразы были бы уместны только в том случае, если бы говорящий планировал брак по расчету. Однако стимул для такого рода 'радости' может быть и весьма значительным; ср.:

- (81a) *Обе стороны удовлетворены ходом мирных переговоров;*  
(81b) *Both parties are satisfied with the peace talks.*

Это чувство эксплицируется следующим образом:

- (82) 'Произошло нечто, чего хотел X; X думает, что это хорошо; X чувствует что-то хорошее от этого'.

Комбинация достигнутых целей и сильного чувства составляет еще один подтип 'радости', выражаемый словами *ликовать* и *glee* 'ликование', *gleeful* 'ликующий'. Интенсивность чувства так велика, что экспериенсер не может ее сдержать; соответственно, все эти слова указывают не только на чувство, но и на его внешние проявления; ср. *громко ликовать*, *loud glee* 'громкое ликование'.

Это чувство эксплицируется следующим образом:

- (83) 'Произошло нечто, чего очень хотел X; X чувствует что-то очень хорошее от этого; X не может скрыть, что он чувствует'.

Когда человек достигает всего, чего он хотел и о чем он мечтал, так что даже не остается простора для дальнейших желаний, он испытывает *счастье* или *happiness* (прилагательные *счастливым* и *happy* также могут использоваться для выражения этой эмоции). По очевидным причинам это самое длительное из эмоциональных состояний в кластере 'радость' (см. об этой эмоции [Wierzbicka 1999: 51–54]). Это чувство эксплицируется следующим образом:

- (84) 'Произошло нечто, чего очень хотел X; X чувствует что-то очень хорошее от этого; в этот момент X не хочет ничего другого'.

*Счастье* и *happiness* не вечны, но, в отличие от других эмоциональных состояний этого кластера, могут быть долгими; ср.: *Все эти годы они были счастливы* и *They have been happy all those years*, при странности *Все эти годы они были рады <довольны>*, *All those years they have been glad <content>*.

Высшая форма счастья – *блаженство*, *bliss* – эмоциональное состояние, настолько полное и совершенное, что оно редко возникает в обычных условиях земного существования; ср.: *райское блаженство*, *the bliss of paradise*. Для слов *блаженство* и *bliss* возможно и ослабленное употребление; ср.: *Наевшись, я ощутил полное блаженство*; *physical bliss* 'физическое блаженство', однако и в ослабленных употреблениях они характеризуют состояния полного удовлетворения, поскольку ничто лучшее невозможно; ср. экспликацию этого типа эмоции:

- (85) 'Произошло все, чего хотел X; от этого X чувствует что-то такое хорошее, что невозможно чувствовать что-то лучшее; в этот момент у X-а есть все, чего он может хотеть'.

В обоих языках представлен тип злобной 'радости': *злорадство* и *gloating*. Неудивительно, что оба слова указывают на отрицательную оценку чувства говорящим.

Этот тип 'радости' эксплицируется следующим образом:

- (86) 'С человеком Y произошло что-то плохое; от этого X чувствует что-то хорошее; говорящий думает, что это плохо'.

*Злорадство* и *gloating* отличаются от прочих типов 'радости' не только тем, что вызываются плохим событием, но и тем, что они персонализированы, направлены на ка-

кого-то конкретного человека или людей. Если *радость*, *довольство*, *удовлетворение*, *блаженство* могут вызываться любыми событиями, даже не связанными с конкретным человеком или людьми (ср.: *радость по поводу окончания экономического кризиса*), то *злорадство* и *gloating* в первую очередь предполагают личную неприязнь к какому-то человеку или группе людей и, соответственно, радость по поводу несчастья этого человека или людей; ср. странность *'злорадство по поводу глобального потепления*, при том, что возможно *злорадство по поводу взрыва башен в Нью-Йорке*.

В обоих языках представлена 'радость'-всеселье. Стимулом к этому чувству служат не просто хорошие события, а забавные, интересные, смешные события, которые вызывают смех и хорошее настроение. В английском есть несколько выражений, покрывающих данную часть концептуальной карты 'радости' – это *mirth* 'веселье, радость', *cheer* 'веселье', *merry* 'веселый, радостный', *fun* 'веселье' и их дериваты; в русском этот смысл выражается безличным предикативом *весело*, прилагательным *веселый*, существительным *веселье*, глаголом *веселиться*. Внутри этого подтипа 'радости' существуют определенные градации: так, русские *весело*, *веселье* и английские *mirth*, *cheer* и *merry* выражают скорее настроение, чем эмоцию, и в этом качестве не требуют мотивации и стимула; ср.: *Просто мне весело*; *беспричинное веселье*; *Today, I'm cheerful*; *causeless mirth*. Английские *cheer* и его дериваты подчеркивают хорошее настроение, готовность радоваться и смеяться, в то время как *mirth* скорее подчеркивает внешние аспекты такого настроения – смех, часто неконтролируемый; ср.: *a fit of mirth* 'приступ веселья'. *Unmotivated, causeless mirth* 'беспричинное веселье' может даже временами оцениваться как что-то, выходящее за грань нормы и не вполне здоровое, тогда как *cheer* обычно оценивается положительно.

*Веселье* и *merriment* соединяют оба аспекта: и легкое, беззаботное чувство, и связанное с ним поведение – смех и оживление.

Этот тип 'радости' эксплицируется следующим образом:

(87) 'X чувствует что-то хорошее; X хочет смеяться'.

В этом подтипе эмоции 'радость' есть один специфический концепт – *fun*, для которого в русском языке существует несколько переводов, каждый из которых акцентирует какой-то один аспект этого семантически сложного слова: *весело*, *забавно*, *интересно*. Эти слова, однако, не исчерпывают смысла слова *fun*, основные ситуации употребления которого в выражениях типа *to be fun*, *to have fun*, *It's fun* <*He's fun*>, *a fun thing* <*person*>, *for the fun of it* можно суммировать следующим образом:

– человек испытывает *fun*, когда он наблюдает или делает что-то интересное; в этом отношении *fun* противопоставлен *boredom* 'скуке' и напоминает русские *забавно*, *интересно*: *He's fun*, *This film was fun*;

– человек испытывает *fun*, когда он делает что-то смешное или веселое; в этом отношении *fun* напоминает русское *веселье* или *кайф*: *We had a lot of fun* vs. *Мы славно повеселились*, *Мы словили кайф*.

*Fun* предполагает легкое, простое, не слишком серьезное и глубокое отношение к ситуации; поэтому, например, политическая сатира, хотя она может быть *funny* 'смешной' или *hilarious* 'очень смешной', не может быть описана как *fun*; счастливая встреча после долгой разлуки может вызвать *веселье*, *cheer*, *merriment*, но не вызовет ощущение *fun*, поскольку предполагает глубокие чувства, несовместимые с легкомысленным и поверхностным чувством *fun*. Хотя слово *fun* не является абсолютно непереводаемым, тем не менее это весьма специфический концепт, который нелегко передать средствами другого языка. Поэтому, в частности, это слово часто вводится русскими эмигрантами, а также интернет-пользователями в русскую речь, чтобы заполнить явно существующую в русской концептуальной карте 'радости' лауну; ср.: *He советую этот сайт – много фана не получишь*.

В английском есть еще один тип 'радости', который не имеет близкого коррелята в русском, а именно *excitement* 'возбуждение', *excited* 'возбужденный'. Хотя эти слова

могут описывать любое нервное возбуждение и волнение, в том числе неприятное, однако у них, особенно у прилагательного *excited*, безусловно, есть очень распространенное употребление, в котором они указывают на положительную эмоцию:

- (88) *I'm so excited to get this role*  
'Я очень рада, что получила эту роль';  
(89) *The kids are excited about going to the Disney World*  
'Дети в восторге от предполагаемой поездки в Диснейленд'.

Ее можно охарактеризовать как радостное возбуждение, часто слегка нетерпеливое предвкушение чего-то приятного, или же радость и волнение по поводу чего-то хорошего, что уже произошло, смешанное с ожиданием дальнейших приятных событий:

- (90) *I'm excited that he came*  
'Я рада, что он прискал'.

Это чувство может быть эксплицировано следующим образом:

- (91) 'Произошло или произойдет что-то хорошее; X волнуется и чувствует что-то хорошее от этого'.

В русском языке не существует синтетического способа выражения подобной эмоции и требуется прибегать к комбинациям слов, чтобы ее выразить; ср.: *радостное возбуждение, радостное волнение*, которые далеко не так распространены и употребительны, как практически клишированное английское *excited*.

В обоих языках есть заимствованный концепт *euphoria*, или *эйфория*, обозначающий чрезмерную и поэтому слегка негативно оцениваемую степень чувства. Хотя в случае 'страха', 'гнева', 'гордости', 'обиды', 'грусти' чрезмерная степень чувства оценивается еще более негативно, однако и эйфория, являясь слишком сильной, не всегда обоснованной эмоцией, лишаящей человека способности здраво и объективно мыслить, представляет негативный полюс в кластере 'радость'.

Общее различие между английским и русским языками заметно и на примере кластера 'радость': безличные предикативы типа *весело* и *радостно* выражают внутреннее состояние, глаголы типа *веселиться* и *радоваться* указывают на внешние проявления эмоций; ср.: *безудержно веселиться, бурно ликовать, шумно радоваться*. В английском аналогичных глаголов нет, соответствующие смыслы выражаются комбинациями слов; ср.: *to make merry, to be having fun* 'веселиться', *to have unrestrained fun, to lark about* 'безудержно веселиться', *to express one's joy noisily* 'шумно радоваться', *to be boisterously gleeful, to express one's glee exuberantly* 'бурно ликовать'.

В целом концептуальные карты 'радости' в русском и английском языках сильно пересекаются, однако некоторые существенные элементы спектра 'радости' различаются, в частности, в русском не представлены важные концепты поверхностной легкой 'радости' (*fun*) и 'радости'-возбуждения (*excited*).

### 2.3.5. Кластер 'отвращение' в русском и английском языках

Хотя 'отвращение' стоит особняком среди прочих эмоций и с нейробиологической, и с лингвистической точки зрения, в устройстве кластера 'отвращение' просматриваются некоторые общие для всех групп эмоций семантические тенденции. А именно, как и у всех остальных эмоций, в кластере 'отвращение' представлено различие по интенсивности. В обоих языках отражена «нейтральная», естественная степень 'отвращения'. Ср. «умеренное» чувство, выражаемое словами *отвращение, disgust, distaste, aversion* и очень сильное чувство, выражаемое словами *омерзение, revulsion, repulsion, abhorrence, loathing*.

‘Отвращение’ – одна из наиболее четко локализованных в мозгу эмоций, ее локусом считается инсула. ‘Отвращение’ также имеет одну из наиболее четко идентифицируемых эволюционных функций, а именно, оно предполагает попытку избежать контакта с теми объектами, которые воспринимаются как несъедобные, заразные или способные каким-то иным образом повредить экспериенсеру. Физиологически ‘отвращение’ также имеет явные и специфичные проявления: вызывает тошноту или рвоту и ассоциируется с определенными гримасами, например, сморщиванием лица. Физиология ‘отвращения’ тесно связана с его эволюционной функцией, как, впрочем, и физиология ‘страха’ и ‘гнева’ [Ekman 1999]. Психологи различают два типа ‘отвращения’: моральное и физическое, которые, впрочем, не различаются с нейрологической точки зрения, поскольку имеют одинаковую локализацию [Calder et al. 2001]. Однако в любом случае, типов ‘отвращения’ намного меньше, чем типов других базовых эмоций, а именно, ‘страха’, ‘радости’, ‘грусти’, ‘гнева’, да и не только базовых (как показано ниже, ‘стыд’, ‘обида’, ‘жалость’ также представлены намного большим количеством типов), и язык это отражает.

В некотором смысле, язык (как и мозг) не различает физическое и моральное отвращение: во всяком случае, ни в русском, ни в английском нет специализированной лексики для того или иного типа ‘отвращения’. Все метафорические способы выражения морального отвращения основаны на реальных проявлениях физиологического отвращения; ср.: *Меня от этого человека мутит, Меня тошнит от его поведения* и *This person makes me sick, I find his behavior nauseating*. Кроме того, все слова со значением ‘отвращения’ могут использоваться для описания чувства, вызываемого как физическими, так и моральными стимулами, то есть чувства собственно физического, ощущения тошноты, и чувства морального, не связанного с физиологическими проявлениями; ср.: *отвратительный человек* и *disgusting person* vs. *отвратительная еда* и *disgusting food*. Эта полисемия пронизывает весь кластер ‘отвращение’; ср., например, каузацию ‘отвращения’: и физически, и морально отвратительные объекты могут быть охарактеризованы как *тошнотворный, гадкий, revolting, sickening, unpalatable*.

*Омерзение* и *отвращение* несколько чаще появляются в «моральных» контекстах; так, в 100 случайно отобранных примерах из НКРЯ в 65 речь шла о моральном *отвращении* <омерзении> и только в 35 – о физическом. *Гадливость*, которая на первый взгляд описывает скорее физическое чувство, также в реальном употреблении чаще встречается в «моральных» контекстах, хотя и в немного другом соотношении: 40 «физических» контекстов к 60 «моральным» из ста. Однако, поскольку на основе корпусных данных можно сказать, что «моральное» отвращение в целом преобладает над «физическим» по частоте употреблений, то невозможно делать никаких выводов о специализации тех или иных слов для выражения того или иного вида ‘отвращения’ – все слова полисемичны или, что еще более вероятно, не выделяют эти два вида ‘отвращения’ в отдельные значения.

Английский язык на первый взгляд кажется несколько более специализированным в отношении этого разграничения, ср. например, слово *distaste*, которое, по крайней мере, этимологически, указывает на физиологическое ощущение от неприятного вкуса, и слово *repugnance*, которое ассоциируется с моральным отвращением. Однако и словарные [НБАРС], и корпусные (BNC, COCA) данные указывают на то, что для обоих слов возможны и «моральные», и «физические» контексты, причем первые, хотя и в разной пропорции, предпочтительны для обоих. Таким образом, представляется, что семантическая структура всех слов со значением ‘отвращения’ включает указание на оба компонента – физический и моральный. Ее можно эксплицировать следующим образом:

- (92) ‘X думает, что Y очень неприятный на вкус или на ощупь, или обладает очень неприятным запахом, или очень грязный, или очень плохой; X не хочет быть в контакте с Y-ом; когда X в контакте с Y-ом, X чувствует что-то очень плохое; X может чувствовать тошноту, когда он в контакте с Y-ом’.

Несмотря на большое сходство концептуальных карт 'отвращения' в русском и английском языках, английское 'отвращение' тем не менее более разнообразно. Как и другие эмоциональные кластеры в английском, 'отвращение' богато пограничными терминами; ср. 'отвращение', смешанное со 'страхом' – *creepy* 'вызывающий гадливость или ужас', сильное 'отвращение', смешанное с 'ненавистью' – *to abhor, to loathe, to detest* 'ненавидеть, питать отвращение'. В русском таких пограничных терминов нет. Кроме того, в английском есть специальный термин для болезненной формы 'отвращения' – *aversion*, который наряду с нейтральными употреблениями используется и для выражения нездорового неприятия, отвращения, особенно к еде; ср.: *food aversion* 'отказ от приема пищи, неприятие пищи'.

Интересно, что в обоих языках отсутствие некоторого здорового количества 'отвращения' оценивается отрицательно; так, слова *всеядный* и *omnivorous* в переносных употреблениях обозначают определенную моральную неразборчивость. Однако чрезмерная степень 'отвращения' также представляется слегка нежелательной; *брезгливость* и *squeamishness* имеют несколько отрицательную оценку, которая намного более явственна в случае физической брезгливости; ср.: *Она брезгливо поморщилась при виде раненого; Маленькие дети вызывали у него брезгливость*. При этом моральная брезгливость – скорее положительное качество, противоположное *всеядности*. Это не удивительно, если принять во внимание тот факт, что моральное отвращение является одной из общепризнанных моральных эмоций («moral emotions»), регулирующих этическое поведение человека, наряду со стыдом, чувством вины и гневом [Stets, Turner 2008: 500].

### 2.3.6. Кластер 'жалость' в русском и английском языках

Русская *жалость*, по мнению многих исследователей, является уникально русской эмоцией; см. об этом раздел 1.1 данной работы, а также [Wierzbicka 1992, Левонтина 2004]. Отношение к жалости как к культурно-специфичной эмоции во многом идет от русской религиозной философии (см. [Федотов 1992]). Ср. также психологическое исследование [Rancour-Laferriere 1995] о важной роли жалости в русской культуре, которую автор объясняет существованием особого «мазохистского» русского психотипа.

Однако современное словоупотребление указывает на несколько иной семантический образ *жалости*, существенно более близкий английской *pity*, особенно если рассматривать его в контексте всего кластера 'жалость'. Хотя *жалость* и *pity* не являются точными эквивалентами и каждое слово в этом кластере обладает семантическими и сочетаемостными особенностями, различия между кластерами 'жалости' в русском и английском не больше, чем различия между русским и английским 'гневом', 'страхом' и пр. В большинстве случаев при переводе с одного языка на другой возможно не только передать общее значение слов кластера 'жалость', но и дать дословный перевод.

В целом концептуальные карты 'жалости' в двух языках достаточно похожи. Оба языка различают «объективную» и «субъективную» 'жалость': первая возникает, когда объект эмоции действительно страдает и осознает свое страдание как таковое, в то время как вторая возникает, когда экспериенсер считает, что объект эмоции страдает или находится в плохой ситуации, причем сам объект может этого не осознавать и не соглашаться с такой оценкой.

«Объективная» 'жалость' выражается словами *сострадание, сочувствие, участие*, а также *compassion* 'сострадание', *sympathy* 'сочувствие', *concern* 'участие', *to feel for smb.* 'сочувствовать кому-л.'

«Субъективная» 'жалость' выражается словами *жалость, жалеть, жалко, жаль*, а также *pity* 'жалость', *to pity* 'жалеть' и *sorry* 'жалко, жаль'.

Ср.: *Мне его жалко <жаль> – он такой дурак* и *I pity him – he is such a fool*; при неадекватности \**Я ему сочувствую – он такой дурак* и \**I have compassion <sympathy> for him – he's such a fool*. Это не значит, что *жалость* невозможна, когда объект эмоции действительно страдает, однако реальное страдание не является для нее необходимым условием.

Наиболее нейтральным обозначением субъективной 'жалости' являются русские *жаль*, *жалко* и английское *sorry*. Они выражают идею общего сожаления о том, что некто, с точки зрения экспериенсера, находится в плохой ситуации. Этот тип нейтральной 'жалости' эксплицируется следующим образом:

(93) 'X думает, что Y находится в плохой ситуации; X чувствует что-то плохое от этого'.

Все эти слова допускают наличие существенной эмоциональной дистанции между объектом и экспериенсером, и поэтому для них возможно абсолютное употребление, вообще без указания объекта эмоции; ср.: *Мне так жаль*; *Очень жалко*; *I'm so sorry*. В отличие от *жалости*, *сострадания*, *участия*, а также *pity*, *compassion*, *concern*, *жаль*, *жалко* и *sorry* не предполагают со стороны экспериенсера активного желания помочь.

*Жалость* и *pity* являются более сильной разновидностью субъективной 'жалости'. В отличие от *жаль*, *жалко* и *sorry*, они указывают не только на переживание экспериенсера из-за того, что кто-то находится в плохой, с его точки зрения, ситуации, но и на хорошее отношение к объекту эмоции, на желание как-то исправить ситуацию; ср.: *нежная жалость* и *tender pity*, *сделать что-л. из жалости* и *to do something out of pity*.

Однако *pity* и *жалость* описывают, вероятно, самый широкий диапазон эмоций – от нежной и временами болезненной эмоции, которая в психологии иногда называется «benevolent pity» 'благожелательная жалость' (ср.: *растаять от жалости* и *to melt with pity*, *плакать от жалости* и *to cry with pity*, *жгучая жалость* и *painful pity*, *пронзительная жалость* и *heart-piercing pity*), до холодного и презрительного чувства, неприятного и унижительного для объекта (*презрительная жалость* и *contemptuous pity*, *унижительная жалость* и *humiliating pity*, *холодная жалость* и *cold pity*). «Благожелательную» жалость испытывают к тем, к кому хорошо относятся, и плохая ситуация, в которой находится объект эмоции, усиливает это хорошее отношение; *унижительную жалость* испытывают к тем, к кому изначально относятся плохо, причем та плохая ситуация, в которой находится объект эмоции, только усиливает это плохое отношение, потому что экспериенсер считает эту ситуацию не результатом неблагоприятных обстоятельств, а следствием собственных ошибок объекта.

*Pity* и *жалость* могут вызываться чьим-то сильным страданием, но могут возникать и без всякого внешнего стимула, только потому, что экспериенсер считает, что объект эмоции находится в плохой ситуации, причем сам объект может не разделять эту точку зрения; ср.: *испытывать жалость к голодным детям* и *to feel pity for the hungry children*; *Я испытываю жалость к этому идиоту* и *I feel pity for this idiot*.

*Pity* и *жалость* могут также быть направлены на самого экспериенсера: *self-pity*, *жалость к себе*.

В целом этот тип чувства эксплицируется следующим образом:

(94) 'X думает, что Y находится в плохой ситуации; X не хочет, чтобы Y был в плохой ситуации; X чувствует что-то плохое от этого; X может чувствовать что-то хорошее к Y-у; X может хотеть сделать что-то хорошее для Y-а'.

*Pity* и *жалость* концептуализуются как фундаментальная человеческая способность, отсутствие которой представляется существенным отклонением от нормы. Человек, не чувствующий жалости в определенных обстоятельствах, воспринимается как жестокий и холодный; ср.: *безжалостный* и *pitiless*. Интересно, что излишек жалости может оцениваться отрицательно, особенно в английском, хотя и в существенно меньшей степени, чем излишек страха, гнева, грусти и пр.; ср. ироническую окраску такого выражения как *bleeding heart* букв. 'кровоточащее сердце', которое часто используется в отношении людей непрактичных, неуместно жалостливых, нереалистичных, чрезмерно склонных бросаться на помощь или извинять чужие недостатки: *an idealistic bleeding heart liberal* 'излишне мягкий идеалист – либерал'. В русском языке отрицательная оценка излишней жалости представлена в гораздо меньшей степени, однако в некоторых кон-

текстах русские слова *жалостливый* и *сердобольный* могут указывать на отрицательно оцениваемый избыток жалости: *болезненно жалостливый; Ему нельзя пить, но сердобольные друзья всегда наливают; Впоследствии он [ребенок] будет лениться и перекладывать основную часть своих заданий на сердобольных родителей* (А. Луговская).

*Pity* и *жалость* – весьма близкие корреляты и в то же время слова с достаточно широким значением; их семантические дериваты, напротив, семантически специализированы. Так, например, прилагательные *жалкий* и *pitiful* обычно используются для обозначения объектов, вызывающих презрительную жалость, в то время как прилагательные *жалобный* и *piteous* используются для обозначения поведений, целью которых является вызывать благожелательную жалость. С другой стороны, их семантические дериваты гораздо больше различаются в межъязыковом отношении; ср. например, глаголы *жалеть* и *to pity*. Если существительные *жалость* и *pity* используются для обозначения обоих видов жалости, то английский глагол *to pity* чаще встречается в контекстах презрительной жалости, в то время как русский глагол *жалеть* более характерен в контекстах благожелательной жалости; ср.: *He pities her vs. Он ее жалеет*. Английская фраза описывает чувство, и не слишком доброе, а русская фраза описывает не только хорошее отношение, но и его проявления в поведении. Так, русское *жалеть* может значить ‘щадить’, особенно в совершенном виде; ср.: *Он его пожалел и отпустил* = ‘Он его пощадил и отпустил’. В некоторых контекстах, в частности в детской речи, *пожалеть* может интерпретироваться как ‘утешить’ (ср.: *Пожалей меня; Если ребенок ударился, ему хочется, чтобы его пожалели*), иногда даже ‘погладить’ (ср.: в детской речи *Пожалей мне ручку*). Это не значит, что в английском нет концепта благожелательной жалости; просто в русском этот вид жалости выражается и существительным, и глаголом, а в английском только существительным.

Слово *compassion* и его дериваты, а также его русский аналог *сострадание* и его дериваты выражают идею совместного переживания чьего-то реального страдания, хорошее отношение к этому человеку и желание ему помочь. При этом, безусловно, экспириенсер переживает чувства объекта лишь отчасти: чье-то реальное страдание и чье-то со-страдание кому-либо не эквивалентны.

Русское *сострадание* указывает на большую объективную степень страдания объекта эмоции, чем его английский коррелят *compassion*. *Compassion*, в особенности в сочетании *to have compassion* ‘сострадать, иметь сострадание к кому-л., сжалиться’, используется в контекстах, в которых по-русски был бы употреблен глагол *жалеть* или существительное *жалость*; ср.: *Turn the TV down a bit, have some compassion for me* ‘Сделай телевизор потише, *пожалей* меня’, но не ‘Сделай телевизор потише, прояви ко мне *сострадание*’. Таким образом, английские *pity* и *compassion* вместе «покрывают» часть концептуальной карты, занимаемую в русском тремя словами: *жалеть*, *жалость* и *сострадание*.

В целом этот вид чувства может быть выражен следующим образом:

- (95) ‘У находится в плохой ситуации и чувствует что-то плохое; Х отчасти чувствует, что чувствует У; Х чувствует что-то плохое; Х чувствует что-то хорошее к У-у; Х хочет сделать что-то хорошее для У-а’.

В обоих языках также присутствует концепт со-чувствования, понимания ситуации, в которой находится объект эмоции, и его чувств, хорошее отношение к нему, и при этом необязательность непрямого участия, желания помочь. Выражающие этот концепт слова *сочувствие* и *sympathy* предполагают обычно вербальное выражение эмоции, но не поведенческое; ср.: *выразить сочувствие* и *to express one's sympathy*, но не ‘сделать что-л. из сочувствия’ и ‘*to do something out of sympathy*, при том, что возможно и естественно *делать что-л. из жалости <сострадания>* и *out of pity <out of compassion>*’.

В целом этот тип чувства эксплицируется следующим образом:

- (96) ‘У находится в плохой ситуации; Х понимает, что чувствует У; Х чувствует что-то плохое; Х чувствует что-то хорошее к У-у’.

Еще более поверхностный вид ‘жалости’ – это ритуальное выражение сочувствия человеку, у которого умер кто-то близкий; ср. слова *соболезнования* и *condolences* в стандартных фразах *Примите мои соболезнования* и *Accept my condolences* (стандартно употребление этих существительных во множественном числе).

Как видно из уже сказанного, концептуальные карты русской и английской ‘жалости’ во многом совпадают, если и не дословно, что было бы невозможно, то по крайней мере, в типах чувств, которые были выделены и концептуализованы в этом кластере. Однако есть области, в которых они различаются. А именно, в английском есть важный концепт *empathy*, который подразумевает всякое сопереживание, не только сопереживание страданию (см. [Jabbi et al. 2007] о нейропсихологии эмпатии и о проецировании положительных и отрицательных ощущений объектов эмоции на собственные ощущения экспериенсера). «Ненаучным» обозначением этого состояния служит *fellow feeling* ‘сочувствие, симпатия’. В русском эта разновидность чувства представлена в несколько меньшей мере; хотя русским языком заимствовано слово *эмпатия*, его употребление ограничено терминологическими контекстами, а что касается слова *сопереживание*, то оно носит явно книжный характер и малоупотребительно.

Может возникнуть вопрос, почему *empathy* и *fellow feeling*, а также выражающий близкое значение глагол *to feel for somebody* ‘сочувствовать, сопереживать’ отнесены к кластеру ‘жалости’, если они обозначают любую разновидность сопереживания, а не только сопереживание страданию. Однако (и, возможно, это носит универсальный характер) слова, которые «технически» обозначают сопереживание любой эмоции, в реальности употребляются в первую очередь в контекстах сопереживания страданию, как во фразах *I've a fellow feeling for their woes* ‘Я сочувствую их горю’; *I feel for him – he's had some real troubles* ‘Мне жаль его – у него серьезные проблемы’; *I have great empathy for his pain* ‘Я сочувствую его страданию’. Возможно, это связано с тем, что сопереживание страданию наиболее важно с эволюционной точки зрения, так как ведет к действиям, направленным на помощь и на то, чтобы вывести объект из плохой ситуации<sup>5</sup>. Кроме того, на употребление слов со значением ‘эмпатии’ в английском языке в качестве показателей сочувствия страданию может влиять также общая тенденция английского языка избегать прямых отрицательных утверждений: поскольку эти слова не содержат указания на то, что объект эмоции находится в плохой ситуации (в отличие от всех слов со значением собственно ‘жалости’), то они не содержат и потенциально обидных и унижительных оттенков ‘жалости’, связанных с тем, что экспериенсер ставит себя выше объекта эмоции. Следовательно, их употребление в контекстах ‘жалости’ предпочтительно в силу некоторой «политической корректности».

Еще одно несовпадение русской и английской концептуальных карт ‘жалости’ состоит в том, что в русском присутствует специальное обозначение поведения, вызванного жалостью – *участие*. Слово *участие* указывает на то, что экспериенсер производит действия, направленные на то, чтобы улучшить положение объекта эмоции, и делает это в силу сострадания к нему; ср.: *Он проявил большое участие к оказавшимся в беде семьям*.

В заключение следует отметить, что, хотя ‘жалость’ в русском и английском языках различается, однако не только так и не настолько, как это традиционно предполагалось исследователями, а в несколько других аспектах.

### 2.3.7. Кластер ‘стыд’ в русском и английском языках

Как утверждается в работе [Шмелев 2002: 383–395], в русском языке есть два основных концепта ‘стыда’ – внутренний *стыд* и внешний *позор*, которым в европейских языках соответствует один синтетический концепт – *shame* в английском, *honte* во французском и т. п. Безусловно, верно, что в русском для выражения внутреннего чувства

<sup>5</sup> О негативных переживаниях объекта эмоции как частой, хотя и не обязательной, предпосылке *empathy* см. [Гладкова 2005: 107].

стыда и внешней стигмы, позора, существуют два разных слова, однако представляется, что это различие релевантно и для английского. Хотя слово *shame* 'стыд, позор' имеет два значения, в английском есть и более специализированные языковые средства, которые выражают либо внутреннее чувство 'стыда' (прилагательное *ashamed* 'стыдно'), либо внешнюю стигму (*disgrace* 'позор').

Базовой этической эмоцией является внутреннее чувство 'стыда', чувство, выражаемое словами *стыдно, совестно, стыд* и *shame, ashamed*. Оно эксплицируется следующим образом:

- (97) 'X думает, что он сделал что-то плохое; X чувствует что-то плохое от этого; X думает что-то плохое о себе'.

Этот тип 'стыда' концептуализуется как фундаментальная человеческая способность, отсутствие которой представляется существенным отклонением от нормы; ср.: *бесстыдный* и *shameless*<sup>6</sup>. В отсутствие этой естественной реакции на совершенные плохие поступки, собеседник может попытаться ее стимулировать; ср.: *Как тебе не стыдно!; Стыдись!* и *Aren't you ashamed? Shame on you!* Внутренний этический 'стыд' – это очень интенсивное и неприятное чувство; ср.: *жгучий стыд, burning shame*.

В отличие от «социального» 'стыда', этический 'стыд' человек может испытывать вне зависимости от окружения и внешних обстоятельств, вне зависимости от того, знает ли кто-то о нем или нет; ср.: *Мне стыдно, что я предал его, хотя он так никогда об этом и не узнал.*

Однако поскольку 'стыд' – это чувство во многом социальное, связанное с мнением окружающих и во многом им вызываемое, то ситуация переживания 'стыда' легко переходит в ситуацию с двумя участниками – экспериенсер, совершивший что-то плохое, и «аудитория», которая может совпадать, а может и не совпадать с тем, кому был причинен вред плохими поступками экспериенсера; ср.:

- (98a) *Мне было стыдно перед ним за мое невольное предательство;*  
(98b) *I felt ashamed before him for my involuntary betrayal.*

Когда человек чувствует, что он сделал что-то плохое, ему может быть трудно контактировать не только с тем, кому он причинил вред, но и с другими людьми; ср.:

- (99a) *Если я его подведу, мне будет стыдно ему в глаза смотреть;*  
(99b) *If I let him down, I'll be ashamed to look him in the eyes;*  
(100a) *Если я подпишу это, мне будет стыдно людям в глаза смотреть;*  
(100b) *If I sign this, I'll be ashamed to look people in the eyes.*

Когда человек совершает что-то плохое, он может чувствовать что-то плохое по этому поводу, и это внутренний этический стыд. Однако человек может быть также озабочен тем, что в результате его поступков подумают о нем другие люди, и это социальный 'стыд', который может рассматриваться не только, с точки зрения экспериен-

---

<sup>6</sup> Интересно, что в социологии основным этическим чувством современного западного мира считается *вина* (guilt), а *стыд* в качестве основного регулятора морали относится к прошедшим эпохам: «While shame was the moral emotion of the past, guilt is the moral emotion of the present» [Stets, Turner 2008: 553] – «Если стыд был моральной эмоцией прошлого, вина – это моральная эмоция настоящего». Интересно также, что язык в этом отношении отстает от этики и социологии, поскольку именно *стыд* и *shame* представляются им как неотъемлемые моральные способности человека, а их отсутствие осознается как нарушение нормы (*бесстыдный, shameless*), в то время как отсутствию чувства вины не приписывается столь важный статус, и слова *безвиный* и *guiltless* обозначают невиновность в конкретной ситуации, а вовсе не отсутствие фундаментальных этических качеств. См. также замечательный анализ языковой концептуализации эмоций *guilt* 'чувство вины', *remorse* 'угрызения совести' и *shame* 'стыд' в работе [Всжибицкая 1996: 366–368].

сера, но и с точки зрения общества и концептуализоваться как некая стигма, клеймо, которым общество метит нарушителей моральных и социальных норм. Этот концепт присутствует как в русском, так и в английском языках; в английском он выражается некоторыми употреблениями слова *shame*, например, *howling shame* 'стыд и срам', а также словами *disgrace* 'позор', *ignominy* 'позор, бесчестье', в русском – словами *стыд* (в употреблениях типа *Какой стыд!*), *позор*, *срам*, *конфуз* и их производными. Метафора, выражающая этот тип 'стыда', – это, как было сказано, некоторое клеймо, которое пятнает, метит нарушителя, одновременно выделяя его негативным образом и отделяя от остального общества; ср.: *запятнать <покрыть> себя позором; всеобщий позор*.

Такое отношение проявляется к тем людям, которые сделали нечто, нарушающее общепринятые нормы морали, или каким-то иным образом не оправдали социальных ожиданий, причем нарушение объективно может быть как масштабным, так и несущественным, но при этом всегда «подается» как очень серьезное: *Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью берет взятки – какой позор! vs. Опять получил двойку на контрольной – какой позор!*

Объектом этого отношения могут быть даже ситуации, нарушающие общепринятые социальные или этические нормы или ожидания: *Наша система образования <наша судебная система> – позор для страны*, где происходит персонификация страны.

Эта разновидность 'стыда' эксплицируется следующим образом:

(101) *X – позор, X is a shame <disgrace>* – 'Люди думают, что человек X сделал что-то очень плохое; люди думают что-то плохое об X; люди не хотят быть в контакте с X-ом'.

И этический, и социальный 'стыд' может испытываться как из-за собственных поступков X-а, так и из-за поступков кого-то из личной сферы X-а, за кого он ощущает ответственность:

- (102a) *Мне за тебя стыдно;*
- (102b) *I'm ashamed for you;*
- (103a) *Ты – позор нашей семьи;*
- (103b) *You brought disgrace to our family.*

В обоих языках концептуализован также 'стыд', который имеет чисто социальную природу, лишенную этической основы. В английском этот вид 'стыда' выражается словами *embarrassment* 'смущение', *to be shy* 'стесняться' и однокоренными им словами, в русском – *стесняться*, *смущаться* и их дериватами. Этот вид 'стыда' ощущается, когда человек чувствует себя чересчур открытым, выставленным на всеобщее обозрение, когда что-то сугубо личное, не предназначенное для посторонних глаз или ушей, становится всем известным. В этой ситуации человек боится не собственной совести, а также не социальной или этической стигмы, поскольку он не делает ничего плохого; скорее, он боится показаться другим людям смешным или незащищенным:

- (104a) *Он очень смутился, когда она вслух прочитала его письмо;*
- (104b) *He was acutely embarrassed when she read his letter out loud;*
- (105a) *Она очень смутилась, заметив, что у нее порвались колготки;*
- (105b) *She was very embarrassed when she noticed a run in her pantyhose.*

Эта разновидность 'стыда' оценивается нейтрально или положительно как разновидность скромности, уместной для людей определенного возраста и статуса; ср.: *застенчивая <стыдливая> девушка <девочка>, a shy <bashful> girl*. Чрезмерный социальный 'стыд' оценивается слегка негативно, так как он заставляет людей вести себя неестественно; ср.: *стеснительный, скованный, uptight, self-conscious*, однако его полное отсутствие оценивается как гораздо больший недостаток; ср.: *бесстыжий, blushless*.

Этот вид 'стыда' может быть эксплицирован следующим образом:

- (106) *X смущен Y-ом, X is embarrassed by Y* – ‘X не хочет, чтобы люди знали об Y-е; люди знают об Y-е; X чувствует что-то плохое; X думает, что люди будут смеяться над ним из-за Y-а или думать о нем плохо из-за Y-а’.

Отличие русского смущения от английского *embarrassment* состоит в том, что смущаться человек может только по поводу своего собственного поведения, в то время как испытывать *embarrassment* можно за кого-то:

- (107a) *The participants of the talent show delivered such a silly performance, that I felt embarrassed for them*  
‘Участники конкурса художественной самодеятельности устроили такое дурацкое представление, что мне стало за них неловко’,  
но не  
(107б) \**Участники конкурса художественной самодеятельности устроили такое дурацкое представление, что я смутилась за них.*

Обе эти разновидности ‘стыда’, и этическая, и социальная, являются сильным сдерживающим фактором; если кто-то считает что-либо плохим, *стыдным* или же неприличным, он может удержаться от того, чтобы это делать (см. об этом как о двух типах стыда [Konstan 2006]); ср. русские глаголы *постыдиться сделать что-л.* (этическое чувство) и *постесняться сделать что-л.* (социальное чувство) со следующим значением:

- (108) *X постыдился <постеснялся> сделать Y*: ‘X не сделал Y, потому что считал, что сделать Y нехорошо или неприлично’.

Ср. интерпретации следующих фраз:

- (109) *Он постыдился отказать ей в помощи* = ‘Он не отказал ей в помощи, потому что ему было стыдно отказывать’;  
(110) *Он не постыдился прилюдно упрекнуть ее* = ‘Он прилюдно упрекнул ее, хотя можно было ожидать, что ему будет стыдно упрекнуть ее’.

В английском языке соответствующий смысл лексикализован в несколько меньшей мере, однако также может выражаться; ср. выражение *to have scruples*:

- (111) *He had no scruples to use every possible means to deceive the public and cover up his crime*  
‘Он не постыдился использовать все возможные средства, чтобы обмануть общество и скрыть свое преступление’.

В английском существует разновидность ‘стыда’, не имеющая точного аналога в русском. Это *mortification*, очень сильное чувство – смесь острого стыда, унижения, обиды, огорчения, чувство «уничтоженности». Люди испытывают это чувство, когда что-то очень личное и одновременно социально неприемлемое становится известным другим людям; когда они становятся объектом унижительного обращения, особенно в присутствии других людей; когда они в присутствии других людей делают что-то крайне социально неприемлемое.

Ср. следующие примеры:

- (112) *She accidentally splashed red wine on his white shirt and felt mortified*  
‘Она нечаянно пролила ему на белую рубашку красное вино и очень смутилась’;  
(113) *She was so mortified she left school when an intimate photo she sent her ex-boyfriend ended up on the Internet*  
‘Ей было так стыдно, когда интимная фотография, которую она послала своему бывшему другу, попала в Интернет, что она бросила школу’;  
(114) *He did not acknowledge my greeting and did not seem to notice my outstretched hand. I felt mortified*

‘Он не ответил на мое приветствие и сделал вид, что не заметил мою протянутую руку. Я чуть не умерла от стыда’;

(115) *She was mortified. Her curlers were still in and she was wearing a baggy bathrobe*

‘Она страшно смутилась. У нее в волосах еще были бигуди, и на ней был обвисший халат’.

Чувство *mortified* может описываться в русском более сложным, идиоматическим способом – при помощи фраземы *X-у хочется <X готов> провалиться сквозь землю (от стыда)*.

С другой стороны, в русском языке есть разновидность полу-этикетного, полу-этикетного стыда, который люди испытывают, когда причиняют кому-то неудобство, мешают кому-то или каким-то иным образом служат источником беспокойства. Это чувство выражается безличными предикативными конструкциями *X-у неловко* и *X-у неудобно* (см. о «семантике шепетильности» [Зализняк 2000]); ср.: *Мне неловко <неудобно> его об этом просить*; *Мне неловко <неудобно> вас беспокоить*. В английском нет точного соответствия этому типу ‘стыда’ – фразы с *неловко* и *неудобно* можно перевести только при помощи выражений с гораздо более общей семантикой – *to feel bad about smth., not feel like doing smth.* ‘не хотеть что-л. делать’: *I don't feel like asking him to do that* ‘Мне не хочется его об этом просить’; *I feel bad about bothering him* ‘Мне неудобно, что я его побеспокоил’.

В целом, концептуальные карты ‘стыда’ в русском и английском достаточно похожи, особенно в центральной части, с некоторой степенью вариативности на периферии.

### 2.3.8. Кластер ‘обида’ в русском и английском языках

Хотя сравнительный анализ эмоциональных кластеров в русском и английском обнаруживает намного больше сходств в концептуализации эмоций в этих двух языках, нежели было принято считать, однако в кластере ‘обида’ концептуальные карты эмоций действительно очень существенно различаются<sup>7</sup>. Нельзя при этом утверждать, что англоговорящим людям незнакомо это чувство или что в английском языке отсутствует способ его выражать; скорее, имет место совершенно разное структурирование концептуального пространства. Основанием для выделения этого кластера в обоих языках служит то, что в них содержатся слова и выражения для описания неприятного чувства, которое возникает у человека, когда ему сделали что-то плохое, что он воспринимает как незаслуженное и что причиняет ему душевную боль.

Именно этот компонент душевной боли является общим в метафорической концептуализации чувства в двух языках; ср.: *боль обиды, кровавая обида, задеть кого-л., уязвленный, hurt <wounded, injured>* ‘задетый, оскорбленный’, букв. ‘раненый’). Однако в целом, структура полей ‘обиды’ в этих двух языках совершенно разная. Так, русская концептуальная карта ‘обиды’ покрывает гораздо большее концептуальное пространство, с которым английский кластер ‘обида’ совпадает лишь частично, так что часть того, что в русском осознается как *обида*, в английском осознается как эмоция, принадлежащая к другому эмоциональному кластеру. Кроме того, если в русском практически все поле ‘обиды’ покрывается одним словом *обида* и его дериватами, то в английском существует множество обозначений «узкоспециализированных» разновидностей этого чувства. В этом смысле ситуация с ‘обидой’ обратна ситуации с ‘гневом’, где в русском языке отсутствует имеющийся в английском нейтральный термин широкой семантики.

В каком-то смысле подобное межъязыковое различие неудивительно, поскольку оно соответствует общему характеру различий между этими двумя языками, где русский обычно обходится меньшим количеством терминов с более широкой семантикой, а английский обладает большим количеством выражений с более специализированным значением. Однако в случае ‘обиды’ это различие представляется более глубоким. Если

<sup>7</sup>См. об этом [Зализняк 2000].

в других эмоциональных кластерах в английском обычно возможно установить некоторый общий, собирательный термин, наиболее нейтральное обозначение какого-то типа эмоции, который, не являясь семантическим гиперонимом, может так или иначе использоваться для обозначения кластера, то для 'обида' в английском такого слова нет – каждое выражение внутри этого кластера обладает чересчур специализированным значением, хотя каждое из них может быть переведено на русский язык словом *обида*.

Однако русская 'обида' не только включает в себя все разновидности английской; она еще и выходит за пределы этого кластера в английском языке: иногда, когда в русском используется слово *обида*, в английском ситуация требует использования слова из другого эмоционального кластера, например, *become sad, become upset* 'расстроиться' или *get mad* 'рассердиться'.

Возникает ощущение, что русский язык кодирует какой-то более чувствительный детектор обиды, который начинает регистрировать наличие этого чувства до того, как его замечает носитель английского языка. Так, в английском языке нет слов, которые бы описывали неприятное чувство, возникающее в достаточно безобидных ситуациях, которое в русском описывается корнем *обид-* (*Я забыл, что мы перенесли встречу на пятнадцать минут раньше, и она обиделась; Она обиделась, что я не успел прочитать книгу, которую она мне дала*), корнем, который может также использоваться для описания очень сильного агрессивного «вендеттоподобного» чувства (ср. *кровавая обида*). По мере того как усиливается стимул и, соответственно, чувство, английский начинает его фиксировать, однако сначала при помощи слов из других эмоциональных кластеров, например, *mad* или *upset*; ср.:

- (116a) *Она обиделась, что я не успел на нашу встречу;*  
(116b) *She got mad <upset> that I didn't make it to our meeting in time*  
'Она рассердилась <расстроилась>, что я не успел на нашу встречу'.

Все английские слова со значением 'обида' описывают достаточно серьезный стимул и довольно сильное чувство, т. е. соответствуют верхней части спектра русской 'обида', в то время как нижняя часть ее спектра не имеет соответствий в английском кластере.

Мы начнем обсуждение 'обида' с английского кластера, поскольку он содержит большее количество терминов, хотя, как было сказано, занимает меньшее концептуальное пространство. Несмотря на существующее мнение о чисто русском характере этой эмоции, концепт 'обида' вполне актуален для английского языка, и если есть многочисленные случаи, когда русская *обида* не может быть переведена на английский при помощи слова из английского кластера 'обида', то имеются и обратные случаи. В частности, английские слова из кластера 'обида' свободно используются в англоязычном политическом и общественном дискурсе, что нехарактерно для гораздо более личной русской 'обида', где в аналогичных английским примерах использовались бы скорее единицы типа *задеть, оскорбить, быть оскорбительным для кого-л.*

Например, Ромни, один из республиканских кандидатов на американских президентских выборах 2007 года, «был обижен» высказыванием Хакаби, другого кандидата от республиканцев по поводу мормонской веры:

- (117) *Mr. Romney was **offended** after news emerged that Mr. Huckabee had made a controversial reference to the Mormon faith* (National Post, Canada, Dec 12, 2007)  
'Мистер Ромни был **обижен/задет** новостью о том, что мистер Хакаби сделал полемическое высказывание о мормонской вере'.

Ср. также другие примеры «общественной» обиды:

- (118) *Women voters, in particular, may have been **offended** by the scene at the debate of Obama and the third-place New Hampshire finisher, former Sen. John Edwards, ganging up on Clinton* (AXcess News, KY)

‘Избирательницы в особенности могли быть **обижены** сценой, разыгранной во время дебатов между Обамой и занявшим третье место Джоном Эдвардсом, которые объединили свои силы против Клинтон’;

(119) *[Mel Gibson] conceded that he had **offended** the Jewish community*

‘Мел Гибсон признал, что он **обидел/оскорбил** еврейское сообщество’;

(120) *I must assume personal responsibility for my words and apologise directly to those who have been **hurt and offended***

‘Я должен взять на себя личную ответственность за свои слова и попросить прощения у тех, кто был **обижен/оскорблен/задет**’ (BBC-NEWS Tuesday, 1 August 2006).

Русская ‘обида’ – слишком личное чувство, для того чтобы обнаруживать его в официальных ситуациях. Для описания эмоций, которые вызываются «политически некорректными» высказываниями или действиями, используется эмоциональный каузатив *оскорблять*: *оскорблять чувства верующих; оскорблять чувства этнических меньшинств*. *Оскорбление* указывает на более объективный характер стимула, чем *обида*: человек может *легко обижаться* или *быть обидчивым*, но он не может *\*легко оскорбляться* или *быть \*оскорбливым* (по аналогии с *пугливым, гневливым, жалостливым* и пр.). Кроме того, доля личной боли в *оскорблении* меньше, чем в *обиде*, а доля гнева – больше; *оскорбление*, в гораздо большей степени, чем беспомощная *обида*, сосредоточено на нарушении некоторой социальной или этикетной нормы, а также на желании мести или восстановления справедливости (хотя последнее возможно и для *обиды*).

Итак, английский, в отличие от русского, допускает чувства, коррелирующие с *обидой*, в «общественно-политических» контекстах. Однако в сфере личной коммуникации русский язык более чем компенсирует эту асимметрию, поскольку круг ситуаций, вызывающих *обиду*, а также сами разновидности этого чувства чрезвычайно разнообразны.

В качестве иллюстрации приведем пример из набоковской «Лолиты» в английском оригинале и авторском переводе на русский, где одно и то же русское слово *обида* (или его дериват) используется как переводной эквивалент пяти несинонимичных английских слов:

(121) *He had the utmost respect for ordinary children, with their purity and **vulnerability*** [букв. ‘ранимость’]

*Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой **обиде***;

(122) *“Doublecrosser”, she said as I crawled downstairs rubbing my arm with a great show of **rue*** [букв. ‘сожаление, горе’]

*«Подлый предатель», – сказала она, между тем как я побрел вниз по лестнице, потирая плечо с видом большой **обиды***;

(123) *That ...makes me moan today with **frustration*** [букв. ‘разочарование, досада’]

*Меня заставляет стонать от **обиды** мысль, что...;*

(124) *Who can say what heartbreaks are caused in a dog by our discontinuing a romp* [букв. ‘жестокое разочарование, разбитое сердце’]?

*Кто может сказать, какие глубокие **обиды** мы наносим собаке тем, что прекращаем возню!;*

(125) *If you bear me a **grudge**, I am ready to make unusual amends* [букв. ‘недовольство, неудовлетворение, недоброжелательство’]

*Если вы считаете, что я вас **обидел**, я готов на необычайные компенсации.*

Итак, *обида*, в одном или в разных значениях, сочетает в себе компоненты боли и незащищенности, особого поведения, неудовлетворения, желания компенсации, которые в английском передаются разными лексическими единицами.

В кластере ‘обида’ различия между русским и английским языками наиболее очевидны – там, где в русском мы находим сложное по семантике слово, состоящее из многих компонентов, каждый из которых может попадать в фокус внимания, давая большое количество интерпретаций, а также полисемию и богатое словообразование, английс-

кий язык использует большое количество различных, существенно более специализированных и узких по семантике языковых средств.

В английском *каузация* обиды и *чувство* обиды в основном передаются лексическими средствами с разными корнями; ср.: *to offend, to affront* 'обижать' (каузация чувства) vs. *resentment* 'обида', *grudge, grievance, hard feelings* 'недоброжелательство, затаенная обида', *hurt <wounded> feelings* 'боль, обида', *feeling sore* 'раздражение, обида' (чувство).

В русском языке полисемичное слово *обида* обозначает и чувство (*затаить обиду*), и его каузацию (*нанести обиду*), кроме того, есть пара однокоренных глаголов со значением чувства (*обидеться*) и его каузации (*обидеть*).

В английском языке агрессивные, «долгоиграющие», «сердитые» виды обиды выражаются иными лексическими средствами, нежели беспомощно-униженные, болезненные ее разновидности; ср.: *resentment, grudge, hard feelings, grievance* 'затаенная обида, недоброжелательство', с одной стороны, и *to be hurt, to be wounded, to be injured* 'быть уязвленным, обиженным, задетым', с другой. В русском языке все это разнообразие выражается одним и тем же словом: *плакать от обиды* (беспомощная обида) vs. *кровавые обиды, смыть обиду кровью, отомстить за все обиды* (агрессивная обида). Необходимо, однако, отметить, что в современном языке у слова *обида* и его дериватов преобладают «беспомощные» употребления, т. е. душевная боль является существенно более важным компонентом чувства 'обиды', чем желание отомстить.

Таким образом, синтетическому русскому концепту соответствует весьма раздробленная и детализированная картина в английском языке.

Русская *обида* концептуализована как совершенно самостоятельное чувство, в то время как некоторые английские лексические средства выражения 'обиды' можно назвать пограничными: они содержат компоненты чувств из других кластеров. Ср., например, слово *resentment* и его дериват, прилагательное *resentful*, в котором, помимо указания на чувство 'обиды', задетости, содержится указание на то, что экспериенсер сердится и, возможно, завидует или ревнует. Ср. пример, где *resentment* 'обида' сочетается с *anger* 'гневом':

(126) *The mayor's latest unpopular decision caused long-suppressed resentment to explode into open anger* (COCA)

'Последнее непопулярное решение мэра привело к тому, что долго подавляемое недовольство вылилось в открытое возмущение'.

Ср. также пример, где к *resentment* 'обиде' примешивается зависть или ревность:

(127) *Second wives are often resentful of money obligations that must go to the first wife and children* (COCA)

'Вторые жены часто обижаются на денежные обязательства перед первой женой и детьми'.

В английском языке поведение, вызванное обидой (например, намеренный уход от контакта с обидчиком, особое выражение лица), выражается отдельными лексическими средствами; ср.: *to sulk* и *to pout* 'дуться'. Для русского это также возможно (*дуться на кого-л.*), однако глагол *обижаться*, указывающий на чувство, может описывать также и поведение: *Она уже неделю на него обижается; Она всегда подчеркнуто обижается и ждет извинений*.

В английском языке отдельными корнями выражается свойство предрасположенности к 'обиде': *grouchy, huffy* 'обидчивый' (склонный к обиде-«агрессии») vs. *vulnerable* 'ранимый', *sensitive* 'чувствительный' (склонный к обиде-«боли»)⁸. В русском языке оба вида 'обиды' «обслуживаются» прилагательным *обидчивый*.

⁸ Ср., впрочем, выражение *to take offence easily* 'легко обижаться'.

Наконец, во многих контекстах, где в русском языке используется слово *обида* или его дериват, в английском естественнее использовать слово из другого эмоционального кластера, например, *mad* 'сердитый', *disappointed* 'разочарованный' и пр. Ср. следующие примеры:

- (128а) *Она обиделась, что он пришел без цветов*  
'She was **disappointed** [букв. 'разочарована'] that he came without flowers';
- (128б) *Родственники обиделись, что я не успела зайти*  
'My relatives were **upset** [букв. 'расстроились'] that I didn't have time to drop in';
- (128в) *Она неделю обижалась, что он не поздравил ее с днем рождения*  
'She **sulked** [букв. 'дулась'] at him for a week that he didn't wish her a happy birthday';
- (128г) *Не обижайся*  
'Take it **easy**' [букв. 'не волнуйся, не обращай внимания'];
- (128д) *Ты обиделась?*  
'Are you **mad**?' [букв. 'сердишься'];
- (128е) *Я тебя не обидел?*  
'Is anything **wrong**?' [букв. 'что-то не в порядке'];
- (128ж) *Зайди к нему, не обижай старика*  
'Visit him, **humor** the old man' [букв. 'уважь'];
- (128з) *Он обиделся на жизнь*  
'He is **angry** at life' [букв. 'Он рассердился на жизнь'].

Во всех этих ситуациях английские слова со значением 'обида' были бы прагматически не вполне адекватны по следующим причинам.

В примере (128а) стимул является недостаточно сильным для того, чтобы испытать эмоцию типа *offended, hurt, wounded*; ср. прагматическую странность <sup>??</sup>*She was hurt that he came without flowers.*

В примере (128в) также имеет место недостаточно сильный для английских коррелятов 'обида' стимул. Кроме того, в английском языке только агрессивные виды 'обида' типа *resentment, grudge, hard feelings* могут характеризоваться существенной длительностью: *long-lasting resentment* 'длительная обида и гнев'; *He's had this grudge for years; He's had hard feelings for years* 'В течение многих лет он испытывал обиду и недоброжелательство'. Для беспомощной обиды-боли это невозможно; ср. *\*He's been hurt <wounded> for a week* 'Он неделю обижался', <sup>??</sup>*She has been feeling offended for a week that he didn't wish her a happy birthday* 'Она неделю обижалась, что он не поздравил ее с днем рождения'. Если необходимо передать подобный смысл, используются глаголы со значением эмоционального поведения, например, *to sulk* 'дуться от обиды'.

В примерах (128б) и (128з) употребление английских слов со значением 'обида' было бы также неоправданно, поскольку отсутствует сознательно контролирующий свои действия агент – в (128б) нежелательное событие является результатом неудачного стечения обстоятельств, в (128з) агент вообще отсутствует. В примере типа (128г) английские *offended, hurt, wounded* и прочие слова со значением эмоции были бы неуместны, поскольку они, как и русские выражения *быть задетым, быть уязвленным*, не предполагают способности экспериенсера контролировать свою эмоцию; ср. прагматическую неадекватность <sup>??</sup>*Don't be hurt <wounded>*, <sup>??</sup>*Don't be offended*, <sup>??</sup>*He будь задетым <уязвленным>*, <sup>??</sup>*He будь обиженным.*

Примеры (128д) и (128е) были бы неадекватны с английскими коррелятами в силу того, что английские слова со значением 'обида' обозначают чувство, наличие которого экспериенсер предпочитает не признавать.

Пример (128ж) неадекватен с английскими коррелятами, поскольку указывает на чувство, которое может возникнуть в результате «не-поступка», то есть в результате отсутствия чего-либо хорошего, а не наличия чего-либо плохого; ср. прагматическую неадекватность: *Visit him, don't hurt <offend> the old man* 'Сходи к нему, не задевай <не оскорбляй> его'.

Русская 'обида' может быть эксплицирована следующим образом:

- (129) *X чувствует обиду на Y* = 'X думает, что Y сделал X-у что-то плохое, чего X не ожидал, или не сделал чего-то хорошего, что X ожидал; X чувствует что-то плохое из-за этого; X чувствует что-то плохое по отношению к Y-у из-за этого; X не хочет входить в контакт с Y-ом из-за этого; X может хотеть сделать что-то плохое по отношению к Y-у из-за этого; X может долго так чувствовать'.

Некоторые английские слова со значением 'обиды' покрывают «агрессивную» часть русского спектра чувств, описываемого словом *обида* (*grudge, resentment, hard feelings*), некоторые покрывают более «слабые» части спектра (*offended*), некоторые – еще более слабые (*hurt, wounded*), некоторые указывают только на эмоциональные поведения (*to pout, to sulk*). Наиболее слабые части эмоционального спектра русской 'обиды' не имеют коррелятов в английском языке.

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно сделать некоторые предварительные выводы, в том числе о методологии. Покластерный анализ может использоваться для типологического семантического сравнения концептуализации эмоций в разных языках. Получающиеся «карты» эмоций, с разными подтипами эмоций внутри каждого кластера, будут добавляться к общему тезаурусу возможных подтипов эмоций внутри одного куста (например, «страх-благоговение», «страх сверхъестественного», «справедливый гнев», «злая радость», «беспричинная грусть» и т. п.).

Предложенный подход может иметь и практическое применение: он может быть использован при создании нового типа двуязычных словарей с интегральным контрастивным описанием целых синонимических рядов.

Материал, проанализированный в данной работе, позволяет сделать следующие предварительные выводы и заключения, проверка которых потребует существенно более широкого сравнительного анализа различных языков:

1) эмоциональная метафора обнаруживает существенную степень межъязыковой универсальности: хотя существует много специфических метафор (типа *to turn green* 'позавидовать; букв. позеленеть' или *to feel blue* 'грустить; букв. чувствовать синее'), существует также большое количество совпадающих метафор, особенно «биологических»; ср.: СТРАХ ЭТО ХОЛОД, ГНЕВ ЭТО ЖАР, ОБИДА ЭТО БОЛЬ, ЖАЛОСТЬ ЭТО БОЛЬ и пр.

2) Сравнение 11 эмоциональных кластеров в русском и английском языках позволило местами скорректировать существующие представления об их лингвистических различиях в концептуализации эмоций. В целом необходимо отметить достаточно большой уровень пересечений в концептуализации эмоций и совпадение многих подтипов внутри одного и того же кластера в разных языках («биологический страх», «страх сверхъестественного», «рациональный страх», «болезненный страх» и пр.), естественно, при отсутствии полного совпадения лингвистических средств. Таким образом, существующие между языками различия отражают не только различия в концептуализациях, но в первую очередь различия в языковом выражении концептов. Нередко похожие концепты выражаются различными языковыми средствами (например, разные подтипы одной эмоции в английском языке выражаются разными вокабулами, а в русском – разными лексемами одного слова). Кроме того, разные языки отражают разные системы конвенций эмоционального выражения (*display rules*), что также объясняет языковые несовпадения.

Итак, первый источник языковых несовпадений – это разное лингвистическое членение сходного концептуального пространства, что является естественным феноменом и встречается не только в сфере эмоций. Так, слово *horror* объединяет в себе *ужас* и *отвращение*, *тоска* – элементы *yearning*, *depression* и *anguish*.

Второй источник языковых несоответствий – различные системы эмоционального этикета. Американский английский предпочитает избегать прямых негативных сообщений типа «Я сделал что-то плохое», «Ты сделал что-то плохое», «Я чувствую что-то плохое», «Ты чувствуешь что-то плохое», «Ты в плохой ситуации», в то время как в русском языке такое ограничение отсутствует. Это объясняет несколько большую употребительность русских слов из кластеров ‘жалость’, ‘стыд’ и ‘обида’, чем их английских аналогов. В русской культурной ситуации позволено преувеличивать свои негативные чувства, тогда как в англоязычной естественно преувеличивать положительные чувства (см. об этом [Рис 2005; Ларина 2009: 172–301]). В русской коммуникации вполне допустимо открыто выразить свою жалость, стыд, обиду, прямо называя эти эмоции, в то время как носитель английского языка может предпочесть использовать обобщенный термин типа *to feel bad* в ситуациях, потенциально неприятных для одного из коммуникантов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вежбицкая 1996 – А. Вежбицкая. Язык, культура, познание. М., 1996.
- Гладкова 2005 – А.Н. Гладкова. Чем русское сопереживание отличается от английского *empathy*? Опыт применения естественного семантического метаязыка в контрастивной семантике // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды междунар. конф. «Диалог`2005». М., 2005.
- Зализняк 2000 – Анна А. Зализняк. О семантике щепетильности (*обидно, совестно и неудобно* на фоне русской языковой картины мира) // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.
- Ларина 2009 – Т.В. Ларина. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М., 2009.
- Левонтина 2004 – И.Б. Левонтина. Словарная статья ЖАЛОСТЬ // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.
- ИБАРС – Ю.Л. Апресян, Э.М. Медникова и др. Новый большой англо-русский словарь. Т. I—II. М., 1993; Т. III. М., 1994.
- Рис 2005 – И. Рис. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки / Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой, В.Б. Гулиды. М., 2005.
- Шмелев 2002 – А.Д. Шмелев. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.
- Федотов 1992 – Г. Федотов. Письма о русской культуре // Судьба и грехи России. СПб., 1992.
- Calder et al. 2001 – A.J. Calder, A.J. Lawrence, A.W. Young. Neuropsychology of fear and loathing // Neuroscience. 2001. V. 2.
- Ekman 1999 – P. Ekman. Basic emotions // T. Dalgleish, M. Power (eds.). Handbook of cognition and emotion. Sussex, 1999.
- Jabbi et al. 2007 – M. Jabbi, M. Swart, C. Keysers. Empathy for positive and negative emotions in the gustatory cortex // NeuroImage. 2004. № 34.
- Konstan 2006 – D. Konstan. The emotions of the Ancient Greeks. Studies in Aristotle and classical literature. Toronto, 2006.
- Levontina, Zalizniak 2001 – I. Levontina, Anna Zalizniak. Human emotions viewed through Russian language // J. Harkins, A. Wierzbicka (eds.). Emotions in cross-linguistic perspective. Berlin, 2001.
- Rancour-Laferrriere 1995 – D. Rancour-Laferrriere. The slave soul of Russia: moral masochism and the cult of suffering. New York, 1995.
- Stets, Turner 2008 – J.E. Stets, J.H. Turner. Handbook of the sociology of emotions. New York, 2008.
- Wierzbicka 1990 – A. Wierzbicka. Dusa ‘soul’, toska ‘yearning’, sud’ba ‘fate’: three key concepts in Russian language and Russian culture // Z. Saloni (ed.). Metody formalne v opisie językow słowiańskich. Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, 1990.
- Wierzbicka 1992 – A. Wierzbicka. Semantics, culture and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. New Yorks; Oxford, 1992.
- Wierzbicka 1999 – A. Wierzbicka. Emotions across languages and cultures. Cambridge, 1999.

© 2011 г. Г.В. ФЕДЮНЕВА

## О СТАТУСЕ МЕСТОГЛАГОЛИЯ В ЯЗЫКЕ

Целью статьи является выяснение реального статуса местоглаголия в дейктической системе языка. На материале языков разных типов рассматриваются явления, так или иначе связанные с глаголом (предикатом) отношениями замещения и указания: широкозначные глаголы, их комбинации с некоторыми указательными, вопросительными, неопределенными местоимениями, подставочные конструкции, заменяющие в речи ускользнувший из памяти или эллиптированный глагол и др. По мнению автора, эти языковые элементы не являются местоглаголиями, т.е. собственно местоимениями, формирование которых непосредственно связано с использованием дейктических частиц. Местоглаголиями следует считать глаголы, также имеющие первичные дейктические корни, вроде эвенкийских *ē-* «\*чтоить», *эри-ң-тэ-* «\*этовствовать», *тари-ң-та-* «\*тотовствовать» или севернорусского *тоговотать*. Автор считает, что местоглаголия непосредственно связаны с референциальной функцией языка. Они являются скорее потенциальной, нежели последовательно вербализованной категорией. Формируясь в дискурсе, местоглаголия остаются фактом речи, лишь иногда поднимаясь до уровня языковой системы.

Проблема выявления средств и механизмов актуализации языка в спонтанной речи, вызывающая неизменный интерес исследователей (см., например, [Падучева 2002; FPP 2010; Подлесская 2006; Podlesskaya 2007 и др.]), объективно детерминирована имманентным свойством языковых единиц модифицироваться в процессе речепорождения. Этим объясняется тот факт, что, несмотря на имеющиеся исследования, работы по типологии и таксономии многочисленного разряда дейктических и дискурсивно ориентированных слов, в том числе глаголов, не утратили своей актуальности.

Задача данной работы – определить статус маргинальной группы местоглаголий среди других маркеров глагольного дейксиса, участвующих в анафорическом текстообразовании, а также референции, главным средством которой, как известно, являются местоимения и другие «местоименные элементы языка» [Падучева 2002: 10]. Дело в том, что под местоглаголием часто понимаются разные языковые явления, объединенные функцией заместительности глагольных позиций в высказывании. Об этом свидетельствует «терминологическая туманность», окутывающая данное явление: термины «местоглаголия», «дейктические глаголы», «местоименные глаголы», «глаголы с местоименной семантикой», «местопредикативы», «провербы» и т. д., встречающиеся в отдельных работах, не имеют дефиниций и используются от случая к случаю.

Чаще всего под местоглаголием понимают глаголы с очень общей семантикой процессуальности или экзистенциональности, способные выступать на месте того или иного полнозначного глагола или отдельных семантических групп, следовательно, иметь в некоторой степени функции указания и замещения. Обычно в качестве таковых приводятся глаголы со значениями «делать», «стать», «быть», «происходить» и т.д., например, датский глагол *gøre*, шведский *göra* «делать», китайский *lai* «приходить», русский глагол *стать* в устаревшей конструкции «не – инфинитив - *стать*», вроде: *нам не привыкать стать, не занимать стать*, английский глагол *to do*, используемый для замены смыслового глагола во избежание его повторения в последующем предложении или в кратких ответах на вопрос, вроде: *Who took the dictionary? – I did* «Кто взял словарь? – Я (сделал, т. е. взял)»; *Does he help you? – Yes, he does* «Он помогает вам? – Да

(делает, т. е. помогает)», болгарский глагол *есть* в утвердительных конструкциях вроде: *Купи ли сахар? – Не съм «Купил ли ты сахар?»* – букв. «не есть» и некоторые другие.

Ю.С. Маслов, отмечая, что в русском языке местоглаголие в общем не получило развития, все же считает, что к этому ряду можно добавить глагол *делать*, особенно в сочетании с местоимением *это* или другими подобными словами, поскольку он может выступать как заместитель знаменательного глагола, например, в конструкциях типа *не делай этого!* [Маслов 1975: 218].

Н.Ю. Шведова, посвятившая ряд крупных работ описанию смыслового строения русских местоимений [Шведова 1995; 1998], такого же мнения: «Принято утверждать, – пишет она, – что в русском языке нет дейктических глаголов. Однако это неверно: у нас есть как собственно формообразующие глаголы, так и дейктические глаголы, по своему смысловому назначению совпадающие с местоимениями». Под свободными дейктическими глаголами она понимает такие, «которые по своим функциям, синтаксическому поведению и парадигматике уверенно вписываются в систему местоименных слов: это глаголы, способные означать любой поступок, действие, событие, ситуацию либо их необратимый результат; таковы глаголы, застывшая глагольная форма и глагольные сочетания: *поступать/поступить, делать/сделать, делаться/сделаться, происходить/произойти, сделано, быть, иметь место* (быть, наличествовать)» [Шведова 1998: 42–43].

Действительно, глаголы с подобной семантикой (а их может быть гораздо больше приведенных) выступают некими аккумуляторами абстрактно-языковых смыслов, обращенных к различным группам полнозначных слов. Они, как и многие другие разряды абстрактной лексики, наполняются конкретно-лексическим содержанием в связном тексте или высказывании, например: что *делают*: *писать, плясать, печь, развлекаться* и т.д.; что *происходит*: *просыпается, меняется, падает, не здоровится, не спится* и т.д. В этом смысле они похожи на местоимения, ср., как: *быстро, бегом, прямо* и т.д.; как *ой*: *большой, зеленый, старый, плачущий* и т.д.

Интересно отметить, что глагол *делать* в современном русском языке последовательно распадается на два лексико-грамматических варианта, а именно, на глагол *делать*, семантически близкий англ. *to make* «изготавливать», и глагол *делать*, сопоставимый с англ. *to do* с местоименным значением. В первом случае он является полноценным смысловым глаголом, требующим конкретный объект действия, например, *делать что*: *машину, работу, домашнее задание, опыты* и т.д. Во втором – глагол выступает в качестве «пустой формы», требующей уточнения, наполнения за счет семантики полнозначных слов: что *делают*: *спать, гулять, строгать, печатать, плавать* и т.д. Казалась бы, процесс прономинализации глагольной формы налицо, однако вряд ли это дает возможность говорить о местоглаголии. Несмотря на «почти местоименную» семантику, глагол *делать* не может выступать в качестве заместителя семантически полнозначных слов, ср., например, \**они пошли делать* вместо *они пошли плавать*. Видимо, можно ожидать дальнейшее развитие процесса десемантизации глагола *делать* особенно в сочетании с собственно дейктическими элементами (скорее с указательными, нежели вопросительными местоимениями), поскольку в русских диалектах на уровне спонтанной речи такие примеры имеются, ср., например, колым. *пришел к има, а они то делают, ужнают да* [Богораз 1901: 14].

«Почти местоименную» семантику иногда демонстрируют глаголы конкретного действия, частота употребления которых в разных контекстах приводит к суперполисемантизму, по терминологии У. Вейнрейха, к смысловой «почти-пустоте» [Вейнрейх 1970: 211]. Ср., например, чувашский глагол *ту* «делать», используемый в словосочетаниях в самых разных значениях «заниматься», «решать», «договариваться», «успевать» и т.д. [ЧРС 1961: 435]. Первоначально этот глагол имел значение «родить, рожать» [ЭСЧЯ 1964: 254].

Наличие в языке глаголов с общепроцессуальным значением относится к числу языковых универсалий; «явление смыслового “выветривания” можно, безусловно, признать универсалией, хотя в разных языках оно проявляется в разном масштабе» [Вейнрейх

1970: 212]. В некоторых языках они настолько опустошаются, что могут использоваться как простой показатель процессуальности, сопровождающий смысловой глагол<sup>1</sup>.

Однако насколько в действительности семантика широкозначных глаголов может быть соотнесена с собственно местоименным значением и, соответственно, насколько последовательно они могут выступать в м е с т о семантически полнозначных глаголов? По-видимому, настолько же, насколько «местоименны» слова *действие, происшествие, сущность, бытие, дело, много, мало* и т.д., реальное коммуникативное (на)значение которых реализуется также только в конкретной языковой ситуации.

Нетрудно сделать вывод, что само по себе «местоименное значение» глагола еще не повод говорить о наличии в языке местоглаголия как структурной составляющей дейктической системы. По мнению К. Бюлера, фундаментальным различием между полем указания, в котором функционируют дейктические знаки, и символическим полем назывных слов состоит в том, что первые всегда связаны с ситуацией общения, тогда как назывные слова в большей степени ситуационно независимы [Бюлер 2000: 75]. Следовательно, чем больше семантическая реализация слов зависит от ситуации говорения, тем ближе они к разряду дейктических слов. Однако это не значит, что они могут быть включены в число местоимений или даже прономинативов. Во всяком случае, для этого нужен достаточно длительный период «ассимиляции» в строгой иерархически структурированной системе «знаков знаков», каковой является местоимение и которая, как известно, сложилась на самых ранних этапах формирования большинства известных языков.

История и типология формирования класса местоимений свидетельствуют о постепенном формировании основных лексико-грамматических разрядов из собственного дейктического материала. Как правило, в роли первичных местоимений выступают архаичные дейктические корни, выполняющие функции указательных частиц, затем указательных, вопросительных и личных местоимений, из которых постепенно формируются адъективные, квантитативные, адвербиальные и другие группы прономинальных слов [Майтинская 1969: 39 и сл.]. Местоглаголия, чтобы стать элементом этой системы, должны также опираться на уже имеющиеся разряды «настоящих» местоимений и дейктических корней. Следовательно, собственно местоглаголиями (= местоимениями) можно считать только глаголы, образованные от местоименных основ и непосредственно с ними взаимодействующие.

Выявление и семантическая стратификация ряда языковых универсалий в рамках последовательной семиотической теории позволили У. Вейнрейху сделать важный вывод о том, что «языки, вообще говоря, менее “логичны”, симметричны, дифференцированы, чем они могли бы быть, если бы отдельные семантические компоненты и те или иные семиотические механизмы, имеющиеся в том или ином языке, использовались бы единообразно и последовательно по всей системе этого языка... Для любого языка можно привести примеры, доказывающие, что в этом языке есть средства, позволяющие добиться более симметричной организации и более тонкой смысловой дифференциации, чем это имеет место в среднем» [Вейнрейх 1970: 223].

Этот вывод непосредственно касается класса местоимений, представляющих собой иерархически структурированную, стабильную и вместе с тем неравновесную по своей природе систему знаков, которая занимает особое место в структуре любого языка независимо от его типологии. Местоимение не может быть названо собственно «частью речи», поскольку связано сложными смысловыми и грамматическими отношениями со

---

<sup>1</sup> Например, удмуртский глагол *карыны* «делать» в сочетании с именами выступает как простой суффикс-вербализатор: *вань карыны* «обзавестись, приобрести», букв. «есть (иметься) сделать»; *виль карыны* «обновить», букв., «новый сделать», а также адаптатор русских заимствований, например, *жарить карыны* «жарить», *служить карыны* «служить» и т.д. [УРС 1983: 188]; в тюркских конструкциях, вроде *jatyp jürü-* «находиться» (*jat-* «лежать», *jürü-* «ходить»), второй компонент в сочетании с десемантизированным деепричастным суффиксом уже превратился в необратимый суффиксоподобный сложный формант *-p jürü-* [СГТЯ 1988: 442–443].

всеми разрядами номинативной лексики: существительными, прилагательными, числительными, наречиями, а также служебными словами: союзами, частицами, междометиями, артиклевными элементами и т. д. На этом фоне особенно отчетливо зияет лакуна местоглаголий, т. е. собственно местоимений – заместителей глаголов.

Отмечая асимметричность частеречной сегментации дейктических слов, Вейнрейх, в частности, пишет, что «местоимения есть, вероятно, во всех языках, однако лишь немногие имеют “местоглаголие”»; среди европейских языков только английский имеет в лице глагола *to do* (по крайней мере зародышевый) заменитель группы сказуемого». Глаголы, вроде *\*whatted he?* букв. *\*чтоил он* «что он делал?»; *\*to this*, букв. *\*этимь* «делать это»; *\*to all*, букв. *\*всёкать* «делать всё»; *\*to something*, букв. *\*что-либимь* «делать что-либо», как правило, отсутствуют, причем «эти нерегулярности типичны (выделено мной. – Г.Ф.) как отклонение от логической модели» [Вейнрейх 1970: 174, 181, 185, 186].

По нашему мнению, «типично нерегулярное присутствие» местоглаголия в дейктической системе объясняется его маргинальным положением единицы спонтанной речи, не вербализующейся облигаторно в системе языка.

Ярким примером собственно местоглаголий являются отместоименные глаголы тунгусо-маньчжурских языков, последовательно представленные в сибирской подгруппе. В эвенкийском, эвенском и негидальском языках глаголы-местоимения образуются непосредственным присоединением глагольных суффиксов к интеррогативным основам. Наиболее употребительным является глагол *ē-*, *æ-* «что делать», букв., «*чтоить*», который изменяется по числам, лицам и временам, как любой глагол. Он образован от вопросительного корня *ē-*, *æ-* «что», к которому присоединяются различные глагольные суффиксы: *ē-за-* «что делать», *ē-л-* «что начать делать», *ē-лди-* «что делать совместно», *ē-вкāн-* «что заставить делать, что сделать» и т. д. Глагольные основы могут подвергаться вторичной деривации с участием модифицирующих суффиксов с разными значениями типа «как делать», «для чего делать», «в качестве чего держать», «с какой целью использовать» и т. д. Более того, от основы *ē-* могут быть образованы причастия и деепричастия, например, *ē-ксā нуңартын эхи миттулэ ирэмэрэ* «Почему (букв., что сделав) они не идут к нам в гости?».

Как пишет Н.Я. Булатова, глагол *ē-* часто употребляется в повествовательных предложениях, где обозначает действие, подобное совершившемуся или подчеркивает повторность, длительность этого действия, например, *чайтыран, ē-ран, тадук-н'ун идэгэливи камушлан* «чаю попил, еще подобное сделал, только потом вещи стал собирать»<sup>2</sup>.

Кроме глагола *ē-*, букв. «чтоить», в эвенкийских говорах заместители глагола образуются от местоимения *ңй* «кто» – *ңй-тэ* «в качестве кого использовать»; *мэн-ңй* «свой» – *мэн-ңй-тэ* «использовать для себя» и указательных местоимений *эр* «этот» и *тар* «тот»: *эри-ң-тэ* «использовать в качестве этого», букв. «этовствовать», *тари-ң-та-* «использовать в качестве того», букв. «тотовствовать» [Булатова 2003: 223].

В говорах Подкаменной Тунгуски имеется слово *аңй* «что делать», которое оформляется всеми лично-числовыми, видовыми и залоговыми показателями. Оно может быть использовано на месте любого глагола в качестве хезитативного составляющего высказывания<sup>3</sup>, а также в тех случаях, когда собеседникам ясно, о чем идет речь или, наоборот, ничего не известно о предмете разговора, например: *нуңан аят агй аңй-дяра-нй* «он хорошо в тайге живет или охотится», букв. «делает». В удэгейском языке,

<sup>2</sup> По-видимому, эта функция характерна также для «семантически опустошенных» глаголов, ср., например, эмфатическое использование глагола *керны* «делать» в коми языке: *гижны-керны* «писать», букв. «писать-делать», *идрасьны-керны* букв. «убираться-заниматься», *пывсьыны-керны* «попариться и прочее», *сёйны-керны* букв. «поесть-сделать», *шойччыны-керны* букв. «отдохнуть-сделать» и т. д. [КРК 2000: 269].

<sup>3</sup> В.И. Подлесская предлагает использовать для всего класса лексических маркеров хезитации термин «препаративная подстановка», ср. также термины «препаративная замена» и англ. «placeholder» [Подлесская 2006: 189].

по свидетельству Е. Шнейдера, местоимение *аңй* имеет также значение, «аналогичное по смыслу русскому “ну, как его”». Употребляется говорящим, когда он забыл название предмета, имя, или затрудняется подыскать нужное слово. *Аңй* принимает ту форму, в которой должно было бы стоять слово, временно заменяемое *аңй*. *Аңй* может изменяться и как имя, и как глагол» [Булатова 2003: 231; Шнейдер 1936: 16].

Местоглаголия представлены также в монгольских языках. Они образованы непосредственно от вопросительных и указательных основ, причем последние сохраняют оппозиции по дальности указания, характерные для местоимений, например, бурят-монг. *ii-/iige-* «делать эдак» (*iime* «эдакий»), *tii-/tiige-* «делать так» (*tiime* «такой»); халха-монг. *eŋge-* «делать так, как этот здесь», *tege-* «делать так, как тот там». Вопросительные глаголы-местоимения образуются от разных интеррогативных основ вроде бурят-монг. *jaa-* «что делать» (*jamar* «какой»), *xerge-* «как поступать» (*xer* «как»); халха-монг. *jā-* «что делать», *xaitši-* «куда идти» и др. Они имеют словоизменение обычных глаголов, причем формы деепричастий часто функционируют в качестве наречий, а отглагольные имена – демонстративов и интеррогативов, например, халха-монгольский воллонтатав *eŋgeji / tegeji* «сделаем так / сделаем этак!» и «хорошо, ладно»; деепричастие прошедшего времени *jāgād* «что сделав» и «почему, отчего» и т.д. По свидетельству Н.Н. Поппе, в бурят-монгольском языке в роли местопредикатива может также использоваться слово *juuta ~ jum~jim~im* «что-нибудь, нечто», которое, сливаясь с относящимся к нему словом, употребляется на месте глагола *быть* в качестве связки, например, *untahim* «спал» [Poppe 1951: 93–94; Поппе 1938: 111].

Интересные примеры местоглаголий дают палеоазиатские языки. В частности, в нивхском языке В.З. Панфилов среди прочих разрядов местоименных слов выделяет как заместительные слова *йагод'* «быть таким», *йад'* «что делать», так и «неопределенное местоглаголие» *йауд'* [Панфилов 1962: 226–227]. В чукотском языке имеется глагол *nikaærkьп* «делать указанное действие», который, как отмечает В.Т. Богораз, имеет аналог «на местном русском наречии *то делать*, например, *я то делал*, т.е. спал, или ел, или ехал». Он образован от основы *nikæ/neka* заместительных местоимений *nirk/nerk* «такой-то (человек)», *nir/nek* «такая-то (вещь)», которые используются в речевой ситуации, когда предмет речи известен собеседникам и номинация его необязательна. Имеется также глагол *regerkьп* «что делать», образованный от местоимения *raq/raq* «что, нечто, что-нибудь» [Богораз 1934: 28–29]. По-видимому, местоглаголия могут быть образованы не только от указательных и вопросительных, но и индефинитных местоименных основ.

Из изложенного может сложиться впечатление, что местоглаголие как «настоящее местоимение», т.е. глагол, образованный от местоименной основы, характерно для языков с агглютинативным (инкорпоративным) типом деривации. Это не совсем верно. Для агглютинирующих языков, видимо, можно предположить более развитое отместоименное слово- и формообразование, однако, как мы отмечали выше, лакуна местоглаголия в языках, имеющих класс местоимений, существует облигаторно, соответственно, должны существовать способы ее заполнения. Другой вопрос, насколько последовательно эти потенциальные возможности реализуются в системе конкретного языка и какие средства для этого привлекаются.

Интересно в этом плане привести материал русских диалектов, где в функции местопредикатива часто выступает указательное местоимение *тот*, точнее форма родительного падежа единственного числа *того*: *мы его сейчас того..* (= что-то сделаем: уберем, распакуем, побьем и т.д.); *ты что, совсем не того?..* (= не понимаешь, не соображаешь, с ума сошел и т.д.); *ты уже растого печку?* (= растопил, разбросал в ней угли, закрыл, разобрал и т.д.). Благодаря ярко выраженной семантике неопределенности, незнания, в том числе, незнания, как и что сказать в данной ситуации, местоимение *того / не того* употребляется в тех случаях, когда говорящий затрудняется в выборе нужного слова, заменяет его более «ходовым», используемым «на все случаи жизни». Такое словоупотребление можно наблюдать на всем пространстве русского просторе-

чия, например, *растого, растово*, недоговоренно: разделить, разнять, раздумать. *Я было и тово, ну так вить жена не тово, ну уж и я растово* [Даль 1982: 78].

Указательное местоимение *тот* в дискурсивной функции активно функционирует и в северо-восточных русских диалектах, особенно в говорах Усть-Цилемского района Республики Коми, где достаточно компактно и изолированно проживает русское старожильческое население, сохраняя как культурные, так и языковые особенности. Производные этого местоимения имеют очень общее значение, реализуясь в конкретной речевой ситуации скорее «для связи слов», нежели передачи конкретной информации.

Среди прочих дериватов, от основы *того*, а также *тогов* «принадлежащий тому» с участием глагольных аффиксов образованы местоглаголия с собственно местоименной семантикой, реализующейся в конкретной речевой ситуации, в условиях референции, когда участникам коммуникативного события хорошо известен предмет разговора.

Наиболее последовательно представлен местоименный глагол *тоговотать* «делать что-либо», который может быть соотнесен с любым действием, актуальным для данной ситуации, например: *вы там в мячь-то играете, траву-то не тоговотайте* (= не мните, не топчите); *потоговотай мне спину, я уш сама тоговотать не могу* (= тереть мочалкой); *я хотела тоговотать пряжу, да внук пришол* (= красить); *малых-то при-соли карасей, а больших не тоговотай* (= не соли); *не тоговотай уш это, не говори* [СРГНП 2005, 2: 351]<sup>4</sup>.

От основного относительно нейтрального глагола *тоговотать* с помощью различных префиксов образуются многочисленные формы с коннотативными значениями, вроде: *пьяна напилася да фся растоговоталася, шыни-ти (волосы) фси растрепалася; стоговотают шэрсь, выскоблют, выдывают кожу; двоё-то убежали, а третьего поимали, не мог стоговотаце, убежать* [СРГНП 2005, 2: 213, 307]; *так не могут жить, щэбы не перетоговотать* (т.е. не перессориться); *каку-ле копейку получают, протаговотают* [Дронова 2008: 82, 133]; *сватать надо дефку, обтоговотайте дело; лишно сказать нельзя, так перетоговотают и не подумаш; мужык крепкой, поболее да перетоговотаеце, перемогаеце* [устное сообщение Т.И. Дроновой] и др.

Кроме местоглаголия *тоговотать* в русских говорах Припечорья зафиксированы многочисленные глаголы с основой *того*, которые также выполняют референциальную функцию. Приведенные ниже деривационные модели обладают высокой потенциальной продуктивностью, однако вербализация осуществляется, по-видимому, по дефектным парадигмам, во всяком случае, ни в опубликованных источниках, ни из устного опроса носителей диалекта нам не удалось обнаружить основных (беспрефиксных) форм, а только суффиксально-префиксальные, например: *\*(тоготовать): шпану поставили караулить хлеб, а они украли, оттоговотали, в лагерь попали; иш, паря, как вы там фсе растоготовались, фсё выписываете посылторгом; \*(тогоделать): перетогоделала фсё ф сундуке, фсё переверотила; надо рукавицу сперва растогоделать, а потом надвязать; \*(тогодеть): перетогодели, перемерзли ноги, стали болеть; ницё не подошло к языку моёму, надо бы сказать: отделить, а я – оттогодеть надо рыбы; \*(тогодить): пеструху растогодила, вот суп варице* (т.с. зарезала); *\*(тоготать): виска (речка) была рыбна, топерь дома фсё натоготали, наделали* [СРГНП 2005, 2: 213, 463, 500, 547] и мн. др.<sup>5</sup>

Таким образом, вербализация местоглаголий непосредственно связана с языковой референцией, когда коммуникативные задачи преобладают над собственно номинативными. В дискурсе происходит экспрессивная актуализация конкретного речевого акта, многие языковые единицы приобретают специфические значения и функции, соответственно, проявляется экспрессивное формо- и словообразование.

<sup>4</sup> Здесь и далее примеры даются в написании источников.

<sup>5</sup> Подробнее см. мою статью «Местоглаголие в северо-восточных русских говорах» (в печати).

В условиях спонтанного речепорождения появляются элементы, которые могут впоследствии структурироваться в систему языка, но могут и остаться на уровне «говoreния» как факты данного речевого случая с участием данного языкового коллектива. По-видимому, местоглаголия не включаются в традиционные описания языкового действия именно потому, что они являются скорее потенциальной, нежели последовательно вербализованной категорией; выполняя собственно дискурсивную функцию, они часто остаются фактом речи, лишь иногда поднимаясь до уровня языковой системы.

С другой стороны, рассмотренные местоглаголия вполне вписываются в систему местоименных слов не только по семантике и грамматическому поведению, но и по онтологическим признакам. Возможно, прав В.З. Панфилов, который пишет, что местоимения выполняют в истории языка две функции. На ранних ступенях человеческого познания они служат для выделения предметов, качеств, количеств, т.е. используются до употребления лексически полнозначного слова, а не вместо него. Позже, с появлением конкретных понятий местоимения уже могут выступать в заместительной функции, поскольку контекст позволяет установить, с каким именно понятием то или иное местоимение соотносится [Панфилов 1962: 226–227]. Это как нельзя лучше относится к местоглаголиям, которые как факт речи связаны с сиюминутным актом говорения и полностью зависят от целевых установок субъектов речи. С этой точки зрения местоглаголия не являются таким уж «типологически редким классом слов», как это принято считать [ЛЭС 1990: 295], тем более что, по-видимому, они имеются во многих языках и особенно в их диалектах и говорах<sup>6</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богораз 1901 – В.Г. Богораз. Областной словарь колымского русского наречия // Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т.86. СПб. 1901.
- Богораз 1934 – В.Г. Богораз. Луораветланский (чукотский) язык // Языки и письменность народов Севера. Ч. III. М.; Л., 1934.
- Булатова 2003 – И.Я. Булатова. Местоимения в сибирской группе тунгусо-маньчжурских языков // Acta Linguistica Petropolitana. Труды ин-та лингвистических исследований. Т. 1. Ч. III. СПб., 2003.
- Бюлер 2000 – К. Бюлер. Теория языка. М., 2000.
- Вейнрейх 1970 – У. Вейнрейх. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. Вып. V (Языковые универсалии). М., 1970.
- Даль 1982 – В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1982.
- Дронова 2008 – Т.И. Дронова. Фольклор Усть-Цильмы: пословицы, поговорки, присловья. Сыктывкар, 2008.
- КРК 2000 – Коми-роч кывчукор [Коми-русский словарь] / Отв. ред. Л.М. Безносикова. Сыктывкар, 2000.
- ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Майтинская 1969 – К.Е. Майтинская. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
- Маслов 1975 – Ю.С. Маслов. Введение в языкознание. М., 1975.
- Падучева 2002 – Е.В. Падучева. Высказывание и его соотношенность с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений). М., 2002.
- Панфилов 1962 – В.З. Панфилов. Грамматика нивхского языка. Т. 1. М.; Л. 1962.
- Подлесская 2006 – В.И. Подлесская. О грамматикализации и «прагматизации» маркеров речевого затруднения: феномен преративной подстановки // Третья конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей. СПб., 2006.
- Поппе 1938 – Н.Н. Поппе. Грамматика бурят-монгольского языка. М.; Л., 1938.

<sup>6</sup> Например, в сербохорватских диалектах имеется глагол *онодити* букв. «этить» [Вейнрейх 1970: 231], связанный, по-видимому, с местоимением *онакав* «тот»; в юрлинском говоре северорусского наречия (Пермский край) зафиксирован глагол *товнять* «делать, заниматься с чем-либо»: *Варя, вставай, пойдём кулигу товнять. Надо убрать уж её* [СРГКПО 2006: 238].

- СГТЯ 1988 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология, М., 1988.
- СРГКПО 2006 – Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа / Сост. Н.Ю. Копытов, И.А. Подюков, А.В. Черных. Пермь, 2006.
- СРГНП 2005 – Словарь русских говоров низовой Печоры / Под ред. Л.А. Ивашко. СПб. Т 1. 2003; Т. 2. 2005.
- УРС 1983 – Удмуртско-русский словарь / Отв. ред. В.М. Вахрушев. М., 1983.
- ЧРС 1961 – Чувашско-русский словарь / Отв. ред. М.Я. Сироткин. М., 1961.
- Шведова 1995 – *Н.Д. Шведова, А.С. Белоусова*. Система местоимений как исход смыслового строения языка и его смысловых категорий. М., 1995.
- Шведова 1998 – *Н.Д. Шведова*. Местоимение и смысл. М., 1998.
- Шнейдер 1936 – *Е.Р. Шнейдер*. Краткий удэйско-русский словарь. М.; Л., 1936.
- ЭСЧЯ 1964 – *В.Г. Егоров*. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
- FPP 2010 – Fillers, pauses and placeholders // N. Amiridze, V.H. Davis, M. MacLagan (eds.). *Typological studies in language*. 2010. 93.
- Podlesskaya 2007 – *V. Podlesskaya*. Parameters for typological variation of placeholders // 10 International pragmatics conference. New York, 2007.
- Poppe 1951 – *N. Poppe*. *Khalkha-Mongolische Grammatik mit Sprachproben und Glossar*. Wiesbaden, 1951.

© 2011 Г. В.В. СЕМЕНОВ

## К ПРОБЛЕМЕ МЕТРИЧЕСКОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В РУССКОМ НЕКЛАССИЧЕСКОМ СТИХЕ XX в.

Статья посвящена проблеме множественности метрических интерпретаций в неклассическом стихе. Исследователь разбирает случаи, когда метрический контекст не позволяет снять эту множественность, и приходит к выводу о заложенном в формальном описании неклассического стиха несоответствии двух представлений о природе этого стиха. Автор говорит о необходимости учитывать метрическую неоднозначность как объективный формальный признак стиха.

### 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В этой статье мы хотим рассмотреть проблему, которая до сих пор в стиховедческой исследовательской традиции не становилась предметом монографического изучения. При этом с ней сталкивались все: от неискушенных читателей поэзии до опытных стиховедов. Любому читателю приходилось испытывать затруднения при интерпретации просодии некоторых стихов. При чтении стихотворений, написанных классическими размерами, такие затруднения воспринимаются читателем обычно как дефект, отклонение от метрической схемы (значимое оно или нет – это отдельный вопрос). Но когда перед читателем текст, написанный неклассическим размером – дольником, тактовиком, акцентным или свободным стихом, – появление там стихов с возможностью двоякого метрического истолкования становится гораздо более вероятным и, строго говоря, ожидаемым.

Чтобы пояснить суть проблемы, мы начнем наш разговор с небольшого стиховедческого разбора. Мы проанализируем метрику хрестоматийного стихотворения О. Мандельштама «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» (1920).

Просодия большинства стихов подталкивает читателя при первом чтении охарактеризовать размер этого стихотворения как анапест, хотя отдельные строки – например, предпоследняя – явно выпадают из этой схемы. При более детальном рассмотрении, однако, окажется, что из двенадцати строк стихотворения только восемь не противоречат анапестической модели. Приведем здесь текст стихотворения, снабдив его схемой, где знак «–» обозначает ударный слог, совпадающий с иктом по метрической схеме анапеста, знаком «U» мы обозначим безударные слоги, знаком «X» обозначим слоги, которые имеют словесное ударение, но не соответствуют метрической схеме анапеста. В следующей колонке мы укажем, с точки зрения какого классического размера этот стих может быть непротиворечиво описан («Ан5» и «Ан4» обозначают соответственно пяти- и четырехиктный анапест, «Д6» – шестииктный дактиль).

В первом стихе мы наблюдаем словесное ударение на слове *сестры* и увеличение второго междуиктового интервала до трех слогов. Однако в контексте всего четверостишия читатель склонен трактовать первое ударение как сверхсхемное, а трехсложный интервал – как наращение на цезуре, которая, за исключением строк 6 и 11, последовательно соблюдается в стихотворении.

		схема	размер
1	Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.	XU-UU-UUU-UU-UU-U	?
2	Медуницы и осы тяжелую розу сосут.	UU-UU-UU-UU-UU-	Ан5
3	Человек умирает. Песок остывает согретый,	UU-UU-UU-UU-UU-U	Ан5
4	И вчерашнее солнце на черных носилках несут.	UU-UU-UU-UU-UU-	Ан5
5	Ах, тяжелые соты и нежные сети,	XU-UU-UU-UU-U	Ан4
6	Легче камень поднять, чем имя твое повто- рить!	XU-UU-U-UU-UU-	?
7	У меня остается одна забота на свете:	UU-UU-UU-U-UU-U	?
8	Золотая забота, как времени бремя избыть.	UU-UU-UU-UU-UU-	Ан5
9	Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.	UU-UU-UU-UU-UU-U	Ан5
10	Время вспахано плугом, и роза землю была.	XU-UU-UU-UU-UU-	Ан5
11	В медленном водовороте тяжелые нежные розы,	XUUUUU-UU-UU-UU-U	Д6
12	Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!	XU-UU-UU-UU-UU-	Ан5

Итак, первое четверостишие заявляет о пятииктном анапесте как о преобладающем размере стихотворения. Но уже первая строка второго катрена эту инерцию разрушает. Она может быть прочитана как четырехиктный анапест. В то же время на первом слоге этого стиха имеется заметное при чтении эмфатическое ударение на междометии *Ах*. И вот тут читатель оказывается в ситуации выбора. Если для него важно, чтобы сохранялось количество иктов, то он будет интерпретировать первый слог как сильное место. Тогда схема этого стиха получится следующей: -U-UU-UU-UU-U. Получается пятииктный дольник, похожий на дактиль с усеченным на один слог первым междуиктовым интервалом (дактилоидный дольник). В этом случае, правда, нарушается установившаяся была цезура после второго икта.

Если же для читателя важнее сохранить анапестическую инерцию, то он будет рассматривать ударение на первом слоге как сверхсхемное. Мы не будем сейчас пытаться установить, какой читательский выбор будет правильным в контексте стихотворения. Для нас важно отметить, что обе интерпретации заставят читателя пересмотреть принципы рецитации стихотворения в целом. Если говорить о «сверхсхемных» ударениях на первых слогах, то интересно проследить их расположение в тексте. В первом четверостишии только одна такая строка. Во втором их уже две – пятая и шестая. В последнем четверостишии все строки будут начинаться ударным слогом. И если строка 9 открывается двойственным (по терминологии Жирмунского, см. [Жирмунский 1925: 95–120]) союзом *словно*, то в строке 11 это ударение делает невозможной интерпретацию стиха по модели анапеста, поэтому не может быть проигнорировано. Отсюда следует, что восприятие стиха в качестве дактилоидного дольника становится все более оправданным по мере чтения стихотворения. Эта возможность подкрепляется еще и тем, что во втором четверостишии есть строки, которые могут быть описаны только как дольник (6, 7). И если сокращение второго междуиктового интервала в шестой строке можно объяснить цезурным усечением, то в седьмой строке сокращенный интервал находится после третьего икта, то есть это дольник в чистом виде.

Из этих наблюдений следует, что проблема выбора читателем метрической интерпретации отдельных стихов будет влиять на интерпретацию метрики всего стихотворения. Иными словами, двойственность метрической интерпретации стиха перестает в данном случае быть частной читательской проблемой, она влияет на восприятие метри-

ческой природы текста в целом. Если рассматривать метрическую двойственность как самостоятельный признак стиха, то стихотворение Мандельштама позволяет сделать интересные наблюдения. В начале стихотворения эта двойственность проявляется слабо (только в первой строке), устанавливается вполне определенная метрическая схема. Во втором четверостишии эта схема нарушается на разных уровнях стиха («сверхсхемное» ударение на первом слоге, усечение на цезуре, вариативность междуиктовых интервалов). В третьем четверостишии эти нарушения доводятся до предела: строка 11 в принципе не укладывается в схему анапеста. В последней строке стихотворения происходит восстановление метра, но с сохранением двойственности метра вследствие словесного ударения на первом слоге стиха. Причем после дактилической строки *В медленном водвороте...* дактилоидное прочтение последнего стиха для читателя окажется предпочтительным.

Важно отметить, что метрическая интерпретация этого стихотворения будет тесно связана с другими уровнями текста. Если говорить о последней строке, то ударение на первом слоге читателю трудно проигнорировать еще и потому, что слово *розы*, с которого начинается строка, представляет собой эпизевкис: этим же словом заканчивается предыдущий стих. Вообще говоря, слово *роза* является ключевым для всего стихотворения, а в последнем четверостишии оно встречается трижды, что тесно связано с содержанием: роза становится символическим изображением главной темы стихотворения – «общности несовместимого»: *тяжести и нежности, пчел и ос, черных носилок и вчерашнего солнца*. Наряду с прочим, такая общность характеризует и две ритмические инерции: анапестическую и дактилическую, сложным образом переплетающиеся в стихотворении.

Кроме того, при внимательном рассмотрении шестииктный дактилоидный дольник, конкурирующий в этом стихотворении с пятииктным анапестом, сильно напоминает русский дактилохореический гекзаметр. Наблюдения о «гекзаметричности» этого стихотворения делались и до нас (см., например [Бушман 1964: 37–38; Сошкин 2010]), мы не будем сейчас на этом останавливаться. Однако мы не можем не отметить здесь, что гекзаметр, «просвечивающий» сквозь анапест, также будет влиять на восприятие читателем плана содержания этого стихотворения. Таким образом, изучаемая нами проблема выходит за рамки метрики и начинает соотноситься с другими уровнями текста.

## 2. ДОЛЬНИК КАК ПРИМЕР СТОЛКНОВЕНИЯ ЯЗЫКОВ ОПИСАНИЯ

Встречая такие «двойственные» стихи, читатель свободен в выборе предпочтительной метрической и просодической интерпретации. Стиховеду в этой ситуации сложнее: он не может при формальном описании стиха руководствоваться субъективными критериями выбора того или иного варианта прочтения стиха. В этом случае выбор той или иной модели описания начинает носить конвенциональный характер. Приведем в этой связи один пример. Как известно, дискуссия о формальном описании и происхождении стиха «Песен западных славян» Пушкина растянулась на десятилетия. Об этом стихе в разное время писали Томашевский, Бобров, Колмогоров и др.<sup>1</sup> Этот спор сильно повлиял на формирование теории русского тактовика. Примечательно, что основанием для этой дискуссии стала одна особенность стиха «Песен»: зачастую его можно прочитать по разным метрическим моделям, и, как следствие, можно сделать разные выводы о его происхождении или соотнесенности с силлаботоническим стихом.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что затронутая нами проблема двойственности метрической интерпретации будет особенно актуальной для пограничных случаев, когда стих может быть одновременно описан как в понятиях тонического стиха, так и с точки зрения принципов силлаботоники. В каждом случае двойственности метрической интерпретации принципы одной метрической системы будут сложным образом взаимодействовать с правилами и ограничениями другой.

<sup>1</sup> См. [Томашевский 1916; Бобров 1964; Колмогоров 1966].

Поясним нашу мысль на примере такого метра, как дольник. В современной науке существует представление о том, что дольник произошел от трехсложных метров в результате варьирования междуиктовых интервалов при сохранении константного количества ударений. Стиховеды при интерпретации долника обычно исходят из того, что генетически это дериват правильных двухсложных и трехсложных размеров (по преимуществу – последних), образующийся в результате отхода от принципа упорядоченности стихов по числу слогов. В свою очередь, силлабическая урегулированность нарушается вследствие вариативности междуударных (т. е. междуиктовых) интервалов.

Если в вопросе генезиса долника среди стиховедов разногласий, в принципе, не имеется, то с точки зрения функциональной соотнесенности этого размера с классической метрикой выделяется два подхода. Один подход обозначил Г.А. Шенгели, который вместо терминов «долник» и «тактовик» использовал понятие паузного (*леймического*) стиха. По концепции Шенгели, для любого паузного стиха можно установить метр-прототип, достаточно лишь определить паузы – леймы, появляющиеся на месте пропущенных слогов в стихотворении (см. [Шенгели 1923; 1960]). Другой подход реализован в работах М.Л. Гаспарова (в рамках данной статьи мы не видим смысла давать исчерпывающую историю вопроса, сошлемся лишь на наиболее известную работу [Гаспаров 1968]). Особенность этого подхода в том, что дольник был описан как самостоятельный размер, не соотнесенный напрямую с размером-прототипом (хотя проблема деривации этих размеров Гаспарова тоже всегда занимала).

Здесь интересно то, что с точки зрения этих подходов к долнику могут быть применимы и разные принципы описания. Если мы рассматриваем дольник с гаспаровской точки зрения, то он будет описываться в категориях тонического стиха, который предполагает, например, жесткое соответствие икта словесному ударению. Если мы подходим к долнику как к леймическому стиху, то на него будут распространяться правила, применяемые к силлаботоническому стиху, например, относительно допустимости пропусков схемных и сверхсхемных ударений, сдвигов ударений (инверсий) и т. п.

Несмотря на то, что условность тонической упорядоченности в переходных размерах была замечена довольно давно, наука о стихе в целом продолжает исходить из того, что принцип равноударности для переходных размеров является определяющим.

Наиболее «тонким» местом этой теории всегда являлась проблема пропуска схемного ударения в неклассическом стихе. Эта проблема была затронута еще в ранних работах М.Л. Гаспарова о русском долнике (в частности, в упомянутой выше статье). Однако ученый просто констатирует пропуски ударений в строках типа *Неожиданный Аквилон* и выделяет их в отдельную группу.

Здесь следует также отметить, что эта проблема по большому счету не влияет на формальное описание в случае относительно коротких размеров, таких как трехиктный дольник. Однако уже в случае четырехиктного стиха появляется много спорных случаев. Сам Гаспаров, описывая ход работы над четырехиктным долником, сделал несколько оговорок к интерпретации некоторых строк [Гаспаров 1974: 250–253]. На значительное количество спорных случаев ученый указывает также в другой работе, посвященной изучению стихов В. Маяковского [Там же: 402–410]. Большая часть этих оговорок касается проблем, о которых мы будем говорить ниже: акцентная двусмысленность, скопление коротких ударных слов, двойственные клитики с неясным слово-разделом, метрическая интерпретация анакрус и т. д. Эти случаи ученый рассматривает как исключения, в связи с чем говорит: «Поэтому мы учитывали такие строчки просто на слух, по ритмической инерции, без каких-либо принципиальных обобщений» [Там же: 250]. Возвращаясь к проблеме пропуска схемного ударения в долнике, следует заметить, что место икта в таких стихах оказывается принципиально неопределимым. Можно говорить о потенциально ударных проклитиках и энклитиках, о дополнительных ударениях на словах, имеющих несколько основ, но каждое такое описание не бу-

дет однозначно определять сильную позицию. При пропуске ударения сильное место в тоническом стихе всегда будет «где-то здесь»<sup>2</sup>.

Еще одна проблема связана с фактом «сверхсхемного» ударения в дольнике. С одной стороны, наличие ударных слогов вне икта в тоническом стихе – нонсенс. С другой стороны, ритмическая инерция заставляет нас часто рассматривать некоторые ударения как избыточные. Так, в стихотворении Бродского «Ниоткуда с любовью, надцатого марта...», написанном неурегулированным дольником с константной двусложной анакрусой (т. е. анапестом), есть строчка:

Поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне...

Читатель, привыкший к анапестомной инерции, как бы не замечает, что на анакрусе находится полноударное наречие *поздно*. Тем не менее, следуя теории тонического стиха, мы должны рассматривать первый слог такого стиха как ударный. Подобная вариативность может быть устранена в случае, когда стихи в тексте упорядочены по числу ударений. Если же мы имеем дело с тонически неурегулированным стихом, особенно если такая вариативность становится конструктивным принципом построения стиха, то мы не можем выносить ее за рамки описания стиха. Так, в случае процитированной выше строки «деривационный» подход к неклассическому стиху вступает в конфликт с тоническим подходом. Если рассматривать этот стих как дериват трехсложного метра, то мы предпочтем остановиться на анапестомной модели, поскольку она для всего текста является доминирующей. В этом случае мы будем рассматривать ударение на слове *поздно* как сверхсхемное. В категориях же тонического стиха первый ударный слог будет рассматриваться нами как икт. Это подтверждается и метрическим контекстом: предыдущая строка (*и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих*) – тоже шестииктная (хотя и с двусложной анакрусой).

### 3. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ МЕТРИЧЕСКУЮ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Попробуем систематизировать явления, способствующие возникновению двойственности метрической интерпретации в неклассической метрике. В качестве иллюстративного материала мы будем опираться преимущественно на тексты И. Бродского, стих которого мы изучаем особенно внимательно в связи с описываемой проблемой<sup>3</sup>. Случаи метрической неоднозначности теоретически можно было бы разделить на две группы. В первую вошли бы стихи, где автор изначально вносит элемент игры в построение метрики текста (как, например, в разобранный выше стихотворении Мандельштама). Во вторую группу можно было бы отнести случаи, когда эта неоднозначность возникает не в результате авторской игры, а вследствие несовершенства языка описания метрики таких стихов. Однако здесь мы не будем разграничивать эти случаи. Во-первых, принципы этой дифференциации не всегда ясны: мы никогда не можем уверенно судить о вовлеченности тех или иных элементов стиха в художественную игру. Во-вторых, основное внимание мы хотели бы обратить не на выявление авторской поэтической стратегии, а на восприятие читателем метрики текста как функционального фактора.

По нашим наблюдениям, метрическая неопределенность стиха чаще всего возникает вследствие акцентной размытости, когда опорных ударений слишком много или слишком мало для соотношения стиха с одним определенным метром. Здесь следует отметить, что во многом спорные моменты просодии стиха обусловлены гибкостью русской акцентологии. Укажем в этой связи несколько случаев.

<sup>2</sup> В частности, в связи со стихом Бродского эту проблему рассматривал Вяч. Вс. Иванов [Ivanov 1996]. Он тоже говорит о том, что место пропущенного икта в неклассическом стихе поэта теряется.

<sup>3</sup> Заслуживает внимания тот факт, что сам Бродский представляет неклассический стих именно в категориях деривационной модели, см. об этом нашу статью [Семенов 2010а].

В неклассическом стихе при наличии сверхдлинных междуударных интервалов возникает проблема локализации икта или затрудняется подсчет числа сильных мест. Рассмотрим следующее четверостишие и обратим внимание на третью строку:

Темно-синее утро в заиндевевшей раме  
напоминает улицу с горящими фонарями,  
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,  
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.

Мы видим, что общая для этого четверостишия метрическая тенденция – пятииктный стих, который делится на два полустишия соответственно двух- и трехиктного дольника. Но третья строка может быть прочитана по двум разным моделям. В категориях тонического стиха это будет четырехиктный тактовик (поскольку между вторым и третьим иктом будет трехсложный интервал), читающийся по схеме UU–UU UU–UU–UU–U. Но мы можем прочитать этот стих и с деривационной точки зрения. В этом случае мы установим позиции пропущенных слогов – паузы · для восстановления схемы пятииктного анапеста. Это будут две паузы (обозначим их знаком «V») на границе полустиший, одна из которых, по терминологии Шенгели, будет корневой, поскольку находится на месте пропущенного икта: UU–UU–UVV'UU–UU–U. С этой точки зрения мы рассматриваем данный стих как пятииктный, где третий икт просто пропущен.

В классическом стихе проблема акцентной размытости оборачивается тем, что А. Квятковский называл биметрией [Квятковский 1966], а Г. Шенгели описывал на примере стиха *И кланялся непринужденно* [Шенгели 1960:155–156]. Здесь особенно интересны случаи, когда деривационная модель позволяет установить более одного метра-прототипа. Укажем в качестве примера на стихотворение М. Цветасвой «Неподражаемо лжет жизнь...», которому мы посвятили отдельное исследование [Семенов 2010б]. В этом стихотворении сосуществуют две возможные модели деривации: стих в равной мере может рассматриваться как производное от ямба и от дактиля, причем на протяжении текста предпочтение будет попеременно отдаваться то одной, то другой модели.

Кроме того, двойственность метрической интерпретации может появляться вследствие столкновения ударений на двух соседних слогах таким образом, что игнорирование одного из ударений запускает одну модель деривации, а реализация этого ударения – другую, что дает возможность прочтения стиха по разным метрическим моделям. Так, в стихотворении М. Цветасовой «Удостоверишься – повremени!..» (1922) строка *Нет, руки за голову заломив...* в зависимости от ударения на первом или втором слоге будет читаться по метрическим схемам дактиля или ямба. Для этого стихотворения биметрия пятой строки важна, потому что во втором четверостишии происходит переход предпочтительной деривационной модели с ямбической на дактилическую. Очень часто к таким случаям относятся синтагмы, в которых фразовое или логическое ударения могут делать двойственные слова акцентологически равноправными с полноударными.

Еще один путь релятивизации метрики – акцентологическая вариативность некоторых слов, а также неясные ударения на окказиональных словах. Так, пушкинский стих *Старуха пряла свою пряжу...* в зависимости от ударения на глаголе может быть прочитан и как ямб, и как амфибрахий.

В качестве более развернутого примера проследим на материале текстов И. Бродского реализацию акцентологических вариантов глагола *шевелить* в форме 3 лица единственного числа настоящего времени. В стихотворении «Не тишина – немота...» (1965) это слово появляется в рифменной позиции, которая диктует ударение на последнем слоге (*болит – шевелит*).

Тем не менее, в стихотворении «Лагуна» (1973) преобладающий размер текста (четырёхиктный дольник) указывает на то, что для сохранения размера ударение должно быть на предпоследнем слоге:

и звезда морская в окне лучами  
штору шевелит, покуда спишь.

В стихотворении «Над восточной рекой» (1974) мы опять встречаем рифму *болит – шевелит* в виде прямой автоцитаты из стихотворения 1965 г.

В стихотворении из цикла «Часть речи» – «Узнаю этот вестер, налетающий на траву...» (1976) – глагол *шевелит* находится в акцентно-неопределенной позиции: *шевелит в ночи, как ярлык в Орду*. Преобладание анапестоидного ритма в этом стихотворении делает предпочтительным для читателя ударение на последнем слоге, но возможно и альтернативное ударение.

В другом тексте из этого же цикла «Всегда остается возможность выйти из дому на...» словоформа *шевелит* употреблена в метрически неопределенном контексте: *На пустой голове бриз шевелит ботву...* С одной стороны, мы видим здесь автореминисценцию стихотворений «Не тишина – немота...» и «Над восточной рекой», что обосновывает ударность последнего слога. С другой стороны, ударение на предпоследнем слоге позволяет прочесть этот стих по модели чистого анапеста.

Пример окказионализма, размывающего просодию стиха, можно встретить в строке Бродского *Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря*, где слово *надцатое*, разумеется, не имеет нормативного ударения. Сам поэт при чтении делал ударение на втором слоге. Многие читатели, однако, склонны акцентировать первый слог. Акцентологическая неопределенность окказиональных слов начинает играть структурообразующую роль в таком тексте, как «Прощальная ода», последние две строфы которого по большей части состоят из окказиональных ономастических слов (*Карр, чивичили, карр...*).

К акцентной релятивизации, характерной для классических размеров, можно отнести также случаи акцентной инверсии. Это может быть «легкая» инверсия, допустимая в русских двусложных размерах, – с переносом ударения на односложное слово. Но это может быть и запрещенная в русском стихе инверсия на слове, объем которого превышает два слога. Такие случаи, крайне редкие в поэзии XIX в. (вспомним упоминаемый Шенгели пушкинский ямбический стих *И семи тысячах душах...*), регулярно встречаются в поэзии первой половины XX в. (у Цветаевой, Брюсова, Асеева и др.). В основном именно использование поэтами Серебряного века запрещенной инверсии в ямбе заставило в свое время В. Жирмунского признать, что после стиховедческих штудий А. Белого представления о ямбе сильно поменялись [Жирмунский 1925: 43].

Как мы уже сказали, инверсия характерна для классического стиха. Однако, применяя к неклассическому стиху деривационную модель, мы не можем не учитывать, что потенциально это явление может реализовываться и в дольнике. Здесь интересные примеры можно найти в текстах М. Цветаевой 1920-х гг. Так, уже упоминавшееся нами стихотворение «Удостоверишься – повремени!..» можно формально описать и как трехсложный силлаботонический стих с переменной анакрусой и с вкраплением строк дольника, и как ямб с вкраплением строк дольника. Допустим, мы выбираем вторую модель. Теперь рассмотрим строки дольника, нарушающие схему ямба:

-- Глоткою соловьиной!...

<...>

Горсточке красной глины!

Деривационный подход позволяет нам сделать вывод, что разрушение ямбической модели произошло здесь не вследствие появления в тексте пауз – лейм, а вследствие того, что первое ударение «сместилось»: по схеме ямба оно должно быть на втором слоге, а в этих строках оно на первом. Это явление можно наблюдать в целом ряде стихотворений Цветаевой начала 1920-х гг., таких как «Купальщицами, в легкий круг...», «Балкон», «Так, заживо раздав...», «Неподражаемо лжет жизнь...» и др.

Одним из дополнительных факторов возникновения метрической двойственности в стихе мы считаем семантизацию изначально не семантических элемен-

то в стихового ряда, что влияет на метрическую интерпретацию стиха. Например, безударным сегментам речевого потока может приписываться условная ударность вследствие анаграммирования. Так, в стихотворении И. Бродского «1972» есть следующий фрагмент:

Подскользнувшись о вишневую косточку,  
я не падаю: сила трения  
возрастает с паденьем скорости. <...>  
старение! Здравствуй мое старение!

Вследствие встраивания слова *возраст* в слово *возрастает* первый слог третьего стиха становится условно ударным, что позволяет рассматривать размер этого стиха и как трехиктный, и как четырехиктный дольник. В сочетании с метрической двойственностью других строк этого фрагмента, возникающей на разных основаниях, колебание стиха между трех- и четырехиктным дольником становится релевантным для читателя при интерпретации размера текста.

Еще один характерный пример взаимосвязи словесного ударения и вторичной семантизации элементов текста можно встретить в стихотворении «Помнишь свалку вещей на железном стуле...» (1978), где подтекст влияет на акцентуацию первых слогов слов в рифменной позиции: *подлежащее* и *настоящее*, будучи соотнесенными, приобретают новый смысл:

сказуемое, ведомое подлежащим,  
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим...

Еще одна область релятивизации стиха – сегментация стихового ряда (границ полустиший, стихов, строф и т. д.). Эти границы могут размываться вследствие акцентной амбивалентности отдельных единиц или исходя из неоднозначной логико-синтаксической структуры текста. У Бродского наиболее интересные явления в этой связи возникают на уровне полустиший в его позднем длинном неклассическом стихе, который уже долгое время является объектом самого пристального внимания стиховедов.

Покажем на примере двух характерных явлений, как деление на полустишия обуславливает возникновение метрической двойственности в стихе Бродского. Первое явление касается внутренней структуры самих полустиший. По нашим наблюдениям, для определенного круга текстов Бродского будет характерен длинный неклассический стих с предпочтительной ритмикой полустиший. В первых полустишиях будет реализована модель усеченного ДЗ (--UU-U-(U(U))) или полный Ан2 (UU-UU-(U(U)))<sup>4</sup>, а для второго – размытый дольник, чаще всего с шестисложной основой, часто – трехиктный, но двухударный, с пропущенным вторым «схемным ударением», чаще всего с односложной анакрусой (типичная схема: U-UUUU-(U(U))). Вот некоторые примеры таких стихов:

	<b>I полустишие</b>	<b>II полустишие</b>
Ты забыла деревню,   затерянную в болотах...	UU-UU-U	U-UUUU-U
Ниоткуда с любовью,   наццатого мартабря...	UU-UU-U	U-UUUU-
Узнаю этот ветер,   налетающий на траву...	UU-UU-U	U-UUUU-
Напоминает улицу   с горящими фонарями	UUU-U-UU	U-UUUU-U

Однако в ряде стихотворений (например, «Деревянный Лаокоон...», «Я родился и вырос...» и др.) поэт в некоторых стихах либо меняет местами ритмически предпочтительные полустишия, либо ставит рядом два «первых» или два «вторых» полустишия:

<sup>4</sup> Их взаимозаменяемость стала предметом нашего отдельного исследования в работе [Семенов 2009].

**I полустишие II полустишие**

кипящий на керосинке, | максимум – крики чайк...  
 раковина ушная | в них различит не рокот...  
 и улица вдалеке | сужается в букву «У»,

U-UUUU-U    -UU-U-U  
 -UUUU-U    -UU-U-U  
 U-UUUU-    U-UU-U-

Получаются стихи, «перевернутые» с ритмической точки зрения, вследствие чего у читателя размывается метрическая интерпретация.

Еще одно явление, порой возникающее в неклассическом стихе, – это явление «наползания» стихов и полустиший друг на друга. Этому явлению мы посвятили отдельное исследование. Суть такого «наползания» в том, что граница полустиший в стихе не всегда может быть однозначно определена. Эта проблема связана с предыдущим явлением и чаще всего возникает в тех текстах, где непривычная ритмика второго полустишия проецирует нарушение читательского ожидания на другие стихи. Рассмотрим в качестве примера первое четверостишие из стихотворения «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...»:

**I полустишие II полустишие**

Ты забыла деревню, | затерянную в болотах  
 залесенной губернии, | где чучел на огородах  
 отродясь не держат – | не те там злаки  
**вар.1:** и дорогой тоже | все гати да буераки  
**вар.2:** и дорогой тоже все гати | да буераки

UU-UU-U    U-UUUU-U  
 UU-UU-UU    U-UUUU-U  
 UU-U-U    U-U-U  
 UU-U-U    U-UUUU-U  
 UU-U-UU-U    UUU-U

Вплоть до третьего стиха мы видим, что реализуется обычная структура полустиший. Но в третьей строке второе полустишие короткое, и при чтении четвертой строки читатель оказывается перед выбором: брать сму за отправную точку при членении строки первое полустишие предыдущей строки или второе. Подчеркнем, что это будет влиять как на интонационную, так и на метрическую интерпретацию стиха.

Последний аспект, который нам хотелось бы затронуть – это влияние межтекстовых связей на метрическую интерпретацию стихотворного текста. Ритмико-семантическая реминисценция<sup>5</sup> может выступать как средство размывания метрической интерпретации. Так, у Бродского можно выделить два вида реминисценций и цитат, имеющих значение для метрической интерпретации текста, – это автоцитация и отсылки к другим авторам. К примеру, два стихотворения из цикла «Часть речи» – «Около океана, при свете свечи, вокруг...» и «Деревянный Лаокоон, сбросив на время гору с...» – сближаются друг с другом благодаря фонико-ритмической взаимосвязи полустиший *около океана* и *деревянный Лаокоон*. С другой стороны, полустишия *около океана* и *облокотясь на локоть* в качестве самостоятельных строк встречаются в стихотворении «Строфы» (1978). Такая автоцитация указывает на то, что Бродский воспринимает полустишия как самостоятельные ритмические единицы. Кроме того, образ Лаокоона отсылает к поэме Пастернака «Девятьсот пятый год», написанной пятистопным анапестом, размером-прототипом большинства стихотворений цикла «Часть речи»<sup>6</sup>. Ср.:

И. Бродский

Деревянный Лаокоон, сбросив на время гору с  
 плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса...

Б. Пастернак

Точно Лаокоон  
 Будет дым  
 на трескучем морозе...

<sup>5</sup> Мы употребляем это понятие в том значении, в каком оно использовалось М. Безродным [Безродный 1992].

<sup>6</sup> Ср. наблюдения Л. Лосева о значении анапеста для поэтики «Часть речи» [Лосев 2006: 188–194].

Здесь следует подчеркнуть, что все выделенные нами выше уровни взаимосвязаны: при вариативности границ полустихий или при актуализации связи полустихий с другими текстами зачастую будет варьироваться также деривационная модель метрической интерпретации.

#### 4. ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРИЧЕСКОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В СТИХОВЕДЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

В современном стиховедении преобладает установка на «объективное» описание метрики поэтического текста. Иначе говоря, исследователь стиха предполагает, что в процессе версификации автор соотносит просодию стиха с той или иной метрической системой. Это можно назвать авторским метрическим заданием. Любые спорные случаи с этой точки зрения рассматриваются как случайные отступления. Однако в ситуации метрической неопределенности говорить об авторском метрическом задании становится затруднительно. В связи с этим особую пользу могло бы принести исследование читательской стратегии восприятия стихов, которые могут быть прочитаны при помощи разных метрических моделей.

Сталкиваясь с силлаботоникой, читатель без труда вчитывает метр в стихи, часто не обращая внимания на очевидные просодические несоответствия метрической схеме (сверхсхемные ударения и пропуски схемных, ритмические инверсии, в трехсложных размерах – цезурные наращивания и усечения и т. п.). Это обусловлено тем, что читатель находится в маркированном пространстве «классического стиха» и в соответствии с этим выстраивает свою стратегию соотношения просодии стиха с метрической схемой. Конвенциональный характер такой маркированности подтверждается, например, тем, что в пространство этого «классического стиха» могут включаться также отдельные канонизированные несиллаботонические формы, например, русский гекзаметр. Кроме того, начиная со второй половины XIX века происходит «канонизация» отдельных форм дольника. Эту предзаданную стратегию метрической интерпретации покрывает понятие *пилотирующей структуры*, применяемое моделирующей поэтикой. Для большей ясности приведем цитату из работы М.Ю. Лотмана:

Например, каждый стих в силлабическом стихотворении характеризуется определенным числом слогов, квалифицированным читателем воспринимаемом непосредственно, «на слух». Если теперь тот же стих поместить в прозаический контекст или в контекст *vers libre*, то интуитивный счет слогов сразу теряется. Более того, в таких условиях простой подсчет слогов далеко не всегда оказывается возможным. Трактовка таких явлений, как дифтонги, элизии и т. п., во многом зависит от поэтических условностей, а не от норм языка. <...> Ср. «Октябрь уж наступил» Пушкина с «Октябрь; море поутру» Бродского. Почему мы в первом случае считаем 'октябрь' двусложным словом, а во втором – трехсложным? Ответ очевиден: потому, что этого требует стихотворный метр; в *vers libre* или в прозе вопрос о том, сколько слогов в 'октябре', не вставал бы вовсе. Таким образом, в стихотворном тексте, в котором релевантен силлабический принцип, слог не непосредственно соотносится с соседними слогами, но при посредничестве метра. Стихотворный метр – явление принципиально иного, по сравнению с ритмом, уровня: непосредственно в тексте он не содержится. Метр – это пилотирующая структура, просцируемая на последовательность слогов и образующая ритм в результате этой проекции [М.Ю. Лотман 1996: 40].

Уже в первой половине XX в. в русской поэзии наметилась тенденция к нарушению автоматизма читательского восприятия формальных уровней стиха. В это время установилось представление о том, что это нарушение заложено в самой природе художественного творчества. Это нарушение Тынянов называл *сломом* [Тынянов 1977], а Мандельштам обозначал словом *обратимость*, которое, кстати, по отношению к биметрическим стихам использует также Шенгели. Мандельштам трактует это понятие более широко:

Образное мышление у Данта, так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать *обращаемостью* или *обратимостью* (выделено нами. – В.С.). Развитие образа только условно может быть названо

развитием. И в самом деле, представьте себе самолет, – отвлекаясь от технической невозможности, – который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немыслимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обуславливает его возможность и безопасность в не меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора [Мандельштам 1990: 2, 229–230].

Несмотря на то что в обоих случаях речь идет о семантическом строе стихового ряда, во многом эти представления распространяются и на «низшие», формальные уровни стиха, поскольку «тенденция слома» распространялась на все уровни поэтического текста, включая метрику. У каждого поэта, от А. Блока до В. Хлебникова и М. Цветаевой, это нарушение реализовывалось по-своему. Но поэтическая сверхзадача была одна: им нужно было создать для читателя ситуацию метрической неопределенности, когда ни одна *пилотирующая структура* не могла бы быть последовательно применена по отношению к тексту, но в то же время частично к нему можно было бы применить более одной модели метрической интерпретации. Мы назвали бы такой стих постметрическим.

Сталкиваясь с постметрическим стихом, читатель всегда находится в ситуации выбора. Автор делегирует читателю миссию метрической интерпретации текста. Таким образом, у читателя в духе постметрической традиции есть два пути метрической интерпретации текста: либо воспринимать его как текст без ритма, основанного на просодии, либо пытаться «вчитать» в него ритм. Причем о субъективности такого вчитывания читатель знает изначально. Кроме того, зачастую читателю приходится менять стратегию метрической интерпретации в процессе чтения стихотворения в связи с появлением новых метрических маркеров. Вполне можно допустить, что неоднозначность метрической интерпретации допускается автором сознательно и включается в семантическую структуру стихотворения. Это явление мы называем *релятивной метрикой*.

Надо сказать, что на потенциальную метрическую неоднозначность стиха внимание обращалось уже довольно давно. Одним из первых на потенциальную метрическую неоднозначность неклассического стиха указал Томашевский в вышеупомянутой работе о «Песнях западных славян» [Томашевский 1916], где он попытался рассмотреть стих «Песен» как дериват пятистопного хоря, но при этом не отрицал возможности и другой интерпретации. Интересно, что Холшевников считает интерпретацию Томашевского ошибочной [Холшевников 1966: 543]. Это хорошо иллюстрирует сложившееся в стиховедении представление о возможности единого непротиворечивого описания для каждого случая неклассической метрики.

В 1923 г. Г.А. Шенгели обратил внимание на рассматриваемую нами проблему метрической неоднозначности [Шенгели 1923: 103–108]. Ученый попытался ввести понятие *двуликих* или *обратимых* стихов (кстати, тоже на материале пушкинских «Песен») <sup>7</sup>. Например, пушкинский стих *Стал на паперти, дверь отворяет...* может быть прочитан как с анапестической, так и с хорейской инерцией, если допустить ритмическую инверсию. Приведем характерный фрагмент из работы Шенгели, где он рассматривает хрестоматийное тютчевское стихотворение «Последняя любовь» и обнаруживает в нем сосуществование разных размеров:

Итак: первая строка – чистый ямб, вторая – цезурованный, третья – чистый, четвертая – цезурованный, пятая – чистый, шестая – цезурованный. Установилось и стало привычным слуху правильное чередование цезурованных и нецезурованных строк. Но в последней из них, в шес-

<sup>7</sup> К слову, в поэтическом наследии самого Шенгели есть тексты, написанные таким *обратимым стихом*. Вспомним здесь, к примеру, его недавно опубликованную поэму 1946 года «Эфемера» [Шенгели 2004], стих которой балансирует между трехиктным ямбом и неурегулированным дольником, сохраняя при этом силлабическую урегулированность.

той, цезура сдвинута на слог вправо (левое полустишие наращено не на слог, а на два), поэтому слух ощущает в ней ударение, идущее непосредственно за цезурой («на западе / бродит»), как правильное, как «стоящее на месте», на том же седьмом слоге, на котором стояло ударение и в предыдущей цезурованной строке. Но в то же время отрезок «на западе бродит» дает трехсложное чередование ударений, что продолжается и в примыкающем слове «сиянье»: «на западе бродит сиянье» (U-U/U-U/U-U); это правильный амфибрахий. На этой базе легко осваивается амфибрахическое начало следующей строки:

Помедли, помедли, вечерний ...

И вся эта седьмая строка ощущается как леймический четырехстопник:

Помедли, помедли, вечерний V день ...

Но «вечерний день» само по себе ямб, и следующая ямбическая строка: «Продлись, продлись, очарованье» – ощущается естественным продолжением предыдущей.

Таким образом, Тютчев расшатал Я4 и «выгнул» его в леймический четырехстопник, поместив в этой строке напряженный и страстный призыв.

Так как леймический стих применяет «свободный зачин», то есть может строиться, как мы видели, в дактилическом, амфибрахическом, анапестическом «ключе», то и его обратимые строки могут принимать вид и ямба, и хоря, что мы также видели. Поэтому искусное владение леймами дает возможность сливать в единый ритменный поток различные размеры «правильного» стиха [Шенгели 1960: 217].

Шенгели во многом оказался одинок в своих наблюдениях. Стройной теории на этой основе так и не получилось. Этому могло помешать и само понятие *органической метрики*, которое исследователь настойчиво вводил в обиход. Представление о «естественной» метрике, основанной на имманентных ритмических свойствах самого языка, на наш взгляд, не согласуется с представлением о возможной двойственности метрической интерпретации. В связи с этим требует переосмысления мысль автора о том, что метрика и ритмика как разделы стиховедения имеют основным объектом изучения стих звучащий (или, как его называет сам исследователь, рецитативный [Шенгели 1923: 7]).

Внешне похожие явления описываются введенным М.Л. Гаспаровым понятием *микрополиметрии* (применительно к текстам Хлебникова ученый использует даже термин «сверхмикрополиметрия») [Гаспаров 1996; 2000: 223–226]. Однако под микрополиметрией понимается механическое соединение разных метров в пределах одного стихотворения. Объясняя это явление, Гаспаров предостерегает: «Следует помнить, что “сочетание размеров”, даже в микрополиметрической дробности, не означает еще “слияния размеров”» [Гаспаров 2000: 225]. При этом, говоря о трехиктных стихах в контексте стихотворений, написанных четырехиктным дольником, ученый замечает, что «всякий 3-иктный стих с 2-сложной анакрусой (даже без отягчений) может быть сочтен 4-иктным стихом с нулевой анакрусой» [Гаспаров 1974: 252]. Он добавляет: «такие двойственные строки могут служить удобным переходом между кусками, написанными разными размерами» [Там же: 253]. Но в целом Гаспаров относит такие случаи к исключениям, резюмируя: «Однако обычно 4-иктный и 3-иктный дольник выступают в стихах как размеры не смыкающиеся, а контрастирующие, и поэтому у большинства поэтов такие двойственные формы избегаются» [Гаспаров 1974: 254].

Взаимосвязь метрической неоднозначности с семантическим потенциалом стихотворного текста становится предметом специального рассмотрения в работе М.И. Шапира [Шапир 2000]. Ученый останавливается на мысли о том, что при рассмотрении взаимосвязи метрики и семантики исследователь оказывается на пороге, за которым заканчивается научный подход к вопросу.

Отдельные мысли, близкие к представлению о релятивной метрике, высказывались учеными по разным поводам. Так, Ю.М. Лотман в хрестоматийной работе «Анализ поэтического текста» приводит устное мнение Вяч.Вс. Иванова, «высказанное им на заседании IV Летней школы по вторичным моделирующим системам (Тарту, 1970), согласно которому *vers libre* следует рассматривать как сочетание различных, обычно несоединяемых, метрических инерций» [Ю.М. Лотман 1996: 61].

## 5. ВЫВОДЫ

Попробуем сделать некоторые выводы из всего сказанного.

1. В условиях постметрической перцепции многие формы неклассического стиха невозможно охарактеризовать с точки зрения только одного метрического варианта.
2. Существующие проблемы в области формального описания неклассического стиха XX в. во многом имеют причиной отсутствие предзаданной модели метрической интерпретации. Так, при формальном описании дольника в современном стиховедении представление о нем как о тоническом стихе будет сложным образом уживаться с представлением о нем как о стихе, генетически связанном с силлабо-тоническими размерами.
3. Зачастую постметрический контекст создается сознательно путем последовательной деавтоматизации читательского ожидания. Подобно единицам других уровней поэтического языка, метрические элементы наделяются потенциальной множественностью референций. Стихи соотносятся друг с другом кроме всего прочего также по признаку сходства и неоднозначности их метрических схем. А поскольку каждый стих дает возможность нескольких метрических интерпретаций, то и характер этой соотнесенности будет меняться в зависимости от прочтения текста.
4. В этой связи особую роль играет взаимовлияние стихов. Можно сказать, что на метрическом уровне начинают действовать механизмы, родственные механизму смыслопорождения. Это заставляет читателя постоянно прибегать к ретроспективному чтению, каждый раз дающему новые интерпретации как смысла, так и метрики стихотворения.
5. Другими словами, неклассическая метрика становится равноправным элементом художественной игры, она существует в комплексе с другими уровнями текста (фонетическим, семантическим, синтаксическим и т. д.), поэтому не может рассматриваться изолированно от них. На этом основывается взаимосвязь планов выражения и содержания в стихах поэта.
6. Несмотря на то, что в стиховедческой традиции описанные нами явления обычно выносятся за рамки системного рассмотрения, мы видим необходимость в научном анализе метрической неоднозначности и в признании функциональной значимости этих случаев при формальном описании стиха.
7. Системный характер таких случаев детерминирует проблему их формального описания. На наш взгляд, существующий язык описания метрики должен быть уточнен, чтобы его можно было применить к такому явлению, как постметрический стих. Описание постметрического стиха удобно строить в виде дерева возможных метрических интерпретаций, каждая из которых будет обладать большей или меньшей степенью актуальности и функциональности. Подчеркнем, что метрические варианты должны учитывать неоднозначность на всех отмеченных выше уровнях стиха. Учет этих вариантов позволил бы вычислить своеобразный «индекс метрической неоднозначности» для любого стихотворения или корпуса текстов определенного автора, что позволит увидеть объективное функционирование постметрического стиха в русской поэзии XX в. Конечно, при таких подсчетах отправной точкой должна быть языковая модель, принципы построения которой будут выявлены в ходе отдельного исследования.

Напоследок нам хотелось бы отметить, что в этой связи большим потенциалом обладает изучение стиха с когнитивной точки зрения: как читатель воспринимает просодию и метрику постметрического текста, какие модели он будет предпочитать, и как эти предпочтения будут меняться в процессе чтения текста. Иными словами, при изучении стиха было бы интересно перенести акцент с попыток исследовать авторскую задачу на изучение функционирования стихотворного метра в непосредственном читательском восприятии и в культуре вообще.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Безродный 1992 – *М.В. Безродный*. К генеалогии «Мухи-Цокотухи» // Школьный быт и фольклор: Ч. 1 / Сост. А.Ф. Белоусов. Таллин, 1992.
- Бобров 1964 – *С.П. Бобров*. Опыт изучения вольного стиха пушкинских «Песен западных славян» // Теория вероятностей и ее применения. Т. 9. Вып. 2. М., 1964.
- Бушман 1964 – *И. Бушман*. Поэтическое искусство Мандельштама. Мюнхен, 1964.
- Гаспаров 1968 – *М.Л. Гаспаров*. Русский трехударный дольник XX в. // Теория стиха. Л., 1968.
- Гаспаров 1974 – *М.Л. Гаспаров*. Современный русский стих. М., 1974.
- Гаспаров 1996 – *М.Л. Гаспаров*. Стих поэмы В. Хлебникова «Берег невольников» // Язык как творчество: Сб. статей к 70-летию В.П. Григорьева. М., 1996.
- Гаспаров 2000 – *М.Л. Гаспаров*. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 2000.
- Жирмунский 1925 – *В.М. Жирмунский*. Введение в метрику: Теория стиха. Л., 1925.
- Квятковский 1966 – *А.П. Квятковский*. Биметрия // А.П. Квятковский. Поэтический словарь. М., 1966.
- Колмогоров 1966 – *А.Н. Колмогоров*. О метре пушкинских «Песен западных славян» // Русская литература. 1966. № 1.
- Лосев 2006 – *Л.В. Лосев*. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006.
- М.Ю. Лотман 1996 – *М.Ю. Лотман*. К основаниям моделирующей поэтики // Труды по русск. и слав. фил.: Литературоведение. II. Тарту, 1996.
- Ю.М. Лотман 1996 – *Ю.М. Лотман*. Анализ поэтического текста // Ю.М. Лотман. О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
- Мандельштам 1990 – *О.Э. Мандельштам*. Сочинения: В 2 т. М., 1990.
- Семенов 2009 – *В.В. Семенов*. «Это только для звука пространство всегда помеха»: О механизмах релятивизации и семантизации метрики в стихотворениях И. Бродского // *Humaniora: Litterae Russicae*. Труды по русск. и слав. фил.: Литературоведение. VII. Тарту, 2009.
- Семенов 2010а – *В.В. Семенов*. Структура и типология русского стиха в представлении Иосифа Бродского: опыт реконструкции // *Con amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой*: Сб. ст. М., 2010.
- Семенов 2010б – *В.В. Семенов*. Функциональная биметрия в стихе М. Цветаевой (на материале стихотворения «Неподражаемо лжет жизнь...», 1922) // *Toronto Slavic Quarterly*. 32. Spring 2010. [www.utoronto.ca/tsq/32/tsq\\_32\\_semenov\\_bimetriya\\_u\\_tsvetaevoj.pdf](http://www.utoronto.ca/tsq/32/tsq_32_semenov_bimetriya_u_tsvetaevoj.pdf)
- Сошкин 2010 – *Е. Сошкин*. Между могилой и тюрьмой: «Голубые глаза и горячая лобная кость...» на стыке поэтических кодов // *Ruthenia*. [www.ruthenia.ru/document/542513.html](http://www.ruthenia.ru/document/542513.html)
- Томашевский 1916 – *Б.В. Томашевский*. О стихе «Песен западных славян» // *Аполлон*. 1916. № 2.
- Тынянов 1977 – *Ю.Н. Тынянов*. Литературный факт // Ю.Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Холшевников 1966 – *В.Е. Холшевников*. Стихосложение // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966.
- Шапир 2000 – *М.И. Шапир*. *Metrum et rhythmus sub specie semioticae* // *Universum versus: Язык – стих – смысл в рус. Поэзии XVIII–XX веков*. М., 2000.
- Шенгели 1923 – *Г.А. Шенгели*. Трактат о русском стихе. Органическая метрика. М.; Пг., 1923.
- Шенгели 1960 – *Г.А. Шенгели*. Техника стиха. М., 1960.
- Шенгели 2004 – *Г.А. Шенгели*. Эфмера // *Арион*. 2004. № 4.
- Ivanov 1996 – *V. Ivanov*. Unstressed intervals in Brodsky's dol'niki // *Elementa*. 1996. V. 2.

*ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ*

© 2011 г. И.В. НЕДЯЛКОВ

**ОБ ОТЦЕ – ЛИНГВИСТЕ И УЧИТЕЛЕ**

Статья посвящена анализу научной и научно-педагогической деятельности выдающегося российского лингвиста Владимира Петровича Недялкова (04.01.1928–21.07.2009). В статье рассматриваются типологические подходы к анализу таких семантико-грамматических категорий, как каузатив, рефлексив, декаузатив, инхоатив, реципрок и некоторых других. Вскрываются содержательные связи с развитием зарубежной лингвистики второй половины XX века.

В настоящей статье, написанной сыном В.П. Недялкова, рассматриваются в проблемном ключе те направления лингвистических работ В.П. Недялкова (далее ВПН), опубликованных им в течение почти полувека (с 1961 по 2007 год), которые либо носили пионерский характер, т.е. вызвали ответные публикации других лингвистов (как отечественных, так и зарубежных) в развитие темы (к таковым я бы отнес работы ВПН по типологии транзитивации, а также каузативных, рецессивных, результативных, деепричастных и взаимных конструкций), либо были встроены в общий ход развития отечественной лингвистической мысли.

Статья состоит из трех неравных по объему частей. В первой части кратко характеризуются диссертационные работы отца. Во втором разделе, который представляет собой центральную часть статьи, рассматриваются основные содержательные моменты шести направлений, которые условно отнесены мной к «пионерским». Эти направления приводятся ниже в хронологическом порядке появления первых работ на соответствующую тему (год опубликования этих работ и их номера в списках основных публикаций по каждому из разделов даются в скобках; для удобства перекрестных ссылок в статье принята сквозная нумерация публикаций ВПН):

- 1) типология каузативных конструкций (1963) [8];
- 2) транзитивация в разноструктурных языках (1969) [20];
- 3) типология результативных конструкций (1974) [22];
- 4) типология рецессивных конструкций и рефлексива (1975) [36];
- 5) типология зависимого таксиса и деепричастных форм (1986) [43];
- 6) типология взаимных конструкций (1990) [51].

В третьей части статьи кратко характеризуются работы ВПН, которые были написаны в рамках выполнения следующих коллективных тем:

- 7) типология залоговых конструкций (1974) [70];
- 8) типология двупредикатных конструкций (1979) [82];
- 9) типология начинательных конструкций (1984) [87];
- 10) семантика видо-временных форм (1984) [92].

В конце статьи приводятся отдельные сведения, характеризующие редакторскую и преподавательскую деятельность отца.

При анализе работ ВПН сделана попытка в первую очередь выделить предложенные им новые семантические и синтаксические понятия, а также классификационные признаки рассматриваемых явлений. Необходимо при этом отметить, что результаты выбранных исследований ВПН изложены вследствие ограниченного объема статьи в существенно сокращенном и упрощенном варианте. Хочу подчеркнуть, что главным объединяющим стержнем многих работ ВПН являлось изучение грамматической полисемии глагольных показателей, а также конструкций в разноструктурных языках. Ниже также приводятся наиболее важные работы коллег и учеников ВПН, тематически прилегающие к его статьям и книгам.

## 1. ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ВПН

Обе диссертационные работы отца в силу полученного образования были посвящены исследованию синтаксических и семантических особенностей немецкого языка.

Кандидатская диссертация ВПН «Смысловые ряды немецких глаголов с компонентами *aus-*, *heraus-*, *hinaus-*», написанная им под руководством проф. Владимира Григорьевича Адмони (которого отец безмерно любил и уважал всю жизнь) и защищенная в 1961 году (в 33 года) в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена 26 июня 1961 г., стала, по сути, первым серьезным лингвистическим исследованием ВПН. Самыми первыми его работами, вышедшими в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, были чисто методические статьи, посвященные отстаиванию активного (прямого или устного) метода изучения иностранных языков. Отец неоднократно говорил мне, что пришел в лингвистику сравнительно поздно (фактически в тридцать лет), причем не с самой блестящей лингвистической подготовкой. Он закончил факультет немецкого языка МГПИИЯ им. М. Тореза в 1950-м году вместе с моей матерью Тamarой Михайловной Недялковой [Скориковой] (15.04.1927–03.05.1976) (они еще застали те времена, когда студенты-лингвисты должны были изучать известную «стадиальную теорию» Н.Я. Марра). Можно вспомнить, что мама защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексическая группа глаголов речи в современном немецком языке» в марте 1961 года в 1-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков (мне тогда было почти 10 лет).

Возвращаясь к кандидатской диссертации ВПН, выделяю, во-первых, огромный объем проработанного словарного и текстового материала (это станет «визитной карточкой» научной работы отца на всю жизнь вплоть до восьмидесяти лет, когда он завершал работу над типологией взаимных конструкций) и, во-вторых, детальную классификацию значений простых и приставочных немецких глаголов, многие из которых являются многозначными. Обращу внимание читателя на следующие моменты автореферата диссертации, подтверждающие вышесказанное. В целях установления и рассмотрения смысловых особенностей немецких глаголов с приставками *aus-*, *heraus-*, *hinaus-* ВПН проанализировал более 200 томов (около 80 авторов) художественной литературы XVIII–XX веков. Кроме того, были «использованы почти все широко известные одноязычные словари: Аделунга, Гриммов, Зандерса, Трюбнера, Кёнига, Дудена, Вурма, Вессели – Шмидта, Гейзе, Гейне, Пауля, Макензена, Кюппера, Вейганда – Хирта, Гофмана – Блока и др.» (с. 7 автореферата). Использовалась также немецкая периодика и наблюдения автора над употреблением исследуемых глаголов в немецкой речи. Всего в диссертации ВПН рассмотрено 627 простых глаголов, сочетающихся с элементами *heraus-* и *hinaus-*, установлено 1057 значений приставочных глаголов этого типа (79 значений из них дают возвратные глаголы), а также 1049 глаголов с приставкой *aus-*, имеющих 2057 значений (или оттенков значений). В последнем случае 98 значений выражаются возвратными глаголами. Таким образом, в диссертационной работе ВПН не только впервые был установлен полный список приставочных глаголов рассматриваемых типов, но и детально проработана семантика этих глаголов. Как писал сам

автор, «осуществляя смысловую группировку, мы принимали за единицу классификации каждое значение (или оттенок значения) многозначного слова, реализующееся в определенном смысловом ряду близких по значению глаголов» (с. 7 автореферата). Количественные подсчеты, предваряющие глубокий семантический анализ, дали следующую картину, характеризующую, с одной стороны, глаголы с элементами *heraus-* и *hinaus-* (1-я группа) и, с другой стороны, глаголы с *aus-* (2-я группа): глаголы первой группы с одним значением составляют 68% (429 глаголов), с двумя значениями – 18% (114), с тремя значениями – 8% (49) и с четырьмя значениями – 6% (35), тогда как глаголы второй группы с одним значением составляют 59% (620) глаголов, с двумя значениями – 19% (199), с тремя значениями – 10% (107) и с четырьмя значениями – 12% (123). В результате проведенного семантического анализа отдельные подгруппы глаголов с *heraus-*, *hinaus-* сведены к пяти основным группам, а подгруппы глаголов с *aus-* – к девяти основным группам, насчитывающим соответственно более 90 и 150 смысловых рядов, установленных, исходя из общего значения производносоставных или сложносоставных глаголов. При этом выявление и рассмотрение смысловых рядов производилось с учетом переходности, непереходности, а также возвратности глаголов. Таким образом, в кандидатской диссертации ВПН были исследованы смысловые ряды трех тесно связанных между собой продуктивных подтипов немецких глаголов, относящихся к двум смежным словообразовательным типам с учетом морфологических, синтаксических (в том числе, сочетаемостных) и семантических признаков. Богатейший языковой материал диссертации ВПН, скрупулезно описанный и обильно проиллюстрированный, заставляет лишь сожалеть о том, что эта работа не была впоследствии издана в виде монографии.

Немецкие приставки и словообразовательные характеристики немецкого и других разноструктурных языков позднее были рассмотрены в кандидатских и докторских диссертациях, выполненных под руководством ВПН его учениками. Так, В.Д. Калиущенко в 1979 году защитил в Ленинграде кандидатскую диссертацию на тему «Немецкие отсубстантивные глаголы», а в 1988 году – докторскую диссертацию «Словообразование “имя – глагол” (типология отыменных глаголов)», Е.А. Пименов защитил в 1982 году кандидатскую диссертацию на тему «Транзитивация немецких глаголов приставками», а в 1996 году – докторскую диссертацию на тему «Типология транзитивированных глаголов». Эти работы учеников ВПН были частично или полностью переведены на немецкий язык, опубликованы в Германии и заслужили самые высокие отзывы специалистов, что также свидетельствует о том, каким блестящим учителем лингвистики был ВПН.

Результатом работы, проведенной в 60-х годах прошлого столетия и связанной с исследованием немецких каузативных конструкций, явилась докторская диссертация, успешно защищенная ВПН в 1971 году («Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив»), которая впоследствии была переведена на немецкий язык и получила положительные отзывы. Поскольку эта монография была опубликована достаточно большим тиражом (1800 экземпляров), автор настоящей статьи не видит необходимости подробно ее характеризовать. Можно лишь снова отметить, во-первых, поистине колоссальный объем проанализированного языкового материала (около тринадцати тысяч фраз с глаголом *lassen*, притом что одна фраза с *lassen* приходилась в среднем на 450–800 слов исследованных художественных текстов) и, во-вторых, новый метод описания немецких аналитических каузативных конструкций (КК), в результате применения которого была получена чрезвычайно объемная и многомерная классификация этих конструкций, учитывающая большое количество формальных и семантических признаков. Назовем лишь некоторые из них: транзитивность – интранзитивность глаголов, выступающих в КК, нереклексивность – реклексивность КК, обратимые – необратимые КК, типы необратимости КК (морфологическая, синтаксическая, идиоматическая, семантическая), соотношение фактитивного и пермиссивного значений, контактная и неконтактная каузация, неимперативные – императивные КК, одушевленность – неодушевленность агенса и субъекта, местоименность – неместоименность агенса, наличие --

отсутствие объекта и его форма, наличие неопределенного артикля в составе именной группы, выражающей агенс, смысловые типы эллипсиса в КК, лексическое наполнение позиции зависимого глагола, наличие отрицаний, наличие посессивного отношения между элементами КК, наличие однородных сказуемых, порядок следования агенса и субъекта. На основе этих и ряда других признаков огромный массив языкового материала был подразделен на десятки групп и подгрупп, что представлено во второй части монографии 1971 года [6].

### Основные публикации по теме раздела

1. О термине «глаголы с отделяемыми приставками» в грамматике немецкого языка // Ю.Г. Татишвили (ред.). Учен. зап. Пятигорского гос. пед. ин-та. Вопросы германской филологии. Т. 23. Пятигорск, 1961.
2. Структурные особенности глаголов типа *auskommen, herauskommen* // Ю.Г. Татишвили (ред.). Учен. зап. Пятигорского гос. пед. ин-та. Вопросы германской филологии. Т. 23. Пятигорск, 1961.
3. Смысловые ряды сложносоставных глаголов с местоименными приставками-наречиями *heraus* и *hinaus* в современном немецком языке // Ю.Г. Татишвили (ред.). Учен. зап. Пятигорского гос. пед. ин-та. Вопросы германской филологии. Т. 23. Пятигорск, 1961.
4. Обзор первых компонентов немецких непростых глаголов // Ю.Г. Татишвили (ред.). Учен. зап. Пятигорского гос. пед. ин-та. Вопросы германской филологии. Т. 23. Пятигорск, 1961.
5. К теории немецкого приставочного глагольного словообразования // Лингвистические исследования 1972. Ч. II. М., 1973.
6. Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив. Л., 1971.
7. *Kauzativkonstruktionen / Aus dem Russischen übersetzt von V. Kuchler und H. Vater. Tübingen, 1976.*

## 2. ПИОНЕРСКИЕ РАБОТЫ ВПН

### 2.1. Типология каузативных конструкций

В год защиты кандидатской диссертации ВПН (1961) в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР произошло важнейшее организационно-лингвистическое событие, определившее научную жизнь отца на многие десятилетия – Александр Алексеевич Холодович в результате огромных усилий основал группу структурно-типологического изучения языков (с 1992 года – Лаборатория типологического изучения языков), в которую первоначально вошли, помимо самого А.А. Холодовича, ВПН и Виктор Самуилович Храковский (об истории создания этой лаборатории и основных результатах ее деятельности см. в обзоре [Храковский, Оглоблин 1998]). Первая коллективная тема группы (а также коллективная монография, выпущенная в 1969 году) была связана с исследованием типологических особенностей каузативных конструкций. Первой публикацией на эту тему явились тезисы, опубликованные в 1963 году в соавторстве с Т.Н. Никитиной и В.С. Храковским «К типологии соотносительных конфигураций разноструктурных языков (типы: *я заставил его лечь / я положил его*)» [8]. Через два года на основе доклада совещания 1963 года [8] в сборнике «Лингвистическая типология и восточные языки» [10] была опубликована статья этих же авторов «О типологии побудительных конструкций». В этой статье на материале тридцати двух разноструктурных языков описываются конструкции, в которых в качестве ядерного элемента выступают глаголы со значениями «заставить», «разрешить», «запретить» и т.п. (в работе эти глаголы называются побудительными). В статье [10] предлагается ряд закономерностей, одной из которых является следующая: «если в каком-либо языке существуют формы побудительного залога, образованные от переходных глаголов, то такие же формы образуются и от непереходных глаголов; обратное наблюдается не всегда» (с. 221). Авторами работы были выделены три типа образования побудительных конфигураций (сейчас мы бы сказали – каузативных конструк-

ций): 1) с помощью морфем (в статье ему соответствуют «залоговые фактивитивы»; статус каузативации как именно залогового преобразования значительно позднее был подвергнут справедливой критике, но такова была традиция описания побудительных глагольных форм в большинстве грамматик языков народов СССР того времени), 2) с помощью служебных каузативных глаголов (типа немецкого глагола *lassen*) (в обсуждаемой работе – «служебные фактивитивы») и 3) с помощью знаменательных каузативных глаголов («полнозначные фактивитивы»), например, в русском языке. На основе исчисления всех возможностей наличия одного, двух или трех типов образования каузативных конструкций были установлены семь возможных типов языков, четыре из которых являются продуктивными, а три – «реликтовыми». Приведу в качестве примера только самый продуктивный тип, который включает «залоговые фактивитивы» (т.е. морфологический каузатив) и «полнозначные фактивитивы», но при этом характеризуется отсутствием «служебных фактивитивов». Из 32 учтенных языков в эту группу попадают одиннадцать [абхазский, грузинский, зулу, индонезийский, курдский (сорани), мансийский, нивхский, суахили, татарский, хауса, чеченский] [10, с. 226].

В этих сравнительно небольших публикациях [8; 10], написанных в соавторстве, была заложена основа для дальнейших исследований каузативных конструкций в разноструктурных языках. Результатом этих исследований стало появление в 1969 году коллективной монографии «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив» (отв. ред. А.А. Холодович), в которой обе вводные теоретические статьи («Типология каузативных конструкций» и «Типология морфологического и лексического каузативов») были написаны ВПН в соавторстве с Г.Г. Сильницким [11; 12]. Помимо этих статей ВПН в соавторстве с другими лингвистами написал четыре отдельные главы, описывающие морфологический каузатив в абхазском [13], грузинском [14], нивхском [15] и чукотском [16] языках. В теоретических статьях ВПН и Г.Г. Сильницкого, помимо выделения ряда подтипов (1) каузативных конструкций и (2) формальных оппозиций некаузативных и каузативных глаголов, были предложены такие понятия, как фактивитивная, пермиссивная и прохибитивная каузация, дистантная vs. контактная каузация, а также установлен ряд корреляций между наличием vs. отсутствием различных (под)типов каузативных конструкций. Также была описана многозначность каузативных морфем в разноструктурных языках с учетом таких факторов, как значения производных глаголов, связанные с повышением исходной синтаксической валентности на единицу (установлено девять значений; с. 36–38 монографии) или же связанные с уменьшением исходной синтаксической валентности (установлено два значения – реципрокное и пассивное; с. 38–39). Помимо этого ВПН и Г.Г. Сильницкий на основе рассмотрения данных десяти языков предложили классификацию полисемии декаузативных (в их терминологии – антикаузативных) морфем, включающую одиннадцать значений (в том числе, декаузативное, пассивное, пассивно-потенциальное, рефлексивное, реципрокное, абсолютивно-потенциальное, абсолютивно-посессивное и т.п.); для иллюстрации в каждом случае сначала приводились русские примеры, поскольку, как заметили авторы статьи, именно в русском языке, по-видимому, наиболее развита полисемия антикаузативной морфемы *-ся* (с. 40). В конце статьи ее авторы рассмотрели типы падежного оформления каузативных дополнений (с. 49–50) и установили тенденцию опускать при каузативах с валентностью выше двух дополнение, обозначающее исполнителя действия.

Рассмотренные статьи ВПН, опубликованные в коллективной монографии 1969 года «Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив», явились поистине пионерскими работами, вызвавшими на протяжении последующих десятилетий шквал статей и монографий, посвященных типологии каузативных конструкций. В числе основных работ, опубликованных за рубежом и содержащих ссылки на работы ВПН, следует упомянуть работы Б. Комри [Comrie 1976; 1981; 1985] и Р. Диксона [Dixon 2000]. Ср. также следующую литературу [Shibatani (ed.) 1976; GC 2002; Levin, Rapoport Novav 1995].

## Основные публикации по теме раздела

8. (Соавторы: Т.Н. Никитина, В.С. Храковский) К типологии соотносительных конфигураций разноструктурных языков (типы: *я заставил его лечь / я положил его*) // *Материалы совещания по типологии восточных языков*. М., 1963.
9. О связи каузативности и пассивности // Ю.М. Скребнев и др. (ред.). *Учен. зап. Башкирского ун-та*. Вып. XXI. Сер. филол. наук. № 9 (13). Уфа, 1964.
10. (Соавторы: Т.Н. Никитина, В.С. Храковский) О типологии побудительных конструкций // *Лингвистическая типология и восточные языки*. М., 1965.
11. (Соавтор: Г.Г. Сильницкий). Типология каузативных конструкций // А.А. Холодович (ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л., 1969.
12. (Соавтор: Г.Г. Сильницкий). Типология морфологического и лексического каузативов // А.А. Холодович (ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л., 1969.
13. (Соавтор: И.О. Гецадзе). Морфологический каузатив в абхазском языке // А.А. Холодович (ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л., 1969.
14. (Соавторы: И.О. Гецадзе, А.А. Холодович). Морфологический каузатив в грузинском языке // А.А. Холодович (ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л., 1969.
15. (Соавторы: Г.А. Отаина, А.А. Холодович). Морфологический и лексический каузативы в нивхском языке // А.А. Холодович (ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л., 1969.
16. (Соавтор: П.И. Инэнликей). Каузатив в чукотском языке // А.А. Холодович (ред.). *Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив*. Л., 1969.
17. (Соавтор: G.G. Silnitskij). Typologie der kausativen Konstruktionen // *Folia Linguistica*. T. VI. 1973. № 3/4.
18. (Соавтор: L.I. Kulikov). Questionnaire zur Kausativierung // *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*. Bd. 45. Hf. 2. Berlin, 1992.
19. (Соавтор: L.I. Kulikov). Typologie der kausativen Konstruktionen: Probleme und Perspektiven (zu definitivischen und terminologischen Aspekten des Questionnaires zur Kausativierung) // *Arbeiten des Kölner Universalien-Projekts*. 1992. № 87.

## 2.2. Транзитивация в разноструктурных языках

В 1969 году в сборнике «Языковые универсалии и лингвистическая типология» [20] появилась небольшая статья ВПН «Некоторые вероятностные универсалии в глагольном словообразовании», посвященная анализу типологических особенностей транзитивации (каузативации) четырех интранзитивов со значениями «смеяться», «кипеть», «гореть», «сломаться» в разноструктурных языках (в русском языке смысловыми каузативами от этих глаголов являются, естественно, лексемы «смешить», «кипятить», «жечь» и «сломать» соответственно). Об этой статье следует сказать особо в силу трех обстоятельств: 1) количества привлеченных языков, 2) выявленных корреляций (количественных и семантических) между смысловыми и формальными оппозициями и 3) научного резонанса, прежде всего, в зарубежной лингвистике последующих десятилетий.

Во-первых, знаменателен охват обследованных языков – их шестьдесят. Таким образом, были выявлены 240 формальных оппозиций (ФО) четырех пар, включающих интранзитивы и соответствующие им смысловые каузативы. Отмечу, что в опубликованной через год статье «О связи смысловых и формальных оппозиций (к вопросу об универсалиях)» [21] количество обследованных языков возросло до ста, и, соответственно, количество учтенных глагольных пар – до четырехсот. Во-вторых, были выявлены семь (в публикации 1970 года – пять) основных типов ФО, главными из которых на основании продуктивности в рассмотренных языках представляются следующие: 1) каузативная ФО (башк. *һын-* «сломаться» → *һын-дыр-* «сломать»), 2) антикаузативная ФО (русск. *сломать-ся* ← *сломать*), 3) нулевая ФО (англ. *break (intr)* – *break (tr.)*), 4) супплетивная ФО (русск. *гореть* – *жечь*) и 5) альтернантная (чередование корневых или некорневых элементов). Сопоставление смысловых и формальных оппозиций в

60 разноструктурных языках дало ряд интересных результатов, среди которых можно выделить следующие. Для смысловой каузативной оппозиции (КО) «смеяться – смешить» доминирующей ФО оказалась каузативная (54 случая этой ФО и, соответственно, 54 языка из общего числа 60 ФО и языков), в остальных шести языках была представлена ФО замещения (= чередования, как в русском языке), другие типы ФО для этой КО вообще не были обнаружены. Что касается КО «кипеть – кипятить», то ведущим типом ФО также была каузативация (36 из 60 языков), но имели место также случаи нулевой (лабильной) ФО (девять языков), супплетивной ФО (семь языков) и единичные случаи всех других типов ФО. Для КО «гореть – жечь» распределение основных типов ФО по языкам было следующим: каузативация (19 языков), нулевая ФО (14 языков), супплетивная ФО (14 языков) и антикаузативная (8 языков). Последняя КО «сломаться – сломать» в качестве ведущего типа ФО имела антикаузативную (22 языка), затем шли нулевой (лабильный) тип ФО (19 языков) и каузативация (9 языков). Остальные типы ФО в последних трех случаях КО были представлены единичными языками. Таким образом, была установлена корреляция, согласно которой вероятность появления каузативной ФО увеличивается от последней КО («сломаться – сломать») к первой «смеяться – смешить» (или, что то же самое, уменьшается от первой к последней), а вероятность появления нулевой, антикаузативной и супплетивной ФО увеличивается в противоположном направлении (от второй к четвертой; в первой КО эти три типа ФО вообще отсутствуют). ВПН предложил соотносить эти тенденции в способе выражения каузативных смыслов с такими признаками, связанными с изменениями на референтном уровне, как степень активности агенса некаузативного действия (только в случае «смеяться» агент является человеком), а также изменение степени визуальной очевидности соответствующего каузативного действия (например, некаузативное действие «ломаться» чаще всего наблюдается при выполнении кем-либо каузативного действия «ломать», тогда как действие «гореть» намного реже в реальной действительности является следствием действия «жечь»). При этом действие «кипеть» визуально является значительно более активным, нежели, например, действие «сломаться» и т.п. Все эти рассуждения предвосхищали в определенной степени тот интерес к изучению семантики и функционирования глаголов и образуемых ими конструкций с точки зрения соответствующих event structures, который появится в зарубежной лингвистике через несколько десятилетий. В конце своей статьи 1969 года [20] ВПН пишет: «Есть основания полагать, что значительное расширение круга привлекаемых языков существенно не изменит выявленных тенденций, поскольку в их основе лежат экстралингвистические факторы (подробное рассмотрение последних не входит в задачу настоящих заметок)» [20, с. 111].

Что касается научного резонанса, вызванного этой статьей ВПН в зарубежной лингвистике, то можно указать по крайней мере на статьи М. Хаспельмата [Haspelmath 1993] и Дж. Николс [Nichols et al. 2004], которые рассмотрели значительно больший круг семантически соотносимых интранзитивов и каузативов на материале большой группы разноструктурных языков. В этих статьях приводятся ссылки на работу ВПН 1969 года, но подробный разбор этих работ Хаспельмата и Николс не входит в задачи настоящей статьи. Ограничимся только двумя отрывками из названных статей. На первой странице своей работы М. Хаспельмат в сноске писал: «This paper looks at the ways different languages express inchoative/causative verb alternations. The original idea and the methodology are due to Nedjalkov (1969; 1990), by whom I have been greatly inspired» [Haspelmath 1993: 87]. Дж. Николс в своей статье 2004 года писала: «The entire line of investigation, and the design of the survey used here, were inspired by Nedjalkov (1969), where four verb gloss pairs were surveyed across 50 languages and conclusions were drawn about the relationship of verbal semantics to the preferred correspondence type for each gloss pair. Haspelmath (1993) surveys 31 verb pairs across 21 languages, confirms Nedjalkov's findings, and gives a fuller account of the semantic and other factors influencing the choice of correspondence types» [Nichols et al. 2004: 154]. Как представляется, эта характеристика научного значения статьи ВПН 1969 года [20], данная М. Хаспельматом и Дж. Николс, говорит сама

за себя (в порядке уточнения замечу, что в этой статье были учтены данные 60 языков и повторяю, что в статье, опубликованной через год в Бухаресте, были учтены данные ста языков, т.е. количество рассмотренных оппозиций достигло четырехсот).

### Основные публикации по теме раздела

20. Некоторые вероятностные универсалии в глагольном словообразовании // И.Ф. Вардуль (отв. ред.). Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.

21. О связи смысловых и формальных оппозиций (к вопросу об универсалиях) // A. Graur et al. (eds.). Actes du Xe congrès international des linguistes. Bucarest, 28 août – 2 septembre 1967. V. III. Bucarest, 1970.

### 2.3. Типология результативных конструкций

Первой работой, в которой была намечена типология результативных конструкций, была статья, написанная в соавторстве с Г.А. Отаиной и А.А. Холодовичем и посвященная нивхскому языку [22]. Здесь необходимо сказать несколько слов о многолетнем интересе ВПН к данным чукотского и нивхского языков, возникшем в начале 60-х годов XX столетия. Первое упоминание об этих языках содержится в статье «О типологии побудительных конструкций» 1965 года [10], о которой речь уже шла выше. Вероятнее всего, не позднее 1962–1963 годов в результате события, значение которого, повторяю еще раз, для развития российской лингвистики трудно переоценить (создание в ЛО ИЯ АН СССР группы структурно-типологического изучения языков), ВПН заинтересовался лингвистическими особенностями чукотского, нивхского и ряда других языков. В вышеназванной статье 1965 года, в частности, указывается, что чукотский язык принадлежит к первой группе языков, в которых есть и каузативная морфема, и служебный каузативный глагол, а также полнозначные каузативные глаголы, тогда как нивхский язык принадлежит ко второй группе языков, в которых есть каузативная морфема и полнозначные каузативные глаголы, но отсутствуют служебные каузативные глаголы [10, с. 266]. Первая статья, целиком посвященная чукотскому языку, вышла в 1966 году [66], тогда как первая статья, посвященная анализу нивхского синтаксиса (в соавторстве с Г.А. Отаиной), вышла годом позже – в 1967 году [68]. Отмечу, что в коллективной монографии 1969 года по типологии каузативных конструкций представлены статьи как по чукотскому [16], так и по нивхскому морфологическому каузативу [15].

Статья по типологии результативных конструкций была опубликована в коллективной монографии «Типология пассивных конструкций» в 1974 году. Специфика ситуации состоит в том, что ни в чукотском, ни в нивхском языках, как указывается в специальной литературе, пассива нет [Володин, Скорик 1997: 29; Груздева 1997: 145]. В этих языках есть, однако, объектный результатив, фактически идентичный статальному пассиву в славянских и германских языках. Чукотские и нивхские результативные конструкции были рассмотрены позже – в 1983 году – в статьях, написанных в соавторстве и опубликованных в коллективной монографии, специально посвященной типологии результативных конструкций [24; 25]. Уже в статье 1974 года [22] были впервые введены такие понятия, как субъектный и объектный результатив, описаны диатезные преобразования этих типов и приведены расширенные списки глаголов, допускающих эти преобразования, например: нивхск. *Иф оолагу вета-у-д* 'Она одела детей' → *Оолагу вета-у-ыта-д* 'Дети одеты' (объектный результатив, образуемый суффиксом *-ыта*); *Н'и вета-д* 'Я оделся' → *Н'и вета-ыта-д* 'Я одет' (субъектный результатив, образуемый тем же суффиксом [24, с. 236, 246]).

Более детально понятийный аппарат типологического описания результативных конструкций (РезК) был представлен во вводной статье к коллективной монографии «Типология результативных конструкций» [23]. Этот аппарат включил следующие наиболее важные понятия, признаки и параметры описания РезК: 1) посессивный результатив, 2) безличный результатив, 3) двудиатезный результатив, 4) квазирезультатив,

5) семантические отличия перфекта от результата, с одной стороны, и пассива от результата, с другой стороны, 6) формально несовмещенный vs. совмещенный результатив, 7) лексическое наполнение РезК и лексические ограничения, накладываемые на образование результативных форм, 8) семантику результативных форм, 9) генетические связи результата и пассива, 10) возможность выражения агенса агентивным дополнением в объектно-результативных конструкциях. В статье [23] было отмечено, что посессивный результатив встречается реже, чем субъектный, а последний – реже, чем объектный (с. 17), и предложена импликация, согласно которой наличие в языке посессивных РезК имплицитно также субъектные и объектные РезК, а наличие субъектных РезК имплицитно наличие объектных РезК (в статье эта импликация имеет вид: посессивный → субъектный → объектный результатив [23, с. 17]).

В продолжение обсуждаемой темы следует упомянуть две кандидатские диссертации, выполненные под руководством ВПН: «Результатив и статив в английском языке (конструкция типа *to be* + причастие второе)», написанная И.А. Петуниной (Л., 1983), и «Акциональное и статальное значения конструкций с причастиями на *-н*, *-т*», написанная Ю.П. Князевым (Л., 1986).

#### Основные публикации по теме раздела

22. (Соавторы: Г.А. Отаина, А.А. Холодович). Диатезы и залогов в нивхском языке // А.А. Холодович (ред.). Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов. Л., 1974.

23. (Соавтор: С.Е. Яхонтов). Типология результативных конструкций // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

24. (Соавтор: Г.А. Отаина). Результатив и континуатив в нивхском языке // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

25. (Соавторы: П.И. Инэнликсй, В.Г. Рахтилин). Результатив и перфект в чукотском языке // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

26. (Соавтор: И.В. Недялков). Статив, результатив, пассив и перфект в эвенкийском языке // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

27. (Соавтор: Э.Ш. Генюшене). Результатив, пассив и перфект в литовском языке // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

28. Результатив, пассив и перфект в немецком языке // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.

29. К типологии соотношения результата и пассива: на материале немецкого языка // И.П. Сусов и др. (ред.). Семантика и прагматика синтаксических единств. Межвузовский тематический сборник. Калинин, 1981.

30. (Соавторы: Ю.П. Князев, И.А. Петунина). Русский результатив в сопоставлении с немецким и английским // И.П. Сусов и др. (ред.). Синтаксическая семантика и прагматика. Калинин, 1982.

31. Заметки по типологии результативных конструкций (перфектив, результатив, перфект, статив) // И.П. Сусов (ред.). Коммуникативно-прагматические и семантические свойства речевых единств: Межвуз. тематический сб. Калинин, 1980.

32. Preface // V.P. Nedjalkov (ed.). Typology of resultative constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

33. (Соавтор: S.Jc. Jaxontov). The typology of resultative constructions // V.P. Nedjalkov (ed.). Typology of resultative constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

34. (Соавтор: V.P. Litvinov). Resultativkonstruktionen im Deutschen. Tübingen, 1988.

35. Resultative constructions // M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, W. Raible (eds.). Language typology and language universals. V. 2. Berlin; New York, 2001.

#### 2.4. Типология рецессивных конструкций и рефлексива

Первым типологическим опытом описания рецессивных конструкций в разноструктурных языках была статья ВПН «Типология рецессивных конструкций. Рефлексивные конструкции», опубликованная в 1975 году в сборнике «Диатезы и залогов» по материалам конференции «Структурно-типологические методы в синтаксисе разносис-

темных языков» [36]. В последовавшей серии работ ВПН, частично написанных в соавторстве ([38]–[42]), предложена многомерная типология рецессивных и, в том числе, рефлексивных конструкций. Приведу основные типологические группы рецессивных конструкций и параметры их сравнительного описания в разноструктурных языках: 1) формальные vs. смысловые рефлексивы, 2) типология рефлексивных показателей (флексия, аффикс, частица, местоимение), 3) типы рефлексивных синтаксических и семантических структур (с одной стороны, субъектные, объектные и деагентивные и, с другой стороны, рефлексивно-реципрокные, рефлексивно-посессивные, рефлексивно-моторные или автокаузативные формы), 4) типы значений, выражаемых рефлексивными показателями (в других публикациях ВПН – семантическая классификация рефлексивов). Статья [42], указанная в конце этого раздела, представляет собой наиболее полный анализ типологических особенностей формальных и смысловых рефлексивов. Среди наиболее интересных импликаций, приведенных в работах этой группы, можно выделить следующие: 1) если у формальных рефлексивов есть собственно-пассивное значение, то у них есть и декаузативное значение, но не наоборот, 2) если формальные рефлексивы в каком-либо языке могут выражать абсолютное значение, то они, чаще всего, могут выражать и реципрокальное значение [36, с. 32], 3) если в языке есть рефлексивный имперсонал, то в нем есть и рефлексивный пассив, но не наоборот [42, с. 275]. Таким образом, можно предположить, что объектные функции рефлексивных показателей развиваются в следующем порядке: декаузативная → пассивная → субъектно-имперсональная.

В статье [38] устанавливаются все основные типы деагентивных конструкций (в которых подлежащее не обозначает субъекта действия или отсутствует вообще), а также приводятся параметры, подлежащие рассмотрению в этой связи: 1) установление характера имплицитного субъекта действия, 2) уточнение модальных значений деагентивных конструкций, 3) особенности образования видо-временных форм, 4) соотношение с синонимичными деагентивными конструкциями, образуемыми без помощи рефлексивных глаголов, 5) стилистические различия, частотность, ограничения на образование и употребление в речи, 6) типология полисемии рефлексивных глаголов и т.п. [38, с. 34]. В статье [42] на основе анализа данных 57 индоевропейских и неиндоевропейских языков предлагается детальная типология семантических классов субъектных рефлексивов, которые включают следующие пять семантических типов рефлексивных глаголов: тотально-рефлексивные (*одеться*), партитивные (*пораниться*), абсолютные (*кидаться*), автокаузативные (*подняться*) и реципрокальные (*обниматься*). Рассмотренные 57 языков подразделяются на восемь типов, в соответствии с теми значениями, которые могут в них выражаться рефлексивными глагольными формами. Так, например, в балтийских, славянских, венгерском, коми, удмуртском, вепсском, манси и эскимосском рефлексивные глаголы могут выражать все пять значений, тогда как, например, в татарском, узбекском, чувашском, грузинском и фульфульде – все значения за исключением последнего (реципрокального). В шведском языке рефлексивные формы могут, например, выражать абсолютное, автокаузативное и реципрокальное значения, тогда как в норвежском языке – только два последних [42, с. 273]. Важной представляется также типология семантических типов объектных рефлексивов, строящаяся на основе трех семантических функций (декаузативной, рефлексивного пассива и рефлексивного имперсонала) [42, с. 275]. Рассматриваемые языки по этим основаниям подразделяются на четыре группы: 1) языки, в которых рефлексивный показатель может выражать все три функции (например, болгарский, польский, чешский, испанский, итальянский, турецкий), 2) языки, в которых рефлексивный показатель может выражать декаузативную и рефлексивно-пассивную функции, но не образуют форм рефлексивного имперсонала (например, восточнославянские, армянский, грузинский, венгерский, коми, якутский, чувашский), 3) языки, в которых рефлексивный показатель может выражать только декаузативную функцию (но не образуют конструкций рефлексивного пассива и рефлексивного имперсонала, например, балтийские, немецкий, английский, манси, эстонский), 4) языки, в которых рефлексивный показатель не может выражать ни одной из

трех функций (декаузативной, рефлексивного пассива и рефлексивного имперсонала). В последнюю группу авторы статьи [42] включили только нивхский язык.

В завершение этого раздела необходимо упомянуть, во-первых, написанную в развитие обсуждаемой в этом разделе темы и под влиянием ВПН докторскую диссертацию Э.Ш. Генюшене «Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов» (Вильнюс, 1983), а во-вторых, получившую большое количество блестящих отзывов и часто цитируемую в специальной литературе монографию того же автора [Geniušienė 1987].

#### Основные публикации по теме раздела

36. Типология рецессивных конструкций. Рефлексивные конструкции // Диатезы и залого. Тезисы конф. «Структурно-типологические методы в синтаксисе разносистемных языков» (21–23 октября 1975 г.). Л., 1975.

37. Типология деагентивных рефлексивных конструкций // Проблемы синтаксической семантики. Материалы науч. конф. М., 1976.

38. Заметки по типологии рефлексивных деагентивных конструкций (опыт исчисления) // В.С. Храковский (ред.). Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.

39. (Соавтор: Г.А. Отаина). Нивхские рефлексивные глаголы и типология смысловых рефлексивов // В.С. Храковский (ред.). Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.

40. (Соавтор: Ю.П. Князев). Рефлексивные конструкции в славянских языках // В.П. Недеялков (ред.). Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках: Сб. науч. трудов. Калинин, 1985.

41. (Соавтор: Э.Ш. Генюшене). Рефлексивные конструкции в балтийских языках и типологическая анкета // В.П. Недеялков (ред.). Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках: Сб. науч. трудов. Калинин, 1985.

42. (Соавтор: Э.Ш. Генюшене). Типология рефлексивных конструкций // А.В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

#### 2.5. Типология зависимого таксиса и деепричастных форм

Наиболее детально типологические и сопоставительные аспекты анализа форм, выражающих зависимый таксис, представлены в работах [45; 46; 48]. Позднее типология деепричастных форм (ДФ) получила свое развитие и в зарубежных публикациях ВПН [49; 50]. Что касается предложенных определений ДФ, то они по очевидной причине несколько модифицировались от частной работы [45] к типологической статье [48]. Если в первой из этих работ, рассматривавшей только нивхские ДФ, они определялись отрицательно как «те формы, которые не могут выступать в позиции единственного сказуемого простого предложения» (для нивхского языка это определение достаточно, поскольку в нем нет ни причастий, ни инфинитива [45, с. 298]), то во второй (типологической) работе определение ДФ потребовало дополнительных уточнений: ДФ «можно определить как глагольную форму, которая синтаксически зависит от другой глагольной формы, но не является ее синтаксическим актантом, т.е. не реализует ее семантических валентностей. Таким образом, каноническое (= несомещенное) Д[еепричастие] может занимать 1) позицию сирконстанта, т.е. обстоятельства, и не может занимать позиций 2) единственного сказуемого простого предложения (без дополнительных вспомогательных элементов), 3) определения к существительному, 4) предикатного актанта (т.е. не может зависеть от таких глаголов, как *начинать*, *велеть* и т.п.), 5) субстантивного актанта (т.е. не выступает в позициях подлежащего и дополнения)» [48, с. 36].

Приведу основные типы деепричастий, а также признаки и параметры их типологического описания в разноструктурных языках, представленные в работах [45; 48]:

1) таксисная пара глагольных форм, состоящая (в нивхском языке) из деепричастной (зависимой) и опорной (независимой) формы;

2) степень «деепричастности» языков мира (удельный вес и роль форм зависимого таксиса в системе грамматических категорий и в построении текста);

- 3) три основных типа ДФ по признаку выполняемой синтаксической функции (функция обстоятельства в простом предложении – функция второстепенного или однородного сказуемого – функция сказуемого придаточного предложения);
- 4) основные несинтаксические функции ДФ (например, в составе сложных глаголов, а также в составе синтетических или аналитических видо-временных форм глагола);
- 5) однозависимые vs. взаимозависимые ДФ;
- 6) равносубъектные – вариативносубъектные – разносубъектные ДФ;
- 7) временные ДФ, выражающие отношения одновременности, предшествования, следования или прерывания, vs. обстоятельственные ДФ; семантические типы обстоятельственных ДФ;
- 8) аспектуальные типы таксисных ДФ: имперфективные – перфективные · аспектуально нейтральные ДФ;
- 9) девять основных типов таксисных ситуаций, исчисляемых на основе трех типов аспектуальных событий (процесс, факт, серия), выражаемых ДФ и/или опорной глагольной формой;
- 10) зависимость выбора ДФ от временной формы финитного глагола (темпорально-нейтральные – презентные – претеритные – футуральные ДФ);
- 11) три основных смысловых типа ДФ: специализированные – контекстные – нарративные ДФ (только последние способны обозначать цепь последовательных событий);
- 12) смысловая (в том числе, лексическая) сочетаемость в таксисных парах;
- 13) типы совмещения у ДФ деепричастных и недеепричастных (например, атрибутивной и инфинитивной) функций;
- 14) основные способы обозначения разносубъектности в структуре ДФ;
- 15) основные типы согласования ДФ с субъектом действия (нулевой, специфический, адъективный, глагольный, посессивный, посессивно-глагольный, смешанный).

#### **Основные публикации по теме раздела**

43. Заметки по типологии зависимого таксиса // А.В. Бондарко и др. (ред.). Функционально-типологические проблемы грамматики. Тезисы научно-практич. конф. «Функциональное и типологическое направления в грамматике и их использование в преподавании теоретических дисциплин в вузе». Вологда, 1986.
44. (Соавтор: И.В. Недялков). Деепричастия в карачаево-балкарском языке // Н.Д. Андреев и др. (ред.). Лингвистические исследования 1986. Социальное и системное на различных уровнях языка. М., 1986.
45. (Соавтор: Г.А. Отаина). Типологические и сопоставительные аспекты анализа зависимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским) // А.В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
46. (Соавтор: I.V. Nedyalkov). On the typological characteristics of converbs // T. Help, S. Murumets (eds.). Symposium on language universals. Summaries. Tallinn, 1987.
47. (Соавтор: И.В. Недялков). Нарративные деепричастия в карачаево-балкарском, монгольском, маньчжурском и нивхском языках // В.В. Богданов и др. (ред.). Предложение и текст: семантика, прагматика и синтаксис. Межвузовский сб. Л., 1988.
48. Основные типы деепричастий // В.С. Храковский (отв. ред.). Типология и грамматика. М., 1990.
49. Some typological parameters of converbs // E. König, M. Haspelmath (eds.). Converbs. EUROTYPE working papers. Ser. 5. № 7. 1993.
50. Some typological parameters of converbs // M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in cross-linguistic perspective: structure and meaning of adverbial verb forms · adverbial participle, gerund. Berlin; New York, 1995.

#### **2.6. Типология взаимных конструкций**

Эта проблема, занимавшая ВПН последние двадцать лет его жизни и представленная в большом количестве его статей, часть из которых приводится ниже, получила свое завершение в монументальной пятитомной коллективной монографии «Reciprocal constructions», вышедшей в 2007 году в издательстве John Benjamins (Amsterdam;

Philadelphia). Этот огромный труд, состоящий из более двух тысяч двухсот страниц, включает пятьдесят глав, в которых (помимо девяти вводных глав) максимально детально рассматриваются синтаксические и семантические характеристики взаимных (реципрокальных) конструкций (далее – РецК) в более чем сорока языках большинства регионов мира (всего в указателе языков в пятом томе, составленном С.А. Крыловым, приводится более 500 языков, а также групп и семей языков, учтенных авторами статей). Отмечу основные типы РецК, а также признаки и параметры их типологического описания в разноструктурных языках, представленные в работах ВПН:

- 1) глагольные (морфологические) и местоименные (синтаксические) РецК;
- 2) лексические реципроки (например, *дружить, спорить, бороться, ссориться*);
- 3) полисемия реципрокальных показателей (социатив, комитатив, ассистив, компетитив, итератив, множественность субъектов);
- 4) субъектные vs. объектные (прямообъектные, непрямообъектные) РецК;
- 5) одновременные vs. последовательные реципроки;
- 6) канонические – дативные – бенефактивные – аблативные – посессивные – локативные реципроки;
- 7) продуктивность реципрокальной деривации и лексические ограничения, накладываемые на деривацию этого типа (в каждой из статей обследованы сотни глаголов всех валентностных и семантических групп);
- 8) способы выражения реципрокальных актантов;
- 9) типы валентностных изменений, происходящих при реципрокальной деривации (уменьшение, сохранение, увеличение числа валентностей исходного глагола);
- 10) возможности образования форм каузатива от реципроков и реципрокальных форм от каузативных форм глаголов.

Даже первичное знакомство с содержанием статей пятитомной монографии показывает самому непредвзятому читателю огромный объем поднятого и исследованного материала (вопросник, написанный ВПН, основан на материале более 300 языков). Автор этой статьи, будучи соавтором ВПН в трех статьях [63; 64; 65] (по карачаево-балкарскому, эвенкийскому и якутскому языкам), может вспомнить многие часы работы с информантами-носителями этих языков, направленной на выяснение многочисленных семантических и синтаксических тонкостей этих языков. Нетрудно догадаться, что стимулом для такой длительной (и подчас мучительной) работы являлись сотни и сотни новых вопросов, которые не уставал формулировать ВПН после каждой встречи или общения по Интернету с авторами всех статей коллективной монографии 2007 года, которая фактически подвела итог многолетней лингвистической деятельности ВПН. Отец очень ждал и хотел увидеть рецензии на свой многолетний труд, посвященный типологии реципроков. Но, понятно, что на то, чтобы освоить колоссальный материал, представленный в этом труде, у лингвистической общественности должно было уйти определенное время. Сегодня хотелось бы искренне поблагодарить авторов двух рецензий, одна из которых была написана В.А. Плунгяном [Плунгян 2009], а вторая – Э. Кёнигом [Koenig 2010].

#### Основные публикации по теме раздела

51. Типология полисемии показателей реципрока // В.М. Солнцев и др. (ред.). Всесоюзная конференция по лингвистической типологии. Тезисы докл. М., 1990.
52. О типологической анкете для описания реципрокальных конструкций // Л.А. Бирюлин, В.С. Храковский (ред.). Типология грамматических категорий. Тезисы докл. Всесоюзной науч. конф. Л., 1991.
53. Типология взаимных конструкций // А.В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
54. Заметки о немецких реципрокальных конструкциях // Язык и речевая деятельность. Т. 3. Ч. 1. СПбГУ, 2000. № 3.
55. Типология способов выражения реципрокального значения // Л.А. Кузьмин (ред.). Язык. Глагол. Предложение. К 70-летию Г.Г. Сильницкого. Смоленск, 2000.

56. (Соавтор: E. Geniušienė). Towards a typology of the polysemy of reciprocal markers // A. Bar-entsen, Ju. A. Pupynin (eds.). *Functional grammar: Aspect and aspectuality. Tense and temporality. Essays in honour of Aleksandr Bondarko*. München, Newcastle, 2000.
57. Kirghiz reciprocals // *Turkic languages*. V. 7. 2003. № 2.
58. Reciprocal constructions of Turkic languages in the typological perspective // *Turkic languages*. V. 10. 2006. № 1.
59. Overview of the research. Definitions of terms, framework, and related issues (Ch. 1) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
60. Encoding of the reciprocal meaning (Ch. 3) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
61. Polysemy of reciprocal markers (Ch. 5) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
62. (Соавтор: E. Geniušienė). Questionnaire on reciprocals (Ch. 8) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
63. (Соавтор: I.V. Nedjalkov). Reciprocal, sociative, and competitive constructions in Karachay-Balkar (Ch. 24) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
64. (Соавтор: I.V. Nedjalkov). Reciprocals, sociatives, comitatives, and assistives in Yakut (Ch. 26) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.
65. (Соавтор: I.V. Nedjalkov). Reciprocal and sociative constructions in Evenki (with an appendix on Manchu) (Ch. 38) // V.P. Nedjalkov (ed.). *Reciprocal constructions*. Amsterdam; Philadelphia, 2007.

### 3. ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, РАССМОТРЕННЫЕ В РАБОТАХ ВПН

Ниже кратко рассматриваются четыре направления лингвистических исследований ВПН, выполненных им в рамках участия в коллективных темах: типология залоговых конструкций, типология двупредикатных конструкций, типология начинательных конструкций и семантика вило-временных форм.

#### 3.1. Типология залоговых конструкций

Если исходить из трактовки залога как грамматической категории, включающей противопоставление форм актива и пассива, с одной стороны, и эргатива и антипассива, с другой, и исключать при этом конструкции, связанные с валентностными преобразованиями глаголов (например, такими категориями как каузатив, рефлексив и декаузатив), то можно сказать, что ВПН написал сравнительно немного статей собственно по пассиву (статьи по антипассиву рассматриваются ниже). Изучая каузативные конструкции в немецком языке, ВПН заметил, что конструкции с глаголом *lassen*, помимо основного – каузативного – значения, через пермиссивную семантику могут также выражать и пассивный смысл, сопровождающийся устранением одной обязательной валентности (агентивной) типа *Sie liess sich töten* [6, с. 161–169]. Типологические наблюдения о семантической смежности каузативно-пермиссивных и пассивных конструкций в разноструктурных языках представлены на с. 169–171 «докторской» монографии 1971 года [6]. В развитие рассматриваемой темы позволю себе назвать собственную статью «Recessive-accessive polysemy of verbal suffixes», опубликованную двадцать лет назад в журнале «*Languages of the world*» (№ 1, 1991). Необходимо также указать на разработку проблем актантной деривации в монографии В.А. Плунгяна [Плунгян 2000: 208–224], а также в работах Ю.Е. Галяминой (см., например, ее статью [Гальямина 2001: 178–197]) и Л.И. Куликова (см., например, [Kulikov 1993; Куликов 1994; Kulikov 2006]). См. еще [Козлова, Лютикова, Федорова 2008; Аркадьев, Лстучий 2007].

Возвращаясь к работам ВПН по проблемам пассива, укажу еще на две его статьи, в которых рассматриваются семантические и формальные связи немецких каузативных и пассивных конструкций – [9] и [69]. Здесь необходимо отметить, что провозвестником исследования связей каузативности и пассивности был выдающийся немецкий линг-

вист Х. фон дер Габеленц, который описал особенности этих конструкций [Gabelentz 1861].

Обращусь теперь к исследованиям залоговых форм чукотского глагола. Предварительно необходимо отметить, что первые работы ВПН по чукотскому синтаксису были связаны с исследованием лабильности глаголов [66], эргативности [67], каузатива [16], инкорпорации [73] и антипассива [76]. Не останавливаясь детально на каждой из этих проблем, приведу основные моменты, связанные с описанием таких характеристик чукотского языка, как лабильность (переходность – непереходность) глаголов, эргатив – абсолютив, инкорпорация и антипассив.

Уже в первой работе по чукотскому языку [66] было отмечено, что лабильные глаголы составляют приблизительно 15% всех чукотских глаголов (около 300 из более чем 2000 глаголов, приводимых в чукотско-русском словаре Т.А. Молл и П.И. Инэнликэя 1957 г.), например: *илгытэвык* «мыться», «мыть», *йырэтык* «наполняться», «наполнять». Важным является список функций эргативной или номинативной конструкций, включающий четыре основные: 1) разграничение разных значений эргативного и номинативного употреблений (например, каузативного и некаузативного, возвратного и невозвратного), 2) разграничение абсолютивного и конкретно-направленного значений глаголов, 3) логическое выделение субъекта действия (в номинативной конструкции) или объекта действия (в эргативной конструкции), 4) грамматическое согласование спрягаемых модальных и фазовых глаголов с зависимым непереходным или переходным инфинитивом. При этом отмечается, что 80% чукотских лабильных глаголов относятся к типам (2) и (3). В следующей статье 1967 года [67] ВПН и его соавтор, блестящий знаток своего родного языка Петр Иванович Инэнликэй, дали значительно более развернутый анализ эргативной конструкции в чукотском языке в ее связи с номинативной конструкцией, отметив, что в этом противопоставлении существенное место занимает инкорпорация. Впечатляет широкий список чукотских глаголов, которые образуют вышеназванные конструкции (авторы выделяют девять различных случаев лабильности). Уже в этой работе удивительной представляется синтаксическая (и соответственно, семантическая) гибкость чукотского предложения, которая получила исчерпывающее описание в неопубликованной на русском языке работе ВПН «Диатезы и структура предложения в чукотском языке» (объем почти два авторских листа). Эта статья, скорее всего, была написана в первой половине 70-х годов и была опубликована в переводе на немецкий язык [71]. Поскольку ее русский оригинал автор настоящей статьи планирует подготовить к печати, представляется нецелесообразным на данном этапе излагать ее содержание. Важными в этой связи представляются материалы, посвященные инкорпорации подлежащего в чукотском языке по типу *Н'эгни* (абс.п.) *ы'лы-мле-гъи*, букв. «Гора снего-обвалилась» в значении «На горе обвалился снег». Чукотские конструкции этого типа были подробно проанализированы в работах [73] и [78]. В статье 1979 года [75] ВПН, рассмотрев случаи эргативного и абсолютивного оформления агенса, установил различные степени эргативности в чукотском языке в связи с особенностями согласования глагола с агенсом и объектом. На основании учета большого количества примеров было установлено, что степень эргативности возрастает в следующих направлениях: *imperfect* → *aorist* → *perfect*; *indicative* → *imperative mood*; *first* → *second* → *third person*; *singular* → *plural number*; *subject agreement* → *object agreement* [75, с. 259].

В двух статьях, написанных в соавторстве [80; 81] через десять лет после выхода первых работ ВПН по чукотскому синтаксису, предложен более развернутый анализ чукотских эргативных и абсолютивных конструкций, связанный с установлением сложного взаимодействия коммуникативно-прагматических факторов, обуславливающих выбор разных конструкций из списка близких по смыслу. Отмечу, что одним из соавторов работы [81] был И.Ш. Козинский. Я был свидетелем их совместной работы в Ленинграде и помню, как отец восторженно отзывался о лингвистическом таланте И.Ш. Козинского. После безвременной кончины И.Ш. Козинского отец стал одним из авторов некролога, посвященного его памяти и опубликованного в «Вопросах языкознания».

Приводимые ниже чукотские конструкции показывают, что по степени синтаксической гибкости его равными соперниками в России, по-видимому, могут быть признаны только родственные ему корякский и алыторский (хотя бы потому, что в остальных языках России отсутствует инкорпорация). Так, русским конструкциям *Отец намазал масло на хлеб // Отец намазал хлеб маслом* в чукотском языке соответствуют следующие пять синтаксических конструкций:

- (1) *Ытлыг-э* (эрг.) *мыткымыт* (масло-абс.) (кавказ-ык 'хлеб-местн.') *кили-нин*;
- (2) *Ытлыг-ын* (абс.) *мытк-э* (масло-инстр.) (кавказ-ык 'хлеб-местн.') *эна-ркэле-гъэ*;
- (3) *Ытлыг-ын* (абс.) (кавказ-ык 'хлеб-местн.') *мыткы-ркэле-гъэ*;
- (4) *Ытлыг-э* (эрг.) *мытк-э* (масло-инстр.) (кавказ 'хлеб-абс.') *эна-ркэле-нэн*;
- (5) *Ытлыг-э* (эрг.) *кавказ* ('хлеб-абс.') *мыткы-ркэле-нэн*.

Конструкции (2)–(5) образуются от исходной эргативной конструкции (1) применением различных правил антипассивизации, связанных с понижением синтаксического статуса прямого дополнения *мыткымыт* «масло» (либо с перемещением его в позицию непрямого дополнения, либо с его инкорпорацией). При этом конструкции (2) и (3) являются непереходными (в конструкции (3) имеет место также инкорпорация имени со значением «масло» в глагольную словоформу), а конструкции (4) и (5), также будучи антипассивными, являются переходными (на что указывает субъектно-объектный показатель согласования в глагольной словоформе *-нэн*). Как указывают авторы статей [80] и [81], выбор эргативной конструкции позволяет говорящему выразить дополнительную ассерцию того, что референт подлежащего в эргативной форме способен начать или закончить выполнение того или иного действия по своей воле. Именно эта ассерция, не вытекающая из лексических значений участвующих имен и глаголов или из семантики выражаемой ситуации, а также не связанная с тема-рематической структурой высказывания, будучи заменена, например, на смысл, связанный с прагматически релевантным изменением состояния объекта, может приводить к выбору того или иного типа антипассивной конструкции. Типология антипассивных конструкций с учетом их семантических, прагматических и синтаксических особенностей была рассмотрена в кандидатской диссертации С.С. Сая, выполненной под руководством ВПН [Сай 2008].

Практически в то же время (вторая половина 60-х годов XX века) ВПН начал серьезно заниматься не только чукотским, но и нивхским языком (см. работы [15; 68; 74]). Многолетним помощником в изучении этого языка была Галина Александровна Отаина, которая являлась не только отличным лингвистом и тонким знатоком своего родного языка, но и обладала невероятным терпением, отвечая в течение многих лет на сотни вопросов ВПН относительно нивхского языка. Венцом их совместной работы стал «Синтаксис нивхского языка» объемом более 300 страниц, машинописный вариант которого, датированный 1988 годом, был обнаружен после кончины ВПН в его домашнем архиве. Этот труд был принят издательством «Наука» к публикации в 1990 году, но отсутствие финансирования помешало появлению «Синтаксиса нивхского языка» двадцать лет назад (хотелось бы в этой связи надеяться на скорейшее опубликование «Синтаксиса нивхского языка» в наше время). Огромную работу по редактированию всего текста «Синтаксиса», проверке многих сотен примеров и переводу текста в компьютерный вид взяла на себя Э.Ш. Генюшене – супруга ВПН и многолетний научный помощник, соавтор и коллега отца. Необходимо отметить, что практически все работы ВПН, опубликованные по-английски (включая его статьи из пятитомного издания по типологии взаимных конструкций 2007 года), были переведены, напечатаны, проверены и вычитаны Э.Ш. Генюшене, что явилось поистине титанической работой.

Поскольку в приложении к «Синтаксису нивхского языка» планируется также издать некоторые другие статьи ВПН по этому языку, не буду специально останавливаться на этих работах ВПН по нивхской грамматике.

В заключение этого раздела назову две диссертационные работы аспирантов ВПН, которые были посвящены исследованию немецких пассивных конструкций: Нематулла Эльмурадов «Пассив и статив в немецкой прямой речи» (Л., 1977) и О.Д. Михайловский «Немецкие бесподлежащие пассивные конструкции» (Л., 1983).

### Основные публикации по теме раздела

66. (Соавтор: П. Инэнликэй). Лабильные («переходно-непереходные») глаголы в чукотском языке // Л.И. Ройзензон и др. (ред.). Материалы всесоюзной конф. по общему языкознанию «Основные проблемы эволюции языка». Ч. 2. Самарканд, 1966.

67. (Соавтор: П.И. Инэнликэй). Из наблюдений над эргативной конструкцией в чукотском языке // В.М. Жирмунский (ред.). Эргативная конструкция предложения в языках различных типов (Исследования и материалы). Л., 1967.

68. (Соавтор: Г.А. Отаина). Описание глагольного словообразования методами порождающей грамматики (на материале нивхского языка) // Х. Рятсеп (ред.). Межвузовская конф. по порождающим грамматикам. Кязэрику. Тезисы докл. Тарту, 1967.

69. Заметки о пассивной и каузативной конструкциях в немецком языке // Б.А. Ильиш (ред.). XXII Герценовские чтения (Межвузовская конф.). Иностранные языки. Краткое содержание докладов. Л., 1970.

70. (Соавторы: А.А. Kholodovich, V.S. Khrakovskij). Diatheses and Voice // L. Heilmann (ed.). Proceedings of the Eleventh International congress of linguists. Bologna–Florence, Aug. 28 – Sept. 2, 1972. V. I. Bologna, 1974.

71. Diathesen und Satzstruktur im Tschuktschischen // R. Lötsch, R. Růžička (Hrsg.). Satzstruktur und Genus Verbi. Berlin, 1976.

72. Эргативность в чукотском языке // Тезисы докладов 1-го Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему «Теоретические проблемы восточного языкознания». Ч. II. М., 1977.

73. Посессивность и инкорпорация в чукотском языке (инкорпорация подлежащего) // В.С. Храковский (ред.). Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.

74. (Соавтор: Г.А. Отаина). Стативы от интранзитивов в нивхском языке // Л.И. Сем и др. (ред.). Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX–XX вв.). Владивосток, 1978.

75. Degrees of ergativity in Chukchi // F. Plank (ed.). Ergativity: Towards a theory of grammatical relations. London, 1979.

76. Чукотский антипассив и вторичная транзитивация // Г.К. Широков и др. (ред.). XIV Тихоокеанский научный конгресс. Август 1979 г. Хабаровск. Секция «Этнокультурные проблемы изучения народов Тихоокеанского региона». Языки бассейна Тихого океана. Тезисы докл. М., 1979.

77. (Соавтор: П.И. Инэнликэй). О связях посессивного, «компаративного», каузативного и аффективного значений глагола (на материале конструкций с глаголом *лыньык* в чукотском языке) // Е.Н. Убрятова и др. (ред.). Языки и фольклор народов Севера. Новосибирск, 1981.

78. Чукотские глаголы с инкорпорированным подлежащим (типа: *льэны ы'лы-мле-гъи* 'с горы обвалился снег', букв. 'гора снего-обвалилась') // С.Д. Кацнельсон и др. (ред.). Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982.

79. Эргативность и номинативность в чукотском глагольном согласовании // В.М. Солнцев и др. (ред.). Теоретические проблемы восточного языкознания. Ч. 2. М., 1982.

80. (Соавтор: M.S. Polinskaja). Contrasting the absolutes in Chukchee. Syntax, semantics and pragmatics // R.M.V. Dixon (ed.). Studies in Ergativity (Lingua. V. 71. № 1–4). Amsterdam, 1987.

81. (Соавторы: I.S. Kozinsky, M.S. Polinskaja). Antipassive in Chukchee: oblique object, object incorporation, zero object // M. Shibatani (ed.). Passive and voice. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

Заключительные три направления, рассматриваемые ниже, по соображениям объема статьи представлены в более компактном виде.

### 3.2. Типология двупредикатных конструкций

Помимо двух статей, опубликованных в коллективных монографиях 1983 и 1985 гг. [85; 86] и посвященных анализу чукотских двупредикатных конструкций (ДПК), ВПН ранее (в 1979 г.) опубликовал статью, посвященную выявлению типологических оснований для описания ДПК в разноструктурных языках [82]. В этой работе ДПК определяются как конструкции, в которых один предикат (чаще всего глагол) «с большей или

меньшей вероятностью предполагает другой предикат (чаще всего глагол или отглагольное имя)» [82, с. 35]. Далее в статье на основе наборов семантических и синтаксических актантов, а также семантических классов предикатно-актантных глаголов предлагается исчисление основных типов диатез ДПК [82, с. 36–40], которое включает, в частности, инверсивные и неинверсивные, субъектные и объектные, а также разноактантные ДПК. Эти конструкции, как показано в работе [82], коррелируют с различными смысловыми классами глаголов (модальными, фазовыми, каузативными, ментальными, а также глаголами речи, чувственного восприятия и эмоций). В результате анализа конкретных языковых данных разных языков ВПН установил ряд корреляций и импликаций [82, с. 37–38, 46–47], характеризующих ДПК разных диатезных и смысловых типов. В качестве примера приведу одну из них: «Если среди каузативных глаголов есть такие, среди которых наблюдается или когда-либо наблюдалось колебание в выборе прямого или косвенного Об-1, то среди таких глаголов будут и глаголы со значением “помогать” (языки: немецкий, венгерский, чукотский и др.)» [82, с. 37–38]. Важным представляется то, что, приведя девять таблиц со структурами разнотипных диатез ДПК, в конце статьи ВПН обращает внимание на ряд вопросов, которые требуют дальнейшего типологического анализа, например: «Если состав смысловых классов [глаголов. – И. Н.] неодинаков в разных языках, то существуют ли какие-либо импликации? Т.е. имплицитирует ли наличие представителей одного смыслового класса наличие представителей какого-либо другого класса?» [82, с. 45].

### Основные публикации по теме раздела

82. Заметки по типологии двупредикатных конструкций. Опыт исчисления // И.П. Сусов и др. (ред.). Значение и смысл речевых образований: Межвуз. тематический сб. Калинин, 1979.

83. О типологии конструкций с предикатным актантом // Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. Материалы Всесоюзной конф. «Типологические методы в синтаксисе разносистемных языков». Л., 1981.

84. Типология двупредикатных конструкций (исчисление и материалы для анкеты) // *Studia gramatyczne*. IV. Wrocław, 1981.

85. (Соавторы: П.И. Инэнликэй, В.Г. Рахтилин). Чукотские конструкции с субъектным инфинитивом // В.С. Храковский (ред.). Категории глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами. Л., 1983.

86. Чукотские деагентивные конструкции с субъектным инфинитивом // В.С. Храковский (ред.). Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.

### 3.3. Типология начинательных конструкций

В серии статей [87]–[91] ВПН разработал основы типологического описания и систематизации способов выражения начинательности в различных языках (основными в этом ряду представляются работы [88] и [90]). Учет большого количества данных разноструктурных языков позволил выделить три основные семантические группы начинательных глаголов (НГ): инхоативы, образуемые от стативов (например, русск. *зацвести*, *заболеть*, *высохнуть*, *полюбить*, т.е. *начать цвести*, *начать болеть*, *начать быть сухим*, *начать любить* соответственно, т.е. «начать быть в состоянии» по М.Я. Гловинской); ингрессивы, образуемые от агентивов – неопредельных, преимущественно интранзитивных предикатов, обозначающих действия с гомогенной внутренней структурой, например: *заплакать*, *заработать* (в смысле «*Мотор вдруг заработал*»), *побежать*, *потащить* (т.е. «начать действовать» по М.Я. Гловинской), и инцептивы, образуемые преимущественно (но не только!) от терминативов – предельных предикатов, обозначающих действия, обычно связанные с постепенным накоплением новых свойств и изменением состояния, приобретением нового качества (например: *начать сохнуть*, *начать выздоравливать*, *начать засыпать*). В работах [87]–[91] (в статье [91] используется несколько другая терминология) рассматриваются, в частности, такие проблемы, как направление морфологической деривации НГ, соотношение НГ с каузативами, семан-

тические особенности трех вышеназванных классов НГ, наличие и употребительность самостоятельных НГ, основные типы фазовых и серийных начинательных значений. По-моему, этот исключительно интересный подход может стать отправной точкой для дальнейшего исследования глаголов данного типа в заданном ВПН направлении.

#### Основные публикации по теме раздела

87. Заметки по типологии начинательных конструкций // И.П. Сусов и др. (ред.). Прагматика и семантика синтаксических единиц: Сб. научных трудов. Калинин, 1984.

88. Основные типы начинательных глаголов // Л.М. Васильев и др. (ред.). Семантические категории языка и методы их изучения. Тезисы докл. Всесоюзной научной конф. (28–30 мая 1985 г.). Ч. 1. Уфа, 1985.

89. Основные типы начинательных глаголов: инхоативы, ингрессивы, инцептивы // И.П. Сусов и др. (ред.). Языковое общение и его единицы: Межвузовский сб. научных трудов. Калинин, 1986.

90. Начинательность и средства ее выражения в языках различных типов // А.В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

91. Notes on the typology of principal types of inceptive predicates: three types of phasal inceptives (inchoatives, ingressive, initives); two non-phasal types (iteratives proper and adverbial iteratives) // W. Bublitz, M. von Roncador, H. Vater (eds.). Philology, typology and language structure. Festschrift for Winfried Boeder on the occasion of his 65th birthday. Frankfurt-am-Main, 2002.

#### 3.4. Семантика видо-временных форм

Эта тема представлена в сравнительно небольшом числе работ ВПН, посвященных анализу карачаево-балкарских, эвенкийских и чукотских видо-временных форм (ВВФ) глагола (для автора настоящей статьи особенно важен тот факт, что три из них были написаны в соавторстве с отцом [92; 93; 94]). Подход ВПН к изучению ВВФ характеризуется интегральностью, т.е. связью как с другими грамматическими категориями глагола (например, с категориями залога и наклонения), так и с лексической семантикой глаголов, принадлежащих различным аспектуальным классам. Список основных проблем, связанных с изучением ВВФ, а также параметров их типологического описания в разноструктурных языках, включает следующие признаки: 1) полисемия отдельных ВВФ, 2) способы действия и семантика ВВФ, 3) соотношение с русскими ВВФ (контрастивный подход), 4) соотношение вида, времени, залогов, наклонений и отрицательной полярности, 5) конкуренция ВВФ и других глагольных форм (например, конъюнктива), 6) особый семантический статус форм перфекта, 7) употребление аспектуальных наречий с различными ВВФ, 8) реализация значений ВВФ в зависимости от аспектуальной характеристики глаголов, 9) употребление ВВФ в диалоге и повествовании, 10) связи ВВФ и модальности высказывания.

#### Основные публикации по теме раздела

92. (Соавторы: П.И. Инэнликэй, И.В. Недялков, В.Г. Рахтилин). Значение и употребление чукотских видо-временных форм // А.В. Бондарко (ред.). Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., 1984.

93. (Соавтор: И.В. Недялков). Карачаево-балкарская глагольная форма на *-б/-п тур-а-* со значениями настоящего и прошедшего времени (в сравнении с формами на *-б тур-а- / тур-иб* в узбекском языке) // А.М. Мухин и др. (ред.). Лингвистические исследования 1987. Функционально-семантические аспекты грамматики. М., 1987.

94. (Соавтор: I.V. Nedjalkov). Meanings of tense forms in Evenki (Tungus) // *Lingua Posnaniensis*. XXXI. 1988.

95. Tense-aspect-mood forms in Chukchi // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. 47. № 4. 1994.

Хотелось бы также сказать несколько слов о книге, посвященной Игорю Евгеньевичу Аничкову [Аничков 1997], которого ВПН безмерно любил и ценил и труды которого собрал, обработал и опубликовал с предисловиями таких выдающихся ученых, как С.С. Аверинцев, В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, Д.С. Лихачев, И.Н. Горелов, Г.Г. Сильницкий. С И.Е. Аничковым судьба свела ВПН в Ставропольском пединституте в начале 50-х годов прошлого века. Чтобы попытаться хотя бы отчасти охарактеризовать масштаб личности И.Е. Аничкова, достаточно привести две цитаты из вышеназванной книги. Первая характеризует Игоря Евгеньевича как ученого: «И.Е. Аничков может быть отнесен к той плеяде русских ученых, которая, сформировавшись в дореволюционную эпоху и впитав в себя лучшие духовные традиции православной русской интеллигенции XIX века, отличалась как энциклопедической широтой интересов, так и чувством ответственности за историческую судьбу Отечества» (В.П. Недялков в [Аничков 1997: 3]). Вторая цитата характеризует главную лингвистическую теорию И.Е. Аничкова – концепцию идиоматики – и принадлежит Ю.Д. Апресяну: «Идиоматику, которая никак не связана с идиоматичностью в традиционном понимании, И.Е. Аничков считал своим главным детищем. Это была в высшей степени оригинальная, стройная и глубокая теория, намного опережавшая свое время» [Апресян 1997: 72]. Стремление сохранить блестящее научное наследие своего учителя И.Е. Аничкова было у ВПН всегда. Отец часто посещал Игоря Евгеньевича и его супругу Софию Николаевну в 70-е годы прошлого столетия, живших на Греческом проспекте г. Ленинграда недалеко от Московского вокзала. Автор этой статьи во время аспирантуры (1973–1978 годы) также неоднократно бывал у Игоря Евгеньевича. Во время таких встреч Игорь Евгеньевич настоятельно просил меня говорить с ним только по-английски, которым он владел безупречно. Мне очень жаль, что посещать Игоря Евгеньевича довелось значительно реже, нежели к этому призывал меня отец (тем более, что, как он мне говорил, в 1951 году я был назван в честь Игоря Евгеньевича). Завершая этот экскурс в историю, хотелось бы привести еще одну цитату из статьи Ю.Д. Апресяна об И.Е. Аничкове: «Историкам лингвистики еще предстоит написать его подробную научную биографию и оценить интеллектуальный и моральный ущерб, который понесла наша наука в результате того, что основные теоретические работы И.Е. Аничкова в своем первоизданном виде и полностью выходят в свет только сейчас» [Апресян 1997: 71].

Хочется завершить статью о ВПН замечанием о том, что он несколько десятилетий разрабатывал методику анкетной типологии, которая совершенствовалась с каждой новой коллективной монографией и была использована в ряде проектов типологического изучения языков Европы (Eurotyp 1990–1995). В этот проект ВПН был приглашен в 1990 году в качестве одного из научных руководителей в числе десяти других ведущих лингвистов-теоретиков Европы.

Отмечу также, что помимо собственной научной работы и руководства аспирантами и докторантами ВПН осуществил научное редактирование следующих трудов:

1. В.П. Недялков (отв. ред.) Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
2. Генюшене Э.Ш. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов. Вильнюс, 1993.
3. В.П. Недялков (отв. ред.) Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках. Калинин, 1985.
4. Сильницкий Г.Г. Семантические классы глаголов в английском языке. Смоленск, 1986.
5. V.P. Nedjalkov (ed.). Typology of resultative constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988. (Перевод монографии «Типология результативных конструкций»; содержит шесть новых глав, восемь глав расширены и дополнены новым материалом).
6. Пименов И.Е. Типология префиксных транзитивов. Кемерово, 1989.
7. V.P. Nedjalkov (ed.). Reciprocal constructions [Typological Studies in Language 71]. V. 1–5. Amsterdam; Philadelphia, 2007. (См. рецензию на эту книгу: N. Maskaliūnienė. Reciprocal constructions. V. 1–5 // Baltistica. V. XLIV, 2. Vilnius, 2009.)

Необходимо отметить сборники, изданные в честь В.П. Недялкова [Kulikov, Vater (eds.). 1998; Abraham, Kulikov (eds.) 1999; ПГТ 2010].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аничков 1997 — *И.Е. Аничков*. Труды по языкознанию. СПб., 1997.
- Апресян 1997 — *Ю.Д. Апресян*. О работах И.Е. Аничкова по идиоматике // *И.Е. Аничков. Труды по языкознанию*. СПб., 1997.
- Аркадьев, Летучий 2007 — *П.М. Аркадьев, А.Б. Летучий*. Типологически нетривиальные свойства морфологического каузатива в адыгейском языке // Доклад на IV конф. по типологии и грамматике для молодых исследователей. СПб., 1–3 ноября 2007.
- Володин, Скорик 1997 — *А.П. Володин, П.Я. Скорик*. Чукотский язык // *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М., 1997.
- Галямина 2001 — *Ю.А. Галямина*. Акцессивно-рцессивная полисемия показателей залога и актантной деривации // *Исследования по теории грамматики*. Вып. 1: Глагольные категории. М., 2001.
- Груздева 1997 — *Е.Ю. Груздева*. Нивхский язык // *Языки мира. Палеоазиатские языки*. М., 1997.
- Козлова, Лютикова, Федорова 2008 — *А.В. Козлова, Е.А. Лютикова, О.В. Федорова*. 'Заставить' или 'разрешить': анализ семантики каузативных глаголов // *Труды междунар. конф. «Диалог-2008»*. М., 2008.
- Куликов 1994 — *Л.И. Куликов*. Типология каузативных конструкций в современных синтаксических теориях: опыт решения одной лингвистической метазадачи // *Знак. Сб. статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А.Н. Журина*. М., 1994.
- ПГТ 2010 — Проблемы грамматики и типологии. Сб. статей памяти В.П. Недеялкова. М., 2010.
- Плунгян 2000 — *В.А. Плунгян*. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.
- Плунгян 2009 — *В.А. Плунгян*. [Рец. на:] *Reciprocal constructions*. Amsterdam, 2007 // *ВЯ*. 2009. № 6.
- Сай 2008 — *С.С. Сай*. К типологии антипассивных конструкций: семантика, прагматика, синтаксис: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2008.
- Храковский, Оглоблин 1998 — *В.С. Храковский, А.К. Оглоблин*. Школа А.А. Холодовича // *Язык и речевая деятельность*. Т. 1. СПб., 1998.
- Abraham, Kulikov (eds.) 1999 — *W. Abraham, L. Kulikov* (eds.). *Tense-aspect, transitivity and causativity Essays in honour of Vladimir Nedjalkov*. Amsterdam, 1999.
- Comrie 1976 — *B. Comrie*. The syntax of causative constructions: cross-language similarities and divergences // *Syntax and semantics*. V. 6. The grammar of causative constructions. New York, 1976.
- Comrie 1981 — *B. Comrie*. *Language universals and linguistic typology. Syntax and morphology*. Chicago, 1981.
- Comrie 1985 — *B. Comrie*. Causative verb formation and other verb-deriving morphology // *Language typology and syntactic description*. V. III. Grammatical categories and the lexicon. Cambridge, 1985.
- Dixon 2000 — *R. Dixon*. A typology of causatives: Form, syntax, and meaning // *R.M. Dixon, A. Aikhenvald* (eds.). *Changing valency: Case studies in transitivity*. Cambridge, 2000.
- Gabelentz 1861 — *H.C. von der Gabelentz*. *Über das Passivum*. Leipzig, 1861.
- GC 2002 — *The grammar of causation and interpersonal manipulation*. Amsterdam, 2002.
- Geniušiene 1987 — *E. Geniušiene*. The typology of reflexives. Berlin, 1987.
- Haspelmath 1993 — *M. Haspelmath*. More on the typology of inchoative / causative verb alternations // *B. Comrie, M. Polinsky* (eds.). *Causatives and transitivity*. Amsterdam, 1993.
- Koenig 2010 — *E. Koenig*. [Rec.:] *Reciprocal constructions*. Amsterdam, 2007 // *Language*. 2010. V. 86. № 1.
- Kulikov 1993 — *L. Kulikov*. The second causative: a typological sketch // *B. Comrie, M. Polinsky* (eds.). *Causatives and transitivity*. Amsterdam, 1993.
- Kulikov 2006 — *L. Kulikov*. Passive and middle in Indo-European // *W. Abraham, L. Leisio* (eds.). *Passivization and typology: Form and function. Typological studies in language*. V. 68. Amsterdam, 2006.
- Kulikov, Vater (eds.) 1998 — *L. Kulikov, H. Vater* (eds.). *Typology of verbal categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday*. Tübingen, 1998.
- Levin, Rappoport Hovav 1995 — *B. Levin, M. Rappoport Hovav*. *Unaccusativity: at the syntax-lexical semantics interface*. Massachusetts, 1995.
- Nichols et al. 2004 — *J. Nichols, A.D. Peterson, J. Barnes*. Transitivity and detransitivizing languages // *Linguistic typology*. 2004. V. 8. № 2.
- Shibatani (ed.) 1976 — *M. Shibatani* (ed.). *The grammar of causative constructions*. 1–2. New York, 1976.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

*R.P. Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel (eds.). Text, time, and context. Selected papers of Carlota S. Smith. Studies in linguistics and philosophy 87. Dordrecht: Springer, 2009. Ixiv + 404 p. ISBN 978-90-481-2616-3*

Имя американской исследовательницы Карлоты Смит (1934–2007) известно российским лингвистам в первую очередь благодаря ее работам по аспектологии, в которых нашла отражение так называемая «двухкомпонентная» теория вида, четко проводящая противопоставление между лексическими (акциональными) свойствами предикатов и грамматическими аспектуальными категориями (см. монографию [Smith 1991/1997] и вышедшую на русском языке статью [Смит 1998]). Именно аспектологические работы К. Смит являются наиболее цитируемыми и за рубежом<sup>1</sup>.

Рецензируемый сборник статей К. Смит, изданный посмертно ее коллегами и учениками, позволяет существенно по-иному оценить широту интересов и научный вклад этого неординарного ученого, в чьей биографии аспектологическая проблематика занимала важное, но не единственное и не всегда центральное место. Основным лейтмотивом исследований К. Смит, насколько можно судить по включенным в сборник статьям, был вопрос о способах интерпретации высказываний носителями разных языков – проблема, изучение которой сразу сталкивалось с несколькими сложностями.

Во-первых, даже в пределах одного языка на интерпретацию влияют самые разные факторы, и один из важнейших таких факторов – контекст, на необходимости учитывать который К. Смит всегда настаивала в своих

работах. Во-вторых, языки существенно различаются тем, какие способы интерпретации они предпочитают, какие они накладывают на них ограничения, какие значения кодируются в них грамматически. Внимание к межъязыковой вариативности в изучаемой ею области, в том числе к весьма тонким различиям между языками, также всегда было отличительной чертой работ К. Смит. Несмотря на то, что ее нельзя назвать типологом в общепринятом значении этого слова, поскольку она не ставила перед собой задачи систематически описать всевозможные значения, которые в языках мира принимали бы исследуемые ею параметры, и всегда ограничивала область своего рассмотрения лишь несколькими хорошо известными ей языками (сначала это был, помимо ее родного английского, французский, который она знала в совершенстве, затем – китайский и навахо, привлекался к рассмотрению также и русский язык), типологическая ориентированность неизменно присутствовала в работах К. Смит. Наконец, необходимо отметить, что будучи воспитана в рамках генеративного направления в лингвистике (К. Смит начала свою лингвистическую карьеру как ученица З. Хэрриса и Н. Хомского, и первые ее работы [Smith 1961; 1964] были посвящены трансформационному синтаксису английского языка), К. Смит очень скоро вышла за рамки «мейнстрима» порождающей грамматики как с точки зрения изучаемых ею проблем, так и во многом в отношении методологии и стилистики научной работы. (Стоит отметить, что с середины 1980-х гг. излюбленной формальной моделью К. Смит стала теория репрезентации дискурса (Discourse Representation Theory, см. [Kamp 1981; Kamp, Reyle 1993]), не предполагающая

<sup>1</sup> Так, по состоянию на 21.08.2010 в научном подразделении поисковой системы Google (scholar.google.com) книга [Smith 1991/1997] упоминается более 1500 раз, а любая другая ее публикация – не более 250 раз.

сколь-нибудь сложной синтаксической «машинерии», зато дающая богатые возможности для моделирования самых разных семантических явлений на уровне предложения и текста.) Именно этим можно объяснить тот факт, что труды К. Смит читают и признают авторитетными лингвисты, придерживающиеся самых разных теоретических установок. Высказанные в ее работах идеи и применяемые ею методы анализа имеют ценность независимо от узкой научной парадигмы, а ее работы, в том числе написанные несколько десятилетий назад, оказались устойчивы против быстротечной научной моды.

В сборник помещены пятнадцать статей К. Смит, написанные ею единолично или в соавторстве на протяжении почти четырех десятилетий (самая ранняя из представленных в сборнике статей была впервые опубликована в 1971 г., последние датируются уже 2000-ми годами), краткая биографическая справка и библиография основных публикаций ученого, а также интервью, которое К. Смит дала своим коллегам в 2005 г. В последнем она рассказывает о разных периодах своей научной биографии, об ученых, с которыми сотрудничала и контактировала, о научной и общественной обстановке в университетах США и Франции в 1960–1980-е гг. В конце сборника имеются именной и тематический указатели.

Статьи разбиты на пять тематических разделов, каждому из которых предпосланы краткие введения, написанные ведущими специалистами в соответствующих областях лингвистики. Эти введения суммируют основное содержание статей раздела и оценивают особенности работы К. Смит и ее вклад в данную проблематику. Разделы эти таковы: «Вид» («Aspect»; введение М. Крипки), «Время» («Tense»; введение Ж. Герон), «Усвоение времени детьми» («The acquisition of tense»; введение Р.П. Мейсра), «Структура дискурса и дискурсивные модусы» («Discourse structure and discourse modes»; введение Б.Х. Парти), «Контекст и интерпретация» («Context and interpretation»; введение Х. Эристар-Драй). Поскольку объем рецензии не позволяет остановиться на каждой из статей К. Смит в отдельности, далее охарактеризуем указанные тематические секции, останавливаясь на наиболее интересных и релевантных моментах отдельных статей.

В раздел о виде помещены три статьи, отражающие разные направления аспектологических исследований К. Смит. Работа «Подход к виду с точки зрения говорящего» («A speaker-based approach to aspect»; впервые опубликована в журнале «Linguistics and philosophy» в 1986 г.) является программной и наряду с более ранней статьей [Smith 1983] во мно-

гом предвосхищает книгу [Smith 1991/1997]. Основной пафос статьи состоит в том, что аспектуальные значения – будь то грамматические категории, наличные в данном языке, или акциональные компоненты лексической семантики предиката и его зависимых, составляющих описание внеязыковой ситуации, – в значительной степени субъективны и обусловлены тем, каким образом говорящий представляет ситуацию и с какой точки зрения он на нее смотрит. Напомню, что в своей двухкомпонентной теории вида К. Смит постулирует два универсальных аспектуальных значения, так называемые видовые ракурсы (aspectual viewpoint): перфективный (рассмотрение ситуации целиком, включая ее границы) и имперфективный (рассмотрение части ситуации, не включающей ни одной из ее границ). Начиная с уточнения вендлеровской классификации акциональных типов ситуаций [Vendler 1957], К. Смит переходит к описанию видовых значений английских глагольных форм, демонстрируя, как грамматические аспектуальные категории взаимодействуют с лексическими. Затем она анализирует видо-временные категории французского глагола, показывая, в чем состоят тонкие различия между двумя языками в области выражения точки зрения говорящего на ситуацию и как по-разному сходные по значению английские и французские формы ведут себя при сочетании с теми или иными типами предикатов. Заключает статью краткое обсуждение типологии видовых систем, привлекающее данные (правда, без иллюстративных примеров и подробного обсуждения) целого ряда языков, преимущественно Африки и Северной Америки.

В работе «Видовые категории языка навахо» («Aspectual categories in Navajo»; впервые опубликована в журнале «International journal of American linguistics» в 1996 г.) К. Смит описывает, как в этом атабаскском языке кодируются акциональные типы ситуаций и разнообразие видовых категорий, подчас весьма экзотических. В области акциональности для навахо особенно релевантными оказываются отражающиеся в морфосинтаксических возможностях соответствующих глагольных основ противопоставления динамических ситуаций состояниям, а внутри динамических ситуаций длительных и мгновенных; напротив, важная для европейских языков оппозиция предельных и непредельных ситуаций в навахо, как показывает К. Смит, нейтрализована. Интересно также, что способы выражения аспектуальных значений в навахо нередко парадоксальным образом отличаются от характерных для языков «среднесвропейского стандарта». Так, актуально-длительное (импер-

фективное) значение нередко кодируется при помощи перфективных форм начинательных глагольных основ – осуществление события «ситуация началась» прагматически имплицитует, что ситуация продолжается.

В статье «Деятельности: состояния или события?» («Activities: states or events»; впервые опубликована в журнале «Linguistics and philosophy» в 1999 г.) К. Смит приводит многочисленные аргументы в пользу трактовки вендлеровского класса деятельностей, который разделяет общие свойства и с состояниями, и с событиями, как образующего естественный класс именно с последними. Наиболее интересным аргументом представляется сходство поведения деятельностей и событий в дискурсе: оба типа ситуаций в сочетании с перфективным видовым ракурсом способны «продвигать» основную линию повествования, в отличие от состояний, которые выступают в текстовой функции фона.

Раздел «Время» включает четыре статьи. Первая из них «Синтаксис и интерпретация английских темпоральных выражений» («The syntax and interpretation of temporal expressions in English»; впервые опубликована в журнале «Linguistics and philosophy» в 1978 г.) – представляет оригинальную теорию интерпретации языковых выражений с временным значением, разработанную на материале английского языка. В основе этой теории лежит известное противопоставление трех временных моментов, введенное в работе [Reichenbach 1947]: времени речи (speech time), времени ситуации (event time) и времени отсчета (reference time). Темпоральные выражения, т.е. грамматическая категория времени (tense) и разного рода темпоральные обстоятельства, все вместе служат спецификации времени отсчета, его положения относительно момента речи и положения времени ситуации относительно точки отсчета<sup>2</sup>. Важный вывод К. Смита, к которому она возвращается и в других статьях, состоит в том, что целые классы предложений, характеризующиеся особыми сочетаниями грамматического времени и темпоральных обстоятельств, будучи грамматически правильными, являются семантически неполными и получают временную интерпретацию лишь в контексте. Этот факт, как показывает К. Смит, имеет последствия и для теории грамматики в целом, демонстрируя, что лишь такая модель

<sup>2</sup> В этом смысле концепция времени К. Смита предвосхищает теорию В. Кляйна [Klein 1994], постулирующего в качестве центрального понятия времени референции (topic time) – временного интервала, относительно которого делается ассерция высказывания.

семантико-синтаксического интерфейса, которая способна учитывать контекст, является адекватной для описания языка.

В статье «Временная референция английского футуратива» («The temporal reference of the English futurate»; впервые опубликована в журнале «Cognition and communication» в 1983 г.) К. Смит обсуждает семантические особенности употребления английских форм простого презенса (present simple) и презенса прогрессива (present continuous) в функции будущего времени, демонстрируя, что эти конструкции описывают подготовительный этап будущей ситуации, имеющий место в момент речи.

Две другие статьи этого раздела – «Сфера действия грамматического времени» («The domain of tense»; впервые опубликована в сборнике «The Syntax of time», MIT Press, 2004) и «Категория времени и контекст во французском языке» («Tense and context in French»; впервые опубликована в альманахе «Cahiers Chronos» в 2007 г.) – особое внимание уделяют дискурсивным аспектам интерпретации временных выражений. В этой связи необходимо более подробно остановиться на предложенной К. Смит оригинальной концепции типов дискурса и их языковых особенностей, наиболее полное отражение нашедшей в монографии [Smith 2003].

Модусом дискурса (discourse mode) К. Смит называет особый способ организации текста, обладающий рядом прагматических и лингвистических свойств. Это понятие отличается от принятого в литературоведении понятия жанра большей общностью и во многом сходно с понятием «дискурсивного режима», введенным в работах Е.В. Падучевой [Падучева 1996]. К. Смит выделяет пять основных дискурсивных модусов (оставляя вне рассмотрения диалог и ряд других типов дискурса): нарратив (narrative), репортаж (report), описание (description), сообщение (information) и аргументация (argument). Модусы дискурса, помимо прочих релевантных характеристик, отличаются значениями двух признаков, непосредственно связанных с языковым временем. Первый из этих признаков – типы единиц, которыми оперирует данный модус дискурса. Существует три основных типа таких единиц: ситуации (eventualities; ситуации в свою очередь делятся на события и состояния), свойства (general statives) и абстрактные сущности факты и пропозиции. Ситуации и свойства, в отличие от абстрактных сущностей, локализуемы во времени (ср. [Арутюнова 1988]). К. Смит постулирует следующую корреляцию между модусами дискурса и преобладающими в них сущностями (с. 167):

Временные (temporal) модусы:  
Нарратив: ситуации  
Репортаж: ситуации, свойства  
Описание: состояния, свойства, события в развитии

Вневременные (atemporal) модусы:  
Сообщение: факты, состояния  
Аргументация: абстрактные сущности, свойства

Второй признак, отличающий друг от друга разные дискурсивные модусы, – способ продвижения (principle of advancement), то, каким образом читатель или слушатель воспринимает развертывание текста. Временные модусы дискурса организованы в соответствии с временной или пространственной динамикой: в нарративе и репортаже это последовательность событий, в описании – скорее последовательность, в которой описываемая действительность разворачивается перед внутренним взором читателя или слушателя. Вневременные модусы организованы, напротив, в соответствии с более сложными логическими отношениями между фактами и пропозициями.

В статье «Сфера действия времени» К. Смит предлагает правила интерпретации временных форм в разных дискурсивных модусах. В нарративе главную роль играет время отсчета, а привязка его к моменту речи обычно нерелевантна или тривиальна. Имеются две основные модели интерпретации, применяющиеся к разным типам ситуаций: завершенные ситуации, выраженные перфективным видовым ракурсом (в тех языках, где ракурсы грамматикализованы), располагаются на временной оси последовательно и тем самым продвигают время отсчета; длящиеся же ситуации (состояния, события в развитии, выраженные имперфективным видовым ракурсом) интерпретируются как одновременные установленной ранее точке отсчета. В репортаже, напротив, временные выражения выступают в своей дейктической функции и главную роль играет расположение ситуаций относительно момента речи. В связи с этим линейный порядок представления ситуаций, принципиальный для установления их последовательности в нарративном модусе, для репортажа не столь важен. Наконец, в модусе описания время статично: все предложения имеют одно и то же время отсчета, а передаваемые ими ситуации воспринимаются как одновременные. С этим связано преобладание в описаниях глагольных лексем, обозначающих состояния, и имперфективных глагольных форм; К. Смит отмечает также, что когда в текстовый фрагмент, выдержанный в модусе описания, попадают перфективные глагольные формы, в норме предполагающие предельное понимание ситуации и таксис следования,

происходит семантический сдвиг (coscison) и предельность снимается (с. 173).

В статье «Категория времени и контекст во французском языке» К. Смит задается, по сути, типологическим вопросом о признаках категории времени, которые бы позволили определить, грамматикализована ли она в том или ином языке или же временные значения возникают как «побочные» интерпретации какой-либо другой категории (например, вида или модальности)<sup>3</sup>. Одним из важных критериев грамматического времени К. Смит, на первый взгляд парадоксальным образом, считает способность граммем времени в определенных контекстах иметь вневременные (atemporal) значения. Аргументом в пользу такого взгляда опять-таки служат типологические данные, указывающие на то, что граммемы прошедшего времени во многих языках могут выражать значения из области ирреальной модальности (см., например, [Fleischman 1989; Iatridou 2000]). Далее в статье дается подробный анализ атемпоральных значений французских прошедших времен в условных конструкциях; приводятся аргументы в пользу трактовки французского будущего именно как граммемы времени, в отличие от английских конструкций, которые К. Смит предпочитает рассматривать как модальные; наконец, анализируется поведение французских грамматических времен в тексте с точки зрения описанной выше теории дискурсивных модусов.

Работы К. Смита, посвященные интерпретации темпоральных выражений в предложении и в дискурсе, представляют несомненную ценность по целому ряду причин. Во-первых, во многом новаторским является то, что исследовательница уделяет внимание не только собственно грамматическим единицам (видо-временным категориям), но и лексическим средствам выражения темпоральных значений (обстоятельствам), демонстрируя, что лишь оба эти класса языковых сущностей вместе позволяют получить полную временную интерпретацию высказывания. Во-вторых, это сочетание детального и формализованного описания интерпретации отдельного предложения с постоянным и опять же находящимся на высоком уровне точности вниманием к контекстным факторам, получившее развитие в

<sup>3</sup> Отметим также, что свое определение К. Смит строит с помощью принятого в функционально-типологическом направлении метода прототипов: «если к граммеме применимы все признаки, я считаю ее временем; чем больше признаков применимы к данной граммеме, тем больше она похожа на время» (с. 185, перевод наш. – П.А.).

оригинальной концепции дискурсивных модусов. В-третьих, это сопоставительная, учитывающая межъязыковое разнообразие, перспектива исследований К. Смит. Все это делает ее работы полноправной и важной частью более широкой и разносторонней научной программы по изучению грамматических категорий в дискурсе (см. недавний обзор в [Плунгян 2008], где, к сожалению, работы американской исследовательницы не упоминаются).

В двух коротких статьях раздела «Усвоение времени детьми», К. Смит, опираясь на разработанную ею теорию темпоральной интерпретации, обсуждает проблемы развития у детей способности правильно понимать и порождать выражения с временной семантикой и локализовать ситуации во времени и относительно друг друга. Данные спонтанной детской речи и специальных экспериментов свидетельствуют о том, что дети с весьма раннего возраста способны говорить о ситуациях, относящихся к плану прошлого, и выстраивать эти ситуации в определенном порядке, причем независимо от типа описываемой ситуации. Тем не менее, как показывает К. Смит, понятие времени отсчета и связанные с ним более тонкие механизмы интерпретации и грамматики усваиваются позже, чем собственно категория времени. Кроме того, она выдвигает гипотезу, основанную на представлениях порождающей грамматики, о важной роли грамматического времени в усвоении более общих понятий синтаксической иерархии и сферы действия.

Раздел «Структура дискурса и дискурсивные модусы» включает четыре статьи, проблематика которых во многом связана с обсуждавшейся в разделе «Время». Статья «Временные структуры в дискурсе» («Temporal structures in discourse»; впервые опубликована в сборнике «Time, tense, and quantifiers», Max Niemeyer Verlag, 1980) предвосхищает работы К. Смит об особенностях темпоральной организации дискурсивных модусов, а статья «Смысловая неопределенность изолированных предложений» («The vagueness of sentences in isolation»; впервые опубликована в «Proceedings of the Chicago linguistics society» в 1977 г.) основывается на материале, вошедшем в статью «Синтаксис и интерпретация английских темпоральных выражений». Важнейшее заключение этой работы состоит в том, что аспектуальная и темпоральная интерпретация многих типов высказываний в значительной степени опирается на контекст и что, приписывая вырванным из контекста предложениям значение, носители пользуются общекогнитивным механизмом максимизации полученной информации, т.е. дают ту интерпретацию, которая следует из эксплицитно заключенной в предложении

информации с наименьшим числом дополнительных допущений. Например, если в предложении не специфицировано отношение между временем отсчета и временем ситуации, носители интерпретируют эти временные планы как одновременные (с. 279). Из этого следует методологический вывод о том, что «лингвисты могут идти по ложному пути, интерпретируя интуицию носителей об изолированных предложениях. Возможно, вместо того, чтобы выявлять языковые свойства тех или иных предложений, они на самом деле собирают данные о стратегиях интерпретации семантически неполных высказываний» (с. 281).

В статье «Предложения в тексте: анализ эссе Бертрانا Рассела» («Sentences in discourse: an analysis of an essay by Bertrand Russell»; впервые опубликована в «Journal of linguistics» в 1971 г.) К. Смит применяет механизмы трансформационной грамматики для решения нетрадиционной задачи – выявить особенности стиля конкретного произведения (на примере фрагмента работы Рассела «The elements of ethics», 1910). Обращая внимание на то, что риторически наиболее важные фрагменты смысла Рассел помещает в начале и в конце предложения, К. Смит анализирует синтаксические механизмы, которые позволяют автору таким образом структурировать информацию. Кроме того, в этой ранней работе американская исследовательница одной из первых привлекает внимание синтаксистов к «поверхностному» понятию топика, которое оказывается центральным для интерпретации предложения в связном дискурсе. Эта статья наглядно демонстрирует, как К. Смит, находясь во многом в рамках трансформационного синтаксиса, выходит в смежные области, представляющие проблему для собственно синтаксического анализа и требующие иных методов и подходов.

В совместной с М.С. Эрбо (Mary S. Erbaugh) статье «Временная интерпретация в китайском языке» («Temporal interpretation in Mandarin Chinese»; впервые опубликована в журнале «Linguistics» в 2005 г.) К. Смит обсуждает лексические и грамматические механизмы выражения временных значений в языке, структура которого в этом отношении очень сильно отличается от таковой английского или французского, поскольку в китайском нет центральной для европейских языков грамматической категории времени. Вместо этого информация о локализации и последовательности ситуаций передается в китайском языке с помощью аспектуальных показателей и темпоральных обстоятельств, а в значительной части случаев вообще никак не эксплицируется, будучи выводимой из контекста. К. Смит и М.С. Эрбо

предлагают формальный анализ семантики китайских видовых маркеров и показывают, как они взаимодействуют с акциональными свойствами предикатов, с одной стороны, и как они специфицируют темпоральные отношения, с другой. Анализируя большой массив текстовых данных, авторы демонстрируют, что важную роль в интерпретации предложений в китайском играют прагматические факторы, в частности, тип дискурса (нарратив или описание). Вывод статьи состоит в том, что, несмотря на различие грамматических «ресурсов» между языками, принципы темпоральной интерпретации высказываний, как самих по себе, так и в связном дискурсе, в значительной степени являются общими.

Последний раздел сборника – «Контекст и интерпретация» – содержит две работы, посвященные лингвистическим механизмам воздействия текста на читателя. В совместной с Дж. Уитакер статье «Значимые умолчания: эллипсис в повести Флобера “Простая душа”» («Some significant omissions: ellipses in Flaubert's *Un cœur simple*»; впервые опубликована в журнале «Language and style» в 1984 г.) К. Смит анализирует характерные особенности стиля повести Флобера, основное внимание уделяя разным типам умолчания – случаям, когда автор требует от читателя самостоятельно «достроить» семантическую структуру текста, необходимую для его полной интерпретации. Авторы рассматривают три типа таких «умолчаний»: не поддержанное контекстом употребление грамматически определенных именных групп; использование анафорических местоимений без однозначного антецедента; непрямую ассерцию, т.е. употребление разного рода лексических единиц, косвенным образом сообщаящих читателю ту или иную информацию (например, выражений вроде *également* ‘точно так же’). К. Смит и Дж. Уитакер демонстрируют, какие лингвистические (грамматические, семантические и в первую очередь прагматические) механизмы позволяют читателю восстановить полный смысл текста, и показывают, что активное употребление Флобером описанных в статье «умолчаний» является художественным приемом, одна из целей которого – создать у читателя «эффект присутствия» и эмпатию по отношению к персонажам. Данная статья является ярким примером того, как собственно лингвистические методы и понятия могут служить решению литературоведческих задач, а анализ художественного текста оказывается удобным «полигоном» для работы лингвиста (в этом смысле работа К. Смит и Дж. Уитакер находит прямые параллели в исследованиях Е.В. Падучевой [Падучева 1996]).

Статья «Объяснение субъективности (точки

зрения)» («Accounting for subjectivity (point of view)»), впервые опубликованная в сборнике «The legacy of Zellig Harris» (Amsterdam: John Benjamins, 1992), посвящена лингвистическим средствам выражения субъективной точки зрения говорящего или персонажа на описываемую в высказывании ситуацию. К. Смит предлагает разграничивать точку зрения и перцептивную перспективу, поскольку они имеют разные языковые свойства, и ставит вопрос о лингвистической идентификации лица, отвечающего за выраженную в высказывании точку зрения или перспективу. В рамках точки зрения К. Смит различает сообщение от имени лица (прямую речь, косвенную речь и так называемый свободный косвенный дискурс, см. [Падучева 1996: 335 и сл.]), содержание сознания (ментальные состояния, передающиеся пропозициональными актантами глаголов мысли) и оценку разных типов (и здесь ср. работы Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1976; 1988]). Важнейшую роль в создании субъективной точки зрения, как показывает К. Смит, играют дейктические (эгоцентрические по Е.В. Падучевой) элементы – местоимения, обстоятельства, грамматическое время. Перцептивная перспектива может передаваться различными способами, в том числе, помимо прямого употребления глаголов восприятия, употреблением имперфективных видовых форм. Кроме того, определенная перспектива может возникать и вне контекста перцепции – в этой связи обсуждаются представленные в разных языках так называемые синтаксически свободные употребления рефлексивных местоимений, которые, как показывает ряд исследований, связаны с выражением субъективной перспективы на ситуацию. В заключение статьи К. Смит предлагает анализ разных проявлений субъективности в рамках теории репрезентации дискурса; для этого она предлагает различать роли автора сообщения (reporter) и лица, о котором идет речь (self), и показывает, как те или иные языковые конструкции требуют, чтобы ответственность за точку зрения или перспективу, выраженную в предложении, была приписана одной из этих ролей или им обсем.

\* \* \*

Рецензируемое собрание статей Карлоты Смит дает весьма полное представление о разносторонних интересах этого ученого и позволяет включить ее наиболее известные аспектологические труды в существенно более широкий контекст исследований по семантике и структуре дискурса. В этой связи хочется отметить удачное составление книги – с одной стороны, включенные в нее статьи посвящены весьма разным проблемам, с

другой стороны, логически они тесно связаны между собою и демонстрируют закономерные переходы от одного класса научных вопросов к другому. Кроме того, составителями хорошо соблюден баланс между общетеоретическими работами и статьями, посвященными более узким проблемам и весьма конкретному материалу. Наконец, сборник в полной мере отражает занятия К. Смит разноструктурными языками.

В порядке критики хочется высказать ряд замечаний, адресованных составителям и издательству. Во-первых, на наш взгляд, неудачно, что имя основного автора на обложке книги появляется лишь в подзаголовке, оказываясь тем самым в «подчиненном» положении по отношению к именам редакторов-составителей. Это даже привело к тому, что имя К. Смит вообще отсутствует на корешке книги. Во-вторых, довольно неудобно то, что сведения о месте и времени первой публикации даются не при каждой статье, а отдельным списком, к тому же упорядоченным по издательствам, в которых выходили журналы или сборники со статьями Смит. В-третьих, по нашему мнению, составителям следовало бы проделать гораздо более тщательную работу по подготовке статей к публикации. К сожалению, текст содержит весьма значительное число опечаток, подчас затрудняющих понимание. Например, на с. 18 в примере (26) должен стоять знак неправильности «\*» или «#»; на с. 19 в тексте перепутаны номера примеров; на с. 22 и 23 с ошибками написаны фамилии F. Merlan (в тексте вместо этого «Merlin») и DeLancey. На с. 65 после примера (2) вместо «three» следует читать «two»; на с. 75 в примере (20) по два раза повторены одни и те же предложения; на с. 117 появился заголовок, место которого на самом деле на с. 119; на с. 131 после примеров (27)–(29) пропущен фрагмент фразы; на с. (150) перед диаграммой (7) почему-то идет отсылка к диаграмме (9); внизу с. 183 часть одного предложения повторяется дважды, и то же на с. 194, 196, 199; на с. 186 после примеров (2) лишними являются слова «the tense», а вместо «modal» следует читать «modal»; на с. 193 в примере (14b) пропущена часть французского предложения; на с. 214 вместо «perfective», по-видимому, следует читать «imperfective»; на с. 256 написано «be cause» вместо «because», на с. 258 – «insight ful» вместо «insightful»; на с. 321 в одну строку дан китайский пример (14d) и его английский перевод; в японских примерах из сноски 15 на с. 385 сдвинуты глоссы и ошибочно напечатано «NBG» вместо «NEG», кроме того, отсутствует расшифровка обозначений; на с. 387 стоит номер для отсутствующей на ней сноски

15; на с. 388 перед списком (29), как кажется, пропущен кусок фразы, значение которого восстановить невозможно. По нашему мнению, составляя посмертное собрание статей своего учителя и коллеги, редакторы могли бы с большим вниманием отнестись к качеству текста.

В заключение еще раз подчеркнем, что сборник статей покойной Карлоты Смит представляет собою чрезвычайно ценную книгу, дающую читателю возможность познакомиться с основными работами этого выдающегося и интересного ученого, каковы работы, несмотря на то, что со времени первой публикации иных из них минуло несколько десятилетий, на наш взгляд, не утратили своей свежести и актуальности. Остается лишь сожалеть, что активная научная деятельность Карлоты Смит безвременно прекратилась.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова 1976 - Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. М., 1976.
- Арутюнова 1988 - Н.Д. Арутюнова. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Падучева 1996 - Е.В. Падучева. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Плунгян 2008 - В.А. Плунгян. Предисловие: Дискурс и грамматика // В.А. Плунгян (ред.). Исследования по теории грамматики. 4. Грамматические категории в дискурсе. М., 2008.
- Смит 1998 - К. Смит. Двухкомпонентная теория вида // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.
- Fleischman 1989 - S. Fleischman. Temporal distance: A basic linguistic metaphor // Studies in language. V. 13. 1989. № 1.
- Iatridou 2000 - S. Iatridou. The grammatical ingredients of counterfactuality // Linguistic inquiry. V. 31. 2000. № 2.
- Kamp 1981 - H. Kamp. A theory of truth and semantic representation // J.A.G. Groenendijk, T.M.V. Janssen, M.B.J. Stokhof (eds.). Formal methods in the study of language. Amsterdam, 1981.
- Kamp, Reyle 1993 - H. Kamp, U. Reyle. From discourse to logic. Dordrecht., 1993.
- Klein 1994 - W. Klein. Time in language. London; New York, 1994.
- Reichenbach 1947 - H. Reichenbach. Elements of symbolic logic. Berkeley, 1947.

Smith 1961 – C. Smith. A class of complex modifiers in English // *Language*. V. 37. 1961.  
Smith 1964 – C. Smith. Determiners and relative clauses in a generative grammar of English // *Language*. V. 40. 1964.  
Smith 1983 – C. Smith. A theory of aspectual choice // *Language*. V. 59. 1983.

Smith 1991/1997 – C. Smith. The parameter of aspect. Dordrecht, 1991. (2<sup>nd</sup> ed. 1997.)  
Smith 2003 – C. Smith. Modes of discourse. Cambridge, 2003.  
Vendler 1957 – Z. Vendler. Verbs and times // *The philosophical review*. V. 66. 1957. № 2.

И.М. Аркадьев

**P. Epps, A. Arkhipov (eds.). New challenges in typology: Transcending the borders and refining the distinctions.** Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2009. 428 p.

Сборник «Новые проблемы в типологии» выходит уже второй раз. Как остроумно заметил Г. Корбет в предисловии, если первое издание в этой серии можно было назвать инновацией, то вторая подобная книга – это уже традиция. В сборнике представлены статьи молодых типологов, а редакторами являются победители премий Гринберга и Панини, учрежденных Ассоциацией лингвистической типологии. В 2007 г. лучшей типологической диссертацией стала работа А.В. Архипова «Типология комитативных конструкций» (Москва), а лучшим грамматическим описанием – диссертация П. Эппс (Остин, Техас), посвященная языку хуп. Они и взяли на себя труд по подготовке этого тома.

Сборник имеет подзаголовок «Расширение границ и детализация различий» («Transcending the borders and refining the distinctions»)<sup>1</sup> и состоит из шести частей. Первые четыре части книги посвящены выявлению и анализу параметров варьирования на различных языковых уровнях – фонетическом, морфологическом, синтаксическом, в пятой части собраны статьи, иллюстрирующие размытость выделяемых классов и категории (то самое расширение границ, заявленное в подзаголовке), а в заключительной части дается обзор новых технологий, активное использование которых позволит сделать существенный шаг вперед в области составления грамматик и типологии в целом.

В первой части обсуждаются проблемы фонологической и морфосинтаксической структуры слов и синтагм. В статье А.Р. Луиш «Варианты размещения клитик: данные смешанных систем» («Patterns of clitic placement: Evidence from 'mixed' clitic systems») рассматриваются так называемые «особые» клитики, которые в

зависимости от позиции ведут себя либо как морфологические единицы, либо как синтаксические. Так, местоименные энклитики в португальском присоединяются непосредственно к глагольной основе, что сопровождается алломорфическим варьированием. В то же время проклитики ведут себя иначе: они могут отрываться от глагола другими словами и не подвергаются чередованию, т. е., в отличие от энклитик, являются синтаксически прозрачными. Другой пример «смешанной» системы клитик – личные показатели в удинском языке.

Вторая работа в этой части «Типология и морфосинтаксис в языке этон: целостный типологический подход» («Eton tonology and morphosyntax: A holistic typological approach») посвящена тоновой и морфосинтаксической структуре языка этон (банту), имеющего, с одной стороны, сложную тоновую систему и, с другой стороны, относительно простой (по сравнению с родственными восточными банту) аналитический строй. М. Ван де Вельде показывает, что оба этих аспекта языкового устройства обусловлены одним и тем же просодическим ограничением. На этом примере автор демонстрирует эффективность целостного подхода к типологии и языковой реконструкции: если учитывать взаимозависимость фонологии, морфологии и синтаксиса, то можно понять источник синхронных различий между языками одной семьи.

Вторая часть, в которой обсуждаются проблемы падежа, согласования и локализации, содержит 4 статьи: Ф. Роуз «Иерархическая система личного согласования: пример языка теко» («A hierarchical indexation system: The example of Emerillon (Teko)»), П. Эппс «Взаимодействие дифференциального маркирования объекта и расщепленной множественности: данные языка хуп» («Where differential object marking and split plurality intersect: Evidence from Hup»), П. Аркадьева «Случаи синкретизма и нейтрализации в морфологическом падежном маркировании: проблемы теории маркированности» («Syncretisms and neutralizations

<sup>1</sup> Первый том в этой серии полностью назывался «Новые проблемы в типологии: расширение горизонтов и пересмотр основ» («New challenges in typology: Broadening the horizons and redefining the foundations»).

involving morphological case: Challenges for markedness theory») и Д. Ганенкова «К типологии маркеров контактной локализации: данные восточно-кавказских языков» («Towards a typology of 'attachment' markers: Evidence from East Caucasian languages»).

Ф. Роуз обсуждает особенности личного согласования глаголов в теко (семья тупигуарани). В этом языке есть два набора личных показателей для агенса и для пациенса (последний также используется с именами и послелогом). В случае с переходными глаголами, когда могло бы ожидать согласование с обоими актантами, используется аффикс только из одного набора. Выбор маркера, как показывает автор, обусловлен взаимодействием двух иерархий -- лиц (1, 2 > 3) и ролей (A > P). Это означает, что глагол всегда согласуется с локутором, если второй актант не является участником речевого акта. В том случае, когда иерархия лиц нерелевантна (т. е. оба актанта либо 3-го лица, либо 1-го или 2-го лица), действует иерархия ролей -- выбирается показатель из набора для агенса.

В фокусе внимания П. Эппс -- падежно-числовое оформление неодушевленных имен в хуп. Для этого языка характерно дифференциальное маркирование ИГ показателями объекта и множественного числа в зависимости от одушевленности. Кроме того, для имен-дополнений важным фактором оказываются референтность и топикальность. Результат влияния этих параметров не идентичен: если объектный маркер не присоединяется к неодушевленным именам, то показатель множественного числа с ними вполне возможен. Возникает вопрос, как же ведут себя множественные ИГ в позиции дополнения. Оказывается, что в таком случае объектный падеж не только возможен, но и обязателен. Таким образом, в хуп можно наблюдать относительно редкое явление, когда во множественном числе имеется большее число противопоставлений, чем в единственном (см. также статью П. Аркадьева, в которой обсуждается значительный эмпирический материал, противоречащий основным положениям теории маркированности).

Работа Д. Ганенкова посвящена маркерам контактной локализации в восточно-кавказских языках, многие из которых противопоставляют два значения внутри данной семантической зоны: 1) объект находится на горизонтальной поверхности ориентира (*книга на столе*, локализация SUPER) и 2) объект имеет контакт с ориентиром, который служит опорой для объекта (*картина на стене*, локализация CONT). Автор подробно обсуждает параметры, влияющие на использование соответствующих показателей при описании пространственных

конфигураций: тип контакта между ориентиром и объектом (плотный vs. свободный), степень вовлеченности ориентира. В статье также рассматриваются непрототипические контексты употребления маркеров CONT и SUPER (*белье на веревке*, *морщина на лбу*, *кольцо на пальце* и др.), а в заключение предлагается семантическая карта, демонстрирующая дистрибуцию данных показателей.

В третьей части «Время, вид и желание» сгруппированы статьи трех авторов: Ч. Хоу «Пересмотр путей грамматикализации перифрастических форм прошедшего времени» («Revisiting perfect pathways: Trends in the grammaticalization of periphrastic pasts»), А. Шлуинского «Значения индивидуального уровня в семантической зоне предикатной множественности» («Individual-level meanings in the semantic domain of pluractionality») и О. Ханиной «Симбиоз дескриптивной лингвистики и типологии на примере изучения дезидеративов» («The symbiosis of descriptive linguistics and typology: A case study of desideratives»).

Ч. Хоу в своей работе предлагает подробный анализ дистрибуции аналитических форм перфекта в диалектах испанского, показывающий, что грамматикализация перфекта в свронейском и в латиноамериканском вариантах испанского протекает по-разному. Если диалекты, на которых говорят в Мадриде и в Валенсии, в целом демонстрируют типичный для романо-германских языков переход от перфекта к перфективному прошедшему (на данный момент испанские формы находятся на начальном этапе этого пути), то аналитические формы, состоящие из *haber* и причастия, в диалекте Куско эволюционируют в сторону эвиденциализации.

В статье А. Шлуинского рассматриваются индивидуальные значения, принадлежащие более общей зоне предикатной множественности. На основе проведенного типологического исследования автор выделяет 5 подзначений (индивидуальное состояние, свойство, капацитив, качественное и генерическое) и строит семантическую карту данной области.

О. Ханина на примере типологического исследования дезидеративных конструкций в очередной раз демонстрирует хорошо известную связь между типологией и дескриптивным языкознанием: пробелы в теоретических знаниях о некоторой области ведут к тому, что соответствующие разделы в грамматических описаниях отсутствуют или не отличаются подробностью. Такая неполнота данных и/или непоследовательность отражения некоторого явления, в свою очередь, часто служит поводом для нового типологического исследования,

результаты которого могут быть потом учтены при описании языка.

В четвертой части представлены статьи следующих авторов, посвященные структуре предложения и глагольной деривации: А. Архипова «Комитатив как межъязыковая категория» («Comitative as a cross-linguistically valid category»), А. Летучего «К типологии лабильных глаголов: лабильность vs. деривация» («Towards a typology of liable verbs: Lability vs. derivation»), Н. Сердобольской «К типологии подъема: функциональный подход» («Towards the typology of raising: A functional approach»), Т. Торнса «Диахронические пути формирования глагола в северном паиуте» («Historical pathways in Northern Paiute verb formation»).

Статья одного из редакторов сборника А. Архипова посвящена комитативу. Цель работы – предложить универсальное определение исследуемого феномена, которое бы, с одной стороны, корректно описывало существующие разновидности комитативной конструкции, а с другой стороны, исключало сочинение, социатив, копредикативные конструкции и другие подобные случаи. В работе комитатив анализируется именно как конструкция, а не как самостоятельная семантическая роль. А. Архипов также предлагает тесты, позволяющие идентифицировать данную категорию среди близких явлений, и дает обзор соседей комитатива по семантическому пространству.

А. Летучий исследует типы глагольной лабильности, классификация которых напоминает разновидности актантных дериваций. Однако автор показывает, что функции этих механизмов различны: если деривационный показатель служит для того, чтобы указать на производность одной ситуации от другой, то разные типы употребления одного и того же глагола – это особый тип многозначности, свидетельствующий о семантической близости переходной и непереходной ситуации.

Н. Сердобольская предлагает функционально-типологический подход к подъему, который традиционно анализируется в сугубо синтаксических терминах и преимущественно на материале английского языка. В работе показано, что можно выделить как минимум три разновидности конструкций с подъемом (английский тип *I believe him to be a linguist* является лишь одним из возможных вариантов и, вероятно, не самым распространенным). Кроме того, данные, приводимые в статье, свидетельствуют о том, что при анализе необходимо учитывать и семантико-прагматические факторы, т. е. такие характеристики ИГ, подвергаемой подъему, как: топикальность, определенность, одушевленность и др.

В статье Т. Торнса анализируются два типа полипредикативных конструкций в северном паиуте – с инструментальным префиксом и с сериализатором. Автор показывает, что синхронные различия между двумя этими типами обусловлены их происхождением.

Пятая часть включает в себя три статьи: К. Гауде «Референция и предикация в мовима» («Reference and predication in Movima»), Л. О'Коннор «Из всех обобщений есть исключения: предикаты изменения в равнинном чонтали штата Оахака» («All typologies leak: Predicates of change in Lowland Chontal of Oaxaca»), Ф. Зайфарта «Многомерная типология и классные показатели в миранья» («Multidimensional typology and Miraña class markers»).

В статье К. Гауде представлены интересные данные языка мовима, в котором почти нет противопоставления между глаголами и существительными: обе группы слов могут выступать и как предикаты, и как именные группы. Кроме того, в мовима зафиксирован уникальный тип оформления аргументов в переходной клаузе, которое обусловлено позицией участников на шкале референтности, а семантические роли вычисляются в зависимости от отсутствия / наличия показателя инверсии на глаголе. Автор показывает, как эти две особенности – слабый контраст между частями речи и кодирование актантов двухвалентного глагола – могут быть связаны между собой.

Л. О'Коннор на материале языка чонтали предлагает подробный анализ конструкций, имеющих семантику изменения. Автор рассматривает, как данные стратегии вписываются в подход, развиваемый Л. Талми и Д. Слобиным, в рамках которого предполагается, что языки делятся на классы в зависимости от того, используют они ядерную схему (идея изменения выражается глагольным корнем) или сателлитную (семантика изменения передается с помощью вспомогательных единиц). Материал статьи показывает, что чонтали по этому параметру нельзя однозначно классифицировать.

Третья работа в этом разделе посвящена языку миранья, в котором одно и то же явление можно описать как в терминах именных классов, так и в терминах классификаторов. В рамках традиционных представлений эти две системы исключают друг друга, но, как показывает Ф. Зайфарт, это не так, в связи с чем он предлагает оперировать не языковыми типами (языки с именными классами vs. языки с системой классификаторов), а более элементарными параметрами.

Последняя часть книги, посвященная новому в методологии, представлена одной статьей Н. Тиббергера «Шаги к грамматическому описа-

нию, встроеному в языковые данные» («Steps toward a grammar embedded in data»). Автор призывает к более активному использованию возможностей, предоставляемых современными технологиями. Иллюстрация некоторого утверждения вырванными из контекста примерами должна остаться в прошлом. Грамматикам нового поколения предстоит стать базами данных со сложной системой связей между различными уровнями описания – теоретическим анализом, корпусом текстов, словарем, размеченными по времени звуковыми файлами. Особую ценность в этой работе представляют ссылки на конкретные проекты, в которых воплощены некоторые из обсуждаемых функций, и на программное обеспечение, призванное автоматизировать процесс аннотирования данных.

Из семнадцати авторов сборника семь являются представителями отечественного языкознания. Это приятное с патриотической точки зрения обстоятельство несколько снижает научную новизну издания для российской аудитории (по крайней мере, для той части читателей, которая следит за событиями в типологическом сообществе Москвы и Санкт-Петербурга): все авторы – активные участники московской лингвистической жизни, и основные положения опубликованных в рецензируемом томе статей уже так или иначе обсуждались на конференциях и, главным образом, в диссертациях, защищенных за 3–4 года до выхода сборника.

В целом можно поздравить редакторов с тем, что им удалось собрать под одной облож-

кой много разноплановых работ. Количество опечаток и неточностей минимально<sup>2</sup>. Издание, безусловно, будет интересно типологам, полевым лингвистам, специалистам по отдельным разделам грамматической теории. Кроме того, в ряде статей содержатся новые языковые данные, которые могут быть полезны при работе с соответствующими языками. Следует отметить также, что в основе большей части представленных исследований лежит не типологическая выборка, а материал одного-двух языков, иногда – нескольких языков одной семьи (см. статьи Д. Ганенкова, М. Ван де Вельде). Таким образом, сборник является хорошей иллюстрацией современных тенденций в типологии: более пристальное внимание к деталям, проверка выявленных ранее параметров варьирования на новом материале мало описанных языков, пропаганда типологического подхода к составлению грамматических описаний.

*Н.В. Вострикова*

---

<sup>2</sup> Так, например, на с. 15 последний столбец в таблице 3 должен иметь заголовок «3PL.FEM.ACC», а не «3PL.MASC.ACC», на с. 66 в примере (7) ожидается глосса 1SG.II, а не 2SG.II; неправильный перевод города Ресифе в строке перевода примера (4) на с. 157; не всегда аккуратная верстка примеров (см. (7) на с. 160, (10) на с. 373) и ряд других незначительных погрешностей.

*M. Everaert, S. Musgrave, A. Dimitriadis (eds.). The use of databases in cross-linguistic studies. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. 409 p.*

Рецензируемая книга является коллективной монографией, посвященной новому и быстро развивающемуся направлению лингвистики – созданию и использованию компьютерных баз данных для типологических исследований.

С развитием вычислительной техники появились новые возможности для представления и обработки результатов исследований – базы данных. К настоящему времени в мире созданы десятки больших и малых типологических баз данных (далее ТБД). Вероятно, впервые ТБД начала использовать Дж. Николс [Nichols 1992] еще в начале 90-х годов, но ее база данных существовала только в бумажной форме или в виде набора отдельных файлов. В предисловии к книге приводятся интересные сведения по истории развития ТБД.

Первые компьютерные лингвистические базы данных появились в середине 90-х го-

дов [Liberman 1997; MacWhinney 1995]. Первая коллективная монография по данной теме – работа [Nerbonne 1998]. Первая самостоятельная конференция по лингвистическим базам данных прошла в Пенсильвании в 2001 г. [Buneman et al. (eds.) 2001]. Секция по ТБД была включена в программу XVII Международного лингвистического конгресса в 2003 г. в Праге. Крупный проект по интеграции разноструктурных ТБД выполнялся в начале нашего века при поддержке Евросоюза [Everaert 2003].

Как представляется, интерес к данному инструменту значительно возрос с появлением в 2005 г. «The world atlas of language structures» (WALS) [Haspelmath et al. (eds.) 2005] – первой большой общедоступной ТБД, содержащей описания более чем 2500 языков. В настоящее время в ведущих лингвистических журналах

мира практически ежемесячно появляются статьи по этой проблематике.

В какой-то мере можно считать, что рецензируемая книга подводит итоги первого этапа (10–15 лет) развития ТБД. Следует отметить крупный проект по созданию подобной базы данных, осуществляемый в России в Институте языкознания РАН, – «Языки мира» [Поляков, Соловьев 2006]. К сожалению, данная ТБД до сих пор мало известна на Западе и не нашла отражения в рецензируемой книге. Пожалуй, это наиболее крупный пробел в рецензируемой монографии. Впрочем, в последнее время в этом отношении ситуация меняется к лучшему: статья, сравнивающая проекты «Языки мира» и WALS, опубликована в журнале «Linguistic typology» (см. [Polyakov et al. 2009]), на ТБД «Языки мира» появляется все больше ссылок в западных публикациях.

Рассматриваемая книга состоит из введения и 10 статей, написанных разными авторами, но в совокупности отражающих все наиболее интересные аспекты создания и использования ТБД, и потому книга производит впечатление, скорее, целостной монографии, чем сборника статей.

Общие проблемы создания ТБД обсуждаются в статье А. Димитриадиса, С. Мусgrave «Основы создания баз данных для лингвистов» («Designing linguistic databases: A primer for linguists»). К ним относятся: выбор инструментария, структуры данных и некоторые другие вопросы. Авторы делят все ТБД по степени программистской сложности на три категории: «все в одном компьютере» (all-in-one desktop database), «веб-базы данных» и сложные базы с профессиональной программистской поддержкой. ТБД первой и второй категории являются небольшими и могут быть созданы исследователями самостоятельно. Они предназначены для небольших групп пользователей или для размещения в Интернете. С помощью ТБД последней категории реализуются большие исследовательские проекты. В статье достаточно подробно обсуждаются особенности каждого из этих типов баз данных, средства их реализации. Например, для первой категории рекомендованы несложные программы Microsoft Access и FileMaker.

Важным этапом создания ТБД является выбор структуры представления данных (модели данных) – так называемое концептуальное проектирование. Предлагается выделять объекты и связи между ними. Для представления модели данных рекомендован специальный язык E-R диаграмм (Entity-Relationship diagram).

Основным форматом представления материала являются таблицы. Такие базы данных получили название реляционных. В статье

описывается преобразование E-R диаграмм в таблицы реляционных баз данных. По нашему мнению, возможный следующий шаг в развитии ТБД будет состоять в обогащении E-R диаграмм и переходе к схемам объект-атрибут-значение (RDF-схемы, общепринятые в работах по созданию семантического Интернета).

Рассмотрим некоторые наиболее важные проблемы создания ТБД и ограничения, связанные с применением реляционной (табличной) схемы данных.

1. Представление последовательностей элементов. Допустим, что требуется хранить слова, разбитые на морфемы. В языках агглютинативного типа число морфем потенциально не ограничено, что делает затруднительным хранение всех морфем слова в одной строке в разных столбцах. Возможным решением, сохраняющим преимущества стандартных реляционных баз данных, является хранение каждой морфемы в отдельной строке.

2. Расширяемость. Чаще всего возможные значения того или иного параметра задаются фиксированным списком. Однако при описании новых языков, могут возникнуть новые значения, не предусмотренные заранее. Создатели ТБД должны позаботиться о легком способе расширения списков значений.

3. Иерархические структуры. Древовидные структуры, возникающие, например, при синтаксическом разборе предложений, не удобны для размещения в реляционных базах данных. Это же касается и больших корпусов текстов. В этих случаях, вероятно, придется отказаться от реляционных баз данных.

4. Число значений атрибутов. Часто в ТБД используются бинарные (т. е. принимающие только два значения: 1 и 0) признаки. Многозначные признаки могут быть представлены как композиции бинарных. Такой подход применялся еще Хомским [Chomsky 1968]. Однако следует иметь в виду и определенные минусы такого подхода. В [Wichmann, Kamholz 2008] приводится следующий пример. В WALS на карте № 106 (Reciprocal constructions) выделены следующие значения: отсутствие реципроков, реципроки совпадают с рефлексивами, реципроки отличаются от рефлексивов и смешанный вариант. Частотность этих значений сопоставима. Если же выделить бинарный признак 'присутствие / отсутствие реципрока', то получится следующая картина: присутствие реципроков отмечено в 159 языках, отсутствие – только в 16 (для остальных языков в WALS нет данных). Карта в этом случае получится неинтересной. Часто в такой ситуации авторы стремятся разбить значение признака с высокой частотностью на несколько подзначений.

Возможным способом сведения многозначных признаков к бинарным является представление каждого значения многозначного признака в качестве самостоятельного признака. Например, признак 'приоритетный порядок слов' со значениями 'SVO', 'SOV' и т. д. можно заменить набором бинарных признаков: 'порядок слов SVO', 'порядок слов SOV' и т. д. При этом надо иметь в виду, что эти бинарные признаки взаимосвязаны в том смысле, что любой язык может иметь только один из них. По мнению авторов статьи, это должно быть явно указано. При статистическом анализе также лучше иметь дело с многозначными признаками. Следует иметь в виду, что подобного рода выводы и рекомендации носят предварительный характер. Опыт использования ТБД к настоящему времени недостаточен, чтобы прийти к окончательным заключениям.

Изложенное до сих пор относилось к созданию отдельной базы данных. Однако после того как было создано несколько ТБД, естественным образом возникло желание их интегрировать и обеспечить возможность комбинированного поиска релевантной информации во множестве ТБД. Появляющиеся при этом проблемы многократно усложняются. Важная (и единственная на сегодняшний день) попытка решения данной проблемы предпринята в проекте TDS (Typological Database System), выполненном в Нидерландах. Ему посвящена статья А. Димитриадиса и его соавторов «Как объединить базы данных и не начать типологическую войну» («How to integrate databases without starting a typological war»).

В проекте TDS не создавалась оригинальная коллекция данных, а только обеспечивался единый веб-интерфейс к независимо созданным ТБД. Основные трудности при реализации проекта порождали не различия в структурировании данных или в программном обеспечении, а различия в терминологии и теоретических предпосылках создателей баз данных, а также огромное число параметров, используемых в разных ТБД при слабой документированности.

TDS (<http://language-link.let.uu.nl/tds/>) объединяет следующие базы данных:

- по типологии анафоры (Anaphora Typology);
- по личному согласованию (Person Agreement Database);
- по фонемному инвентарю (Smith's Phoneme Inventory);
- по типологии ударения (Stress Typology Database);
- по типологии слога (Syllable Typology Database);

– по порядку слов и составляющих (Typological Database Amsterdam);

– по общей информации об устройстве языка (Typological Database Nijmegen);

– по интенсификаторам и рефлексивам (Typological Database of Intensifiers and Reflexives);

– по сегментному инвентарю фонетических систем (UCLA Phonological Segment Inventory Database);

– по редупликации (Graz Database on Reduplication);

– по цветоименованиям (World Color Survey).

Перечисленные базы данных различаются в следующих основных аспектах.

1. Различные типы контента. Выделяются два типа ТБД – аналитические и коллекции предложений. Первые содержат переменные, описывающие язык как целое. Вторые – примеры предложений с подробным описанием. Разумеется, возможна и комбинация обоих типов информации в одной базе данных.

2. Различная теоретическая основа. Поскольку не существует общепринятой и исчерпывающей лингвистической теории, то создатели каждой из ТБД используют по своему усмотрению ту или иную теорию или версию теории. Например, в некоторых ТБД используются традиционные понятия 'субъект' и 'объект', в то время как в других – S/A/P/R [Haspelmath 2005].

3. Различия в целях создания. Даже при общей теоретической платформе могут, естественно, различаться цели создания ТБД: образовательные, исследовательские и т. д.

4. Различия в обозначениях. Так, множественное число может обозначаться и как *pl*, и как *Plural*.

5. Различия в структуре данных. Ясно, что даже одни и те же данные могут быть организованы и представлены различными способами.

6. Различия в программном обеспечении. Базы данных, включенные в TDS, созданы с использованием Microsoft SQL Server, MySQL, Microsoft Access, Excel, 4<sup>th</sup> Dimension, а также с помощью программ, разработанных самими создателями ТБД. К счастью, существуют интерфейсные модули или форматы обмена данными для всех этих систем. Дополнительные сложности создают различия в операционных системах, шрифтах, форматах данных и др.

Принятый в TDS подход состоит в том, чтобы по возможности нивелировать расхождения в кодировании и представлении данных (объ-

ектная модель) и в то же время сохранить различия в семантике и теоретических подходах и сделать их более ясными за счет тщательного документирования. В TDS не предпринимается попытка унификации типологической информации на семантической основе в связи с практической неосуществимостью этого, по крайней мере, на данном этапе развития лингвистики. Кроме того, это позволяет избежать «типологической войны».

Для решения проблемы интероперабельности выбрана двухуровневая модель [Stuckenschmidt, Harmelen 2005], включающая глобальную онтологию общих лингвистических концептов (TDS-GO) и локальные онтологии компонент отдельных баз данных. Для преодоления различий в структуре данных и обозначениях разработан декларативный язык Data Transformation Language (DTL).

Возможно, наиболее интересной частью проекта TDS является глобальная онтология TDS-GO, организованная в форме иерархии классов. Пример:

1. Linguistic property → phonetic or phonological property → syllable structure property → onset feature → obligatory onset.
2. Linguistic property → phonetic or phonological property → suprasegmental property → stress placement → main stress placement → variable stress placement systems → non-lexical stress placement → edge placement → right word edge stress placement → antepenultimate if heavy, else penultimate if heavy, else antepenultimate.
3. Linguistic property → phonetic or phonological property → marker function → agreement marker function → agreement marker for core argument → subject agreement marker.

Глобальная онтология строится с использованием языка OWL, являющегося стандартом в области формализации семантики в сети Интернет. Авторы разработки подчеркивают, что глобальная онтология создавалась не как каноническая система лингвистических понятий, а скорее для выражения набора всех точек зрения, представленных в базах данных TDS. TDS-GO создавалась независимо от ранее разработанной онтологии GOLD (<http://www.linguistics-ontology.org>) и в дальнейшем может быть объединена с ней.

TDS-GO содержит следующие типы концептов: лингвистические объекты ('морфема', 'предложение' и др.), лингвистические свойства ('базисный порядок слов' и др.) и лингвистические отношения ('согласование' и др.).

Поиск в TDS реализуется в виде двухшаго-

вого процесса. На первом этапе выбираются релевантные поля базы данных, которые помещаются в корзину запроса. Затем пользователь обращается к корзине и уточняет параметры поиска.

Авторы TDS дают общие рекомендации разработчикам ТБД. Прежде всего, следует тщательно продумать структуру базы данных. Далее, если она рассчитана на длительное использование и / или широкий доступ, то ее необходимо детально документировать и снабдить библиографическими источниками информации. Наконец, необходимо позаботиться об использовании стандартных обозначений. Например, для наименования языков это стандарт ISO 639-3. В статье также обсуждаются проблемы комментариев, нулевых и неопределенных значений, хотя рекомендации по этим вопросам носят менее ясный характер.

По широте охвата языков и признаков ТБД можно разделить на универсальные и специализированные. К первым относятся базы данных, имеющие целью описать грамматики языков более или менее полно хотя бы в ключевых аспектах. Как следствие, такие ТБД содержат информацию по многим свойствам (и для многих языков). В таком случае информацию уместно структурировать в виде одной таблицы, в которой строки соответствуют свойствам, а столбцы – языкам (можно и наоборот).

Единственной, кроме базы данных «Языки мира», универсальной ТБД является уже упоминавшийся выше WALS – крупный международный проект, выполненный под руководством М. Хаспельмата, Б. Комри и др. и включающий компьютерную базу данных и бумажное издание. Ему посвящена статья М. Хаспельмата «Типологическая база данных “Мирового атласа языковых структур”» («The typological database of the *World Atlas of Language Structures*»). WALS оперирует со значительно большим числом языков и признаков по сравнению со всеми другими ТБД (кроме «Языков мира»): 2560 языков и 142 признака, каждый из которых может принимать несколько значений – от 2 до 9, в среднем, примерно 5.

Две отличительные особенности придают проекту большую значимость. Во-первых, для каждого признака построена карта Земного шара, на которой кружочками разного цвета обозначены языки с различными значениями выбранного признака. Хотя идея графического изображения географического распределения признаков предлагалась и ранее (в том числе, в работе Дж. Николс), но впервые она была реализована столь масштабно. Во-вторых, база данных снабжена чрезвычайно удобным интерфейсом, позволяющим легко ориентироваться в огромном массиве информации, и включает

огромное количество справочных статей по различным признакам и языкам. Признаки классифицируются по тематике и по алфавиту, языки – по семьям и регионам. Поисковые средства позволяют находить нужную информацию по комбинации признаков, генерировать новые карты с заданными свойствами.

Отметим, что WALS заведомо не претендует на полноту описания языка, выделяя только 142 (причем из них лишь 126 относятся собственно к грамматике) наиболее интересных типологам свойства. Кроме того, многие клетки таблицы WALS оказались незаполненными как из-за отсутствия данных, так и из-за нерелевантности некоторых признаков.

WALS является одной из немногих ТБД, активно используемых в научных исследованиях. Некоторые примеры приведены в обзорной работе [Соловьев 2010].

Создание универсальных ТБД сопряжено с огромными затратами ресурсов. Значительно проще создать ТБД, посвященную какому-либо небольшому разделу грамматики или даже одному признаку. В статье Ф. Гаста «К двухуровневому языковому описанию: типологическая база данных по интенсификаторам и рефлексивам» («A contribution to 'two-dimensional' language description: the typological database of intensifiers and reflexives») такие ТБД названы межъязыковыми базами данных по отдельным областям грамматики («domain-specific cross-linguistic database»). Эта работа, хотя и посвящена специализированной базе данных, начинается с интересного обсуждения общих методологических вопросов.

Отмечается, что грамматика традиционно описывается либо семасиологически (от формы к функции), либо ономасиологически (от функции к форме). Разумеется, возможны и различные комбинации этих подходов, одна из которых приводит к интересному формализму семантических карт [Auwera, Plungian 1998], весьма удобному для сравнительных исследований.

Другой возможностью описания грамматик, специально ориентированной на сопоставительные исследования, является разработка некоего универсального шаблона, представляющего собой набор признаков. Независимо от серии монографий «Языки мира», где применен именно этот подход, и чуть раньше попытка единообразного описания языков в заранее фиксированных терминах была предпринята в серии *Lingua Descriptive Studies* в конце 70-х годов XX века. В монографиях этой серии языки описывались на основе опросника, разработанного Б. Комри и Н. Смитом [Comrie, Smith 1977]. Позже идея была продолжена в модифицированной форме в серии *Routledge*

*Descriptive Grammars* (например [Hewitt, Khibia 1989]).

Описания языков на основе этой анкеты, к сожалению, не были переведены в форму компьютерной базы данных. Сам проект часто критиковался и, видимо, не имел большого успеха. Объектом критики была заведомая неполнота описания: во-первых, не все категории релевантны для всех языков, т. е. некоторые клетки двумерной таблицы будут пустовать, и, во-вторых, многие детали грамматик языков не будут представлены в этом описании, т. к. учесть все в одном опроснике представлялось невозможным.

Однако, по мнению автора статьи, все же именно такой вид описания наиболее удобен для межъязыковых исследований, чем и мотивирован выбор формата для описываемой в статье ТБД по интенсификаторам и рефлексивам (<http://www.tdir.org>).

Это довольно маленькая база данных, содержащая всего 689 (на момент написания статьи, т. е. на 30.04.2007) примеров конструкций. Отмечается, что, хотя примеры охватывают более 100 языков, выборка не сбалансирована и поэтому ее нельзя использовать для статистических исследований. Проект создавался, скорее, с описательными целями. ТБД по интенсификаторам и рефлексивам включает релевантные ссылки на литературу и может рассматриваться как отправная точка для исследователей, интересующихся этой областью. Автор статьи указывает на ограниченность финансовой поддержки проекта и выражает надежду, что эта работа послужит созданию в будущем более объемных и усовершенствованных ТБД.

В статье Х. Блисс и Э. Риттер «Типологическая база данных по личным и указательным местоимениям» («A typological database of personal and demonstrative pronouns») обсуждается ТБД (<http://136.159.142.10:591/>), которая создавалась с целью изучения морфосинтаксических свойств, присущих системам местоимений в языках мира. Например, хорошо известна универсалия Гринберга № 42 [Greenberg 1963]: «Все языки имеют, по меньшей мере, три лица и два числа». Естественно, возникают вопросы, сколько лиц и чисел может быть максимум? Как эти параметры комбинируются между собой? Какие виды синкретизма и лакун невозможны, редки или, напротив, часто встречаются? Какие другие морфосинтаксические свойства характерны для местоименных систем языков мира?

ТБД личных и указательных местоимений создана с использованием *FileMarker Pro 5.5*. Она включает местоимения из 109 типологически различных языков 52 семей. Каждому местоимению выделяется отдельная запись, в

которой оно описывается значениями из некоторого набора параметров.

Данные, собранные в этой ТБД, подтвердили ранее отмечавшиеся закономерности: категории лица и числа варьируются в значительной степени, в то время как падеж, род, вежливость могут иметь широкий спектр значений, образующих открытый класс.

В языках базы данных представлены следующие значения: 1-е, инклюзивное, 2-е, 3-е, 4-е (для категории лица) и единственное, двойственное, тройственное, паукальное, множественное, общее (для категории числа). Следует отметить, что такая интерпретация языковых данных не является бесспорной. Например, И. Мельчук [Мельчук 1998: 204] настаивает на том, что лиц бывает только 3, а инклюзивность является особой категорией (близкой к числу). В связи со сложностью интерпретации инклюзивности авторы ТБД сознательно уклоняются от принципиальной теоретической дискуссии, стремясь просто предоставить данные для исследователей. Детальный анализ инклюзивности у Мельчука демонстрирует неполноту рассматриваемой ТБД. Четвертое лицо также может являться просто проявлением дополнительной категории (в языке юпик это 'упомянувшееся ранее лицо').

Возможные комбинации лиц и чисел ограничены. Обнаружено, что нет языков, которые имели бы и тройственное, и паукальное число, что подтверждает гипотезу Корбетта [Corbett 2000].

Вместе с традиционной категорией рода в базе данных рассматриваются различия по степени одушевленности: живые, неживые, люди, сверхъестественные существа, растения и нейтральный класс. Падежи, естественно, образуют большой открытый класс. Однако их можно разбить на три группы: грамматические (номинатив, эргатив, генитив, аккумулятив), локативные и остальные. Статистические подсчеты показывают, что из этих трех групп каждая следующая встречается реже предыдущей, что подтверждает предположения Блейка [Blake 1994].

На момент создания этой ТБД вежливость была изучена меньше всего по сравнению с другими категориями. Поэтому обнаруженные в этой части закономерности представляются наиболее интересными. Помимо хорошо известных форм выражения вежливости в местоименной системе индоевропейских языков (только для второго лица) были обнаружены языки, где это различие проявляется в 1-м и /или 3-м лицах, а также показано, что нет языков с различием вежливости в инклюзивном лице. Некоторые языки (тайский, вьетнамский) имеют более чем два значения этой кате-

гории. На выбор формы влияют возраст, род, должность и иные факторы.

Следует подчеркнуть, что, в отличие от работ Корбетта и Блейка, в которых гипотезы формулировались на основе интуиции авторов и несистематического обзора языков, результаты, полученные в этой работе с использованием ТБД, носят более доказательный характер. Конечно, они не являются универсалиями, т. к. эта ТБД не содержит всех языков, однако широкий спектр представленных в ней типологически различных языков из большого числа семей (сбалансированность выборки) делает полученные результаты более обоснованными.

Авторы обращают внимание на два типологически интересных случая редких местоименных систем. Инклюзивное лицо по своей семантике является множественным ('говорящий и собеседник(и)'). Однако некоторые языки, например, нганди (Австралия), имеют две формы этого лица – единственного и множественного числа. Единственное число обозначает 'я и ты', а множественное – 'я и несколько адресатов речевого акта'.

Еще один интересный случай – использование указательных местоимений в качестве личных местоимений 3-го лица, что имеет место, например, в баскском.

Таким образом, рассматриваемая ТБД оказалась эффективным инструментом исследования типологии местоименных систем, выявляя как статистически значимые тенденции, так и необычные феномены.

Другая база данных по этой проблематике описывается в статье Г. Сежерера «База данных по личным местоимениям в африканских языках» («A database on personal pronouns in African languages», <http://sumale.vjf.cnrs.fr/pronoms/>).

Местоименные системы являются идеальным кандидатом для типологических исследований: они универсальны, образуют замкнутое множество с жесткой организацией, но широким спектром внутренних свойств. Это позволяет использовать местоименные системы и в генеалогических исследованиях. В то же время многие данные рассредоточены по многочисленным публикациям, и не всегда легко доступным. Все это делает желательным создание базы данных, которая бы объединяла описания местоименных систем.

ТБД личных местоимений в африканских языках была создана в рамках трехлетнего проекта, длившегося с 2001 по 2004 г., группой лингвистов из Германии и Франции с целью собрать и представить в унифицированном виде всю доступную информацию по местоименным системам африканских языков. В настоящее время ТБД содержит материал бо-

лее 500 языков и является одной из немногих (наряду с «Языками мира»), так сказать, региональных баз данных: включенные в нее языки относятся к одной из макрообластей Земного шара. Это придает ей дополнительный интерес, т. к. позволяет использовать для изучения динамики языковых систем.

При создании БД были приняты следующие решения: существует только три лица и три числа: единственное, множественное и двойственное. Другие варианты в африканских языках не найдены. Далее, каждая форма описывается следующими параметрами: одушевленность, род, эксклюзивность / инклюзивность, определенность, логофоричность. Выделено 5 укрупненных синтаксических позиций: субъект, объект (прямой, косвенный), посессор, рефлексив, независимое употребление.

Общая таблица личных местоимений какого-либо языка содержит все возможные комбинации параметров, даже если они в данном языке не представлены. Это, по мнению авторов, облегчает процедуру сравнения систем разных языков. Поисковая система позволяет осуществлять поиск по разнообразным сочетаниям форм, признаков и по языковым семьям с выдачей статистики и представлением результатов в виде карт (в духе WALS).

Г. Сежерер отмечает, что эта база данных создавалась как инструмент для сопоставительных и типологических исследований, но за прошедшее время опубликована всего одна статья, использующая материал этой ТБД (причем самим разработчиком!). Автор выражает надежду, что результаты его проекта еще будут востребованы типологами.

В статье Д. Брауна, К. Тибериус, М. Чумакиной, Г. Корбетта и А. Красовицки «Базы данных для изучения конкретных явлений» («Databases designed for investigating specific phenomena») представлены работы Морфологической группы университета Суррея (Великобритания) по созданию целой серии ТБД (доступны по адресу <http://www.smg.surrey.ac.uk>).

Эта исследовательская группа значительное внимание уделяет русскому языку, в частности, ей принадлежит диахроническая база данных по русской морфологии. В качестве источника данных использовался корпус русского языка, созданный А. Барентсеном в Амстердаме и содержащий 30 млн. слов из различных текстов с 1801 по 2000 г. Статистический анализ проводился для 10 двадцатилетних промежутков.

Интерес представляют нестабильные конструкции, допускающие множественную морфологическую маркировку в одной и той же синтаксической позиции. В базе данных представлены диахронические изменения в шести синтаксических конструкциях русского язы-

ка: глаголы с отрицанием (родительный / винительный падеж прямого дополнения), существительные в предикативной позиции (именительный / творительный падеж), предикативные прилагательные (краткая / полная форма / творительный падеж), предикаты в квантифицированных выражениях (единственное / множественное число), сочинительные конструкции (единственное / множественное число предикатов), именные группы с числительными 2–4 (именительный / родительный падеж прилагательных).

Для каждой альтернатиции в базе данных учтены различные параметры (как описанные ранее в литературе, так и найденные в оригинальных корпусных исследованиях), которые могут влиять на выбор конструкции. Это позволяет в деталях изучать диахронические процессы, их направленность и факторы, влияющие на языковые изменения. В частности, показано, что при выборе маркировки падежа у предикативных существительных в XX веке происходит сдвиг от семантически-ориентированного выбора (в первой половине века) к синтаксически детерминированному.

Другая разработка Морфологической группы Суррейского университета – база данных по согласованию (<http://www.smg.surrey.ac.uk>), которая содержит детальное описание данного явления в 15 языках. Вообще говоря, такое число языков может показаться очень малым, тем более что ранее Анной Северской [Siewierska 1999] создана ТБД по согласованию в 272 языках. Однако последняя содержит значительно меньше информации для каждого отдельного языка. Это общая дилемма – собирать данные по возможно большему числу языков или для относительно небольшого числа языков представить максимально детализированную информацию о рассматриваемом явлении. В данном случае авторы пошли по второму пути.

Согласование является достаточно сложным явлением и не имеет строгого определения. Перед исследователями обычно встает вопрос, что относится к объекту изучения, а что нет. В данном случае авторы использовали понятие канонического согласования, предложенное Г. Корбеттом [Corbett 2006]. Согласование описывается следующим набором структурных элементов: контролер, цель, синтаксическое окружение, согласовательные категории, условия согласования. Записи в базе данных соответствуют согласовательная конструкция, характеризующаяся набором этих элементов.

Часто ТБД создаются для проведения конкретных сопоставительных исследований. В данном случае было тщательно изучено согласование в русском языке на предмет его каноничности.

Г. Корбетт предложил три принципа канонического согласования [Corbett 2006]:

Принцип 1. Каноническое согласование скорее избыточно, чем информативно.

Принцип 2. Каноническое согласование синтаксически просто.

Принцип 3. Согласование тем ближе к каноническому, чем оно ближе к аффиксальной словоизменительной морфологии.

На основе этих принципов Корбеттом выдвинуто 19 критериев. Например, критерий 1, поддерживающий принцип 1, гласит, что присутствие контролера более канонично, чем его отсутствие. В русском языке из 11 типов синтаксических конструкций контролер присутствует в 9. Авторы этой ТБД (и статьи) оценивают степень каноничности согласования в русском языке по этому критерию в  $9/11 \approx 82\%$ .

Вычисленная таким образом степень каноничности русского согласования составляет в среднем 86% для первого принципа и 90% для третьего.

В статье дано также описание и других проектов этой исследовательской группы: баз данных по синкретизму и супплетивизму. Любопытно, что и при описании базы данных по синкретизму также используется материал русского языка – окончания существительных в разных падежах.

Статья Р. Гудеманса и Г. Хульста «StressTyp: база данных по акцентным структурам в языках мира» («StressTyp: A database for word accentual patterns in the world's languages») посвящена базе данных по ударению StressTyp (<http://stresstyp.leidenuniv.nl>).

Этот аспект языкового устройства оказался достаточно хорошо представлен в типологических базах данных, см. также [Bailey 1995; Gordon 2002]. В статье детально сравниваются эти базы данных, обращено внимание на высокую степень корреляции между ними при наличии небольшого числа расхождений.

Приведем здесь краткие сведения по истории развития ТБД StressTyp, представляющиеся поучительными. Работа над ней началась в 1991 г. по инициативе ван дер Хульста в рамках EUROTYPE [Hulst (ed.) 1999], более крупного проекта по типологии европейских языков, финансируемого Европейским научным фондом. На этой стадии в БД было введено доступное из типологической литературы описание ударения в 154 языках и были проведены дополнительные исследования. После завершения в 1994 г. EUROTYPE состав разработчиков ТБД StressTyp в значительной степени сменился, но темпы разработки оставались высокими: за следующие 3 года было добавлено описание ударения в 116 новых языках.

В 1997–2001 гг. StressTyp вошел в состав другого проекта – «Просодия в индонезийских языках», координировавшегося Лейденским университетом. В этот период число языков в базе данных увеличилось до 510. В этот же период StressTyp был включен и в состав WALS, для которого было подготовлено 4 карты, № 14–17 [Haspelmath et al. (eds.) 2005]. С появлением упоминавшегося выше интегрирующего проекта TDS StressTyp вошел и в него.

Авторы прилагали большие усилия для того, чтобы эта разработка могла использоваться в научных исследованиях. StressTyp доступна через Интернет как напрямую, так и через TDS. Свободно распространяемая версия базы данных в формате Access может быть получена у авторов. В 1996 г. был издан сборник статей [Goedemans, Hulst 1996] по StressTyp и ее использованию, в настоящее время в издательстве John Benjamins готовится к изданию следующий сборник.

Создатели базы данных отмечают, что с самого начала проект имел очень небольшое финансирование. Они планируют и дальнейшее расширение базы данных, для чего необходимы новые гранты. Один из возможных путей – разработка вопросника и заполнение его специалистами по отдельным языкам. Однако до сих пор эта идея не реализована. В статье авторы выражают заинтересованность в сотрудничестве с любыми обладателями ресурсов в этой области, даже если они имеются только в бумажной форме.

Другие их планы состоят в создании целой системы баз данных, посвященных ударению: аннотированной библиографии (StressBib, в стадии разработки), терминологической базы данных (StressTer, в стадии разработки), списка адресов лингвистов, работающих в этой области (StressRes). Объединение этих баз данных в единую систему приведет к появлению сети Stress Expert System.

Кроме того, Р. Гудеманс и Г. Хульст работают над ТБД фонотактической информации (SylTyp), которая совместно с ТБД по тонам (<http://xtone.linguistics.berkeley.edu/>) входит в состав базы данных по просодии (Word Prosody Database). Следующим шагом может быть интеграция с базой данных сегментного инвентаря Я. Меддисона. Наконец, возможно и объединение всех вышеупомянутых баз данных, описывающих существующие типы фонетических единиц, с ТБД, посвященными фонетическим процессам: NasDat ([http://acvu.nl/staf/wlm.wetzels/pwp\\_en.htm](http://acvu.nl/staf/wlm.wetzels/pwp_en.htm)), ATR/Vowel Harmony и др.

Разработчики StressTyp дают хороший пример международного сотрудничества и интеграции усилий.

Статья Я. Мэтраса, К. Вайта и В. Элшика «База данных по морфосинтаксису романи» «The Romani Morpho-Syntax (RMS) database» посвящена проекту по языку европейских цыган (<http://romani.humanities.manchester.ac.uk/>). Этот язык, генетически индоарийский, возник в центральной части Индии несколько тысяч лет назад. Его важной особенностью является то, что у него нет статуса официального языка ни в одном государстве. На диалектах романи говорят в десятках стран. Проект RMS выполнялся при поддержке трех организаций с общим бюджетом 840 тысяч евро. Это один из немногих случаев, когда называется точная сумма, что дает возможность оценить уровень финансирования лингвистических проектов в Евросоюзе. В нем было задействовано три исследователя на условиях полной занятости и около 60 на условиях частичной занятости.

Цели создания ТБД RMS:

1. Исторические: изучение инноваций с фокусом внимания развития от функции к форме и от формы к функции.

2. Типологические: изучение структурных репрезентаций функций в различных диалектах, отношений функций и форм, кластеров функций.

3. Ареальные: изучение контактных влияний.

4. Диалектологические: изучение связей между инновациями и их географическим распределением, генеалогической классификации диалектов.

База данных по морфосинтаксису романи является, видимо, единственной базой данных, содержащей описание многих диалектов одного языка и ориентированной на изучение ареальных влияний. RMS не просто ТБД, это тщательно продуманный и спланированный проект, в котором особое внимание уделено стратегии сбора данных, их обработке и оценке.

ТБД по редупликации (<http://reduplication.uni-graz.at/>), созданная в Граце, описана в статье Б. Хурха и В. Матс.

Авторы отмечают, что редупликация имеет специфический статус, не позволяющий отнести ее ни к лексическому уровню языка, ни к грамматическому. Первая и весьма содержательная часть статьи посвящена рассмотрению феномена в общетеоретическом аспекте. Сама база данных по редупликации описана чрезвычайно подробно с приложением всех таблиц. Ко времени издания рецензируемой книги проект еще не был завершен.

Весьма интересной особенностью интерфейса является его иерархическая (древовидная) организация. Например, сначала в диалоговом режиме выбирается язык, затем функция редупликации в этом языке, затем словарные формы

и т. д., что является удобным, но несколько идет вразрез с общей тенденцией к табличной организации данных в большинстве ТБД.

Как и в ряде других случаев, отмечается, что эта ТБД позволяет лучше понять рассматриваемый феномен, обеспечивая релевантные данные и ссылки, а также предлагает средства для тестирования различных гипотез о природе редупликации.

Таким образом, рецензируемая работа демонстрирует, что к настоящему времени созданы десятки типологических баз данных, накоплен значительный опыт их разработки. В результате появились принципиально новые возможности количественных типологических исследований с применением математических и компьютерных методов. Проблемой является то, что методология использования типологических баз данных в научных исследованиях пока недостаточно разработана. В итоге они используются в настоящее время прежде всего в учебно-справочных целях.

В заключение следует подчеркнуть, что рецензируемая монография написана квалифицированными учеными, работающими на переднем крае исследований. Она полно отражает положение дел в области типологических баз данных и может быть рекомендована всем, кто хочет поподробнее познакомиться с этим быстро развивающимся перспективным направлением лингвистики.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Мельчук 1998 – *И.А. Мельчук*. Курс общей морфологии. Т. 2. Ч. 2. М.; Вена, 1998.
- Поляков, Соловьев 2006 – *В.Н. Поляков, В.Д. Соловьев*. Компьютерные модели и методы в типологии и компаративистике. Казань, 2006.
- Соловьев 2010 – *В.Д. Соловьев*. Типологические базы данных: перспективы использования // ВЯ. 2010. № 1.
- Auwera, Plungian 1998 – *J. Auwera, V. Plungian*. Modality's semantic map // Linguistic typology. 1998. V. 2.
- Bailey 1995 – *M. Bailey*. Nonmetrical constraints on stress. Ph. D. dissertation. University of Minnesota. 1995.
- Blake 1994 – *B. Blake*. Case. Cambridge, 1994.
- Buneman et al. (eds.) 2001 – *P. Buneman, S. Bird, M. Liberman* (eds.). IRCS Workshop on linguistic databases. Philadelphia (Pennsylvania), 2001.
- Chomsky, Halle 1968 – *N. Chomsky, M. Halle*. The sound pattern of English. New York, 1968.
- Comrie, Smith 1977 – *B. Comrie, N. Smith*. Lingua descriptive series: Questionnaire // Lingua. 42. 1977.

- Corbett 2000 – G. Corbett. Number. Cambridge, 2000.
- Corbett 2006 – G. Corbett. Agreement. Cambridge, 2006.
- Everaert 2003 – M. Everaert. The use of databases in linguistic theorizing // Abstracts of the XVII International congress of linguists. Prague, 2003.
- Goedemans, Hulst 1996 – R. Goedemans, H. Hulst. StressTyp manual. Leiden, 1996.
- Gordon 2002 – M. Gordon. A factorial typology of quantity insensitive stress // Natural language and linguistic theory. 2002. 20.
- Greenberg 1963 – J. Greenberg. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements // J. Greenberg (ed.). Universals of language. Cambridge, 1963.
- Haspelmath 2005 – M. Haspelmath. Argument marking in ditransitive alignment types // Linguistic discovery. 2005. 3(1).
- Haspelmath et al. (eds.) 2005 – M. Haspelmath, M. Dryer, D. Gil, B. Comrie (eds.). The world atlas of language structures. Oxford, 2005.
- Hewitt, Khiba 1989 – G. Hewitt, Z. Khiba. Abkhaz. London, 1989.
- Hulst (ed.) 1999 – H. Hulst (ed.). Word prosodic systems in the languages of Europe. Berlin, 1999.
- Lieberman 1997 – M. Lieberman. Introduction to the Linguistic Data Consortium. [http://www ldc.upenn.edu/About/ldc\\_intro.shtml](http://www ldc.upenn.edu/About/ldc_intro.shtml). 1997.
- MacWhinney 1995 – B. MacWhinney. The CHILDES project: Tools for analysing talk. Hillsdale (NJ), 1995.
- Nerbonne (ed.) 1998 – J. Nerbonne (ed.). Linguistic databases. Stanford, 1998.
- Nichols 1992 – J. Nichols. Linguistic diversity in space and time. Chicago; London, 1992.
- Polyakov et al. 2009 – V. Polyakov, V. Solovyev, S. Wichmann, O. Belyaev. Using WALIS and Jazyki Mira // Linguistic typology. 2009. V. 13.
- Siewierska 1999 – A. Siewierska. From anaphoric pronoun to grammatical agreement marker: Why objects don't make it // Folia Linguistica. 1999. V. 33. № 2.
- Stuckenschmidt, Harmelen 2005 – H. Stuckenschmidt, F. Harmelen. Information sharing on the semantic web. Berlin, 2005.
- Wichmann, Kamholz 2008 – S. Wichmann, D. Kamholz. A stability metric for typological features // Sprachtypologie und Universalienforschung. 2008. 61.3.

В.Д. Соловьев

**Н.А. Николина. Активные процессы в языке современной русской художественной литературы.** М.: ИТДГК «Гнозис», 2009. 336 с.

В современной лингвистике отмечается несомненный и все возрастающий интерес к проблемам языка художественной литературы. Изучение художественной речи в русистике имеет давние традиции – этой проблемой, как известно, интересовались Р.О. Якобсон, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, В.П. Григорьев и многие другие (ср., например, [Виноградов 1959; Винокур 1959; Григорьев 1986]). Чаще всего при этом в поле зрения исследователей оказывается язык поэзии, что неслучайно, поскольку поэту предписывается особая чуткость к языку, «поэты, независимо от их собственных намерений, исследуют свойства языка в его динамике, во многом опережая лингвистов» [Зубова 2010: 5]. Отражение в языке литературного произведения активных языковых процессов изучается в самых разных аспектах. Об этом говорят многочисленные работы, в том числе и последних лет: многотомные «Очерки истории языка русской поэзии XX века» (см., например, [Очерки 1993]), [Поэтическая грамматика 2005] и ряд других (укажем хотя бы работы [Некрасова, Бакина 1982; Ионова 1988; Зубова 2000; 2010; Фатеева 2006]). Однако поэтический язык все еще изучен неравномерно. Так, Я.И. Гин предлагал обратить особое внимание

на влияние системы языка на поэтическую конструкцию: «Наибольший же интерес представляют случаи такого диалога языковой и поэтической структуры, когда обе стороны одинаково активны и равноправны. В результате этого процесса формируются *лингвопоэтические факты*, которые следует рассматривать в обоих – лингвистическом и поэтическом аспектах: их описание и особенно интерпретация только в одном аспекте могут оказаться неполными и даже некорректными» [Гин 1996: 133–134]. Тем не менее, лингвистический аспект до сих пор разрабатывался недостаточно. Изучение авторских идиостилей, индивидуальных поэтических систем представляет значительный интерес – об этом, в частности, говорит бурное развитие авторской лексикографии [Авторская лексикография 2003]. Но не менее важно изучение художественной речи с точки зрения системы языка: здесь можно назвать ряд исследований последних лет (например [Ремчукова 2005]), и прежде всего – работы Л.В. Зубовой и Н.А. Николиной, автора рецензируемой книги.

Материалом для исследования послужила русская художественная речь рубежа XX–XXI веков, времени, которое справедливо на-

зывается поворотным, определяющим новые возможности, и особенно в языке. Изучение языка современной русской художественной литературы сопряжено с определенными трудностями, в том числе связанными с тенденцией к расширению рамок допустимого в сфере языка. Современная литература исключительно многообразна, однако чаще всего внимание исследователей привлекают яркие и выразительные лингвопоэтические факты, представляющие собой заметное нарушение норм современного языка. С другой стороны, это зачастую вызывает неприятие и протест: либо лингвиста обвиняют в сведении современной поэзии исключительно к эксперименту, либо автора – в произволе и порче языка. Действительно, трудно ожидать однозначной реакции на такие стихи: *В пещёрен угловы, где днем согнём, // а за ночь разогнётся понемногу, // спросунок мыслица вползаеца и в нем, // душой елозая, завернутая к богу, // о постных тщах насуточных думясь, // о Дажьдьямднеесе и о Долгинеше* (В. Строчков). Такую поэзию можно воспринять как всего лишь стремление к оригинальности, в лучшем случае как языковую игру, но можно в ней увидеть и отражение современных тенденций развития языка.

Наверное, главным достоинством книги Н.А. Николиной является установка на максимальную широту подхода. Прежде всего, это подход лингвиста: хотя в работе приводятся очень большое количество прокомментированных автором примеров из современной литературы, важнейшую роль играет не описательная, а теоретическая составляющая. Особенности художественной речи рассматриваются в сопоставлении с процессами, происходящими в других функциональных стилях: в языке СМИ, в разговорной речи, в языке Интернета. Важно, что в книге анализируется язык как поэзии, так и прозы, а также драмы (как уже отмечалось, язык современной прозы и драмы описан в значительно меньшей степени, чем язык поэзии: см., например, [Бабенко 2007]). Важно, что Н.А. Николина анализирует и обобщает материалы многочисленных исследований последних лет, особо выделяя лингвистические комментарии писателей-филологов. Происходящие в современном языке процессы прослеживаются автором на разных уровнях языка: на уровне морфемы, слова, словосочетания, предложения и текста. Все сказанное определяет в целом структуру работы.

Рецензируемая монография состоит из шести глав. Три главы посвящены активным процессам в лексике и фразеологии, словообразовании и грамматике современной художественной речи (таким образом, вне сферы

интересов автора остается фонетика). Четвертая глава отведена отдельной проблеме, особо важной, по мнению исследователя: пересмыслению и функционированию в разных родах литературы категории времени. В пятой и шестой главах рассматриваются особенности языка современной прозы и драмы. Хотя Н.А. Николина в своей работе стремится к всестороннему освещению активных процессов в языке современной литературы, полнота анализа на данном этапе едва ли достижима, поэтому автор в каждом разделе ограничивается исследованием нескольких наиболее ярких явлений, что отражено в названиях параграфов. Менее подробно анализируются проблемы, которые так или иначе разрабатываются в существующей литературе или же такие, которые еще предстоит исследовать. В частности, как уже отмечалось, за пределами книги остается анализ фонетики современного художественного текста (что справедливо, поскольку этот аспект изучен достаточно хорошо). Проблеме, которую можно назвать центральной, – активным процессам в грамматике – посвящена третья глава книги, об основных направлениях исследования говорят названия параграфов, которые стоит привести:

Эллипсис и усиление значимости служебных слов. «Эмансипация» предлогов;

Активизация непредикативных глагольных форм;

Ослабление различий между словами разных грамматических классов;

Расширение круга ненормативных форм и конструкций;

«Дезактивация» субъекта и усложнение функций инфинитива.

Таким образом, упоминаются, но не выделяются особо такие известные явления, как возвращение и пересмысление различных грамматических архаизмов, эксперименты с категориями рода, числа, одушевленности и др. (об этом см., например, [Зубова 2000]).

В монографии рассматриваются активные процессы, характеризующие развитие языка современной русской художественной литературы. По мнению Н.А. Николиной, «развитие современного русского языка в последние десятилетия характеризуется рядом процессов, которые наиболее ярко проявляются в лексике и словообразовании, но затрагивают и единицы других языковых уровней» (с. 7). Среди таких процессов можно назвать функциональный динамизм, коллоквиализацию, тенденцию к компрессии, рост числа заимствований, расширение круга несклоняемых слов или компонентов сложных образований и др. Новые тенденции в художественной речи «связаны с ее эволюцией, с открытием новых приемов выразитель-

ности, но одновременно они, возможно, в какой-то степени предвосхищают определенные изменения в языке» (с. 7). Выявление активных языковых процессов, по словам автора, важно для объективного описания современной художественной речи, разграничения потенциального и окказионального. Рассмотрение таких процессов «позволяет проследить наметившиеся изменения в современной картине мира, в его восприятии и оценке, показать движение идей и преобразование устоявшихся понятий» (с. 8).

Как отмечает автор, «для современной художественной речи характерно последовательное усиление метаязыковой рефлексии» (с. 49). Если «грамматическая тема» изредка встречается в поэзии XIX в. и достаточно характерна для литературы XX (например, у Мандельштама), то для современной поэтической речи «лингвоцентризм» становится одной из отличительных черт. Это в частности выражается в широком использовании и переосмыслении лингвистических терминов: *И все это причащается и деепричащается // К Слово...* (С. Моротская)<sup>1</sup>.

Активные процессы в словообразовании в современной художественной речи Н.А. Николина видит в «обнажении» деривационных связей слова в тексте, развитии словотворчества, которое «характеризуется рядом особенностей: это высокая активность разных типов сложения и развитие новых форм сращения, установка на смысловую диффузность и множественность интерпретаций слова (и шире текста), размывание границ между морфемами, отдельными словами, словом и предложением в структуре текста и одновременно сегментация и усечение лексических единиц» (с. 119). Авторским употреблением (таким как *неврастение, люциферма, моралитик, любабочка, вездесь*) исследователь находит аналогии в современной разговорной речи, которая широко отражается в СМИ (*прихватизация, чубаучер* и т. п.). Различные способы оформления сегментации и пересегментации, контаминации слов используются как в художественной речи, так и в публицистике. Ср. в языке поэзии: *(без) ум(ного)смысла* (Д. Давыдов); *Шопен(подумав)гауэр* (С. Бирюков); *прошлоГО // Речь // от чаши // НАСТОЯ // щего* (Е. Кацюба) и в газетных текстах: *бес-перспективный, заДУ-МАйся* и т. п. Дефисные комплексы-сращения, распространенные в художественной речи, Н.А. Николина соотносит и с философской, искусствоведческой терминологией («*ни-то-ни-другое*», «*бытие-в-мире*»), и с тенденция-

ми разговорной речи (*чай-кофе, трансляции футболов-хоккеев*), ср.: *хожу-как-блуждаю* (Г. Айги), *стук снизу //похожий на что-то-не-так* (М. Котов) и др.

Для грамматики современной художественной речи «характерны такие явления, как широкое использование компрессии, незамещение синтаксических позиций в предложении, усиление дискретности, повышение роли служебных элементов и их «эмансипация», активизация транспозиции, расширение сочетаемости глаголов, вычленение потенциальных граммем из состава слова» (с. 176). Все эти явления можно, как указывает автор, найти и в современной разговорной речи, ср.: *Лестница, а по крысы бегают...* (В. Соснора) и *Вам чай с сахаром или без?* (разг.). Другой особенностью грамматики современной поэтической речи Н.А. Николина называет «расширение круга ненормативных форм и конструкций» (с. 155), это же явление в живой речи лингвисты нередко соотносят со стремлением говорящих осмыслить норму или же заполнить пустые клетки грамматической системы, ярким примером чего можно назвать образование причастий будущего времени, «которые все активнее используются в настоящее время и в языке СМИ, и в языке Интернета», например, *пожелающий, сделавший* и т. п. (с. 159), ср. в языке поэзии:

*Вот я – пойдущий и найдущий.  
Вот я – дорогу перейдущий.  
Не то в грядущее бредущий,  
Не то в бредущее грядущий.*

(А. Левин)

Особое внимание исследователь уделяет выражению в языке современной литературы времени, отмечая, что для современного взгляда на мир характерна текучесть, отчасти релятивность изображаемого, установка на сомнение, семантическую вариативность, таким образом, в тексте зачастую пропадает граница между историей и литературой, жизнью и текстом (с. 8, 177–179).

К основным особенностям языка современной прозы и драмы автор монографии относит новые способы оформления текста и его компонентов: усложнение нарративной структуры современного прозаического текста и новые тенденции оформления чужой речи, использование «беспунктуационных» текстов, преобразование ремарок в современной драме, «обнажение» интертекстуальных связей. Тут надо отметить, что проза и драма, несмотря на идею книги, рассматриваются все же менее подробно, чем поэзия. Этому, безусловно, есть объективные причины, так что уменьшенную, но все же сохраняющуюся диспропорцию нельзя причислить к недостаткам монографии.

<sup>1</sup> Все примеры взяты из рецензируемой книги.

С другой стороны, определенные недочеты (тем более - при широте поставленной автором задачи), к сожалению, почти неизбежны.

Некоторые недоумения, возникающие в процессе чтения книги, можно отнести к не очень четкому определению ее потенциального адресата. В аннотации указывается, что «книга предназначена для преподавателей русского языка и литературы, аспирантов, студентов филологических факультетов» (возможно добавление стандартного выражения «и всем, кто интересуется русской литературой»). Таким образом, определяется достаточно широкий круг читателей, что, безусловно, верно: с одной стороны, проблема развития (или же - порчи, деградации) русского языка исключительно актуальна и обсуждаема, с другой стороны, в книге собран богатый иллюстративный материал, интересный сам по себе. Однако книга Н.А. Николиной представляет собой теоретическую лингвистическую работу, причем важную роль в ней играет обращение к философии языка. В связи с этим книга насыщена терминологией, в том числе и не самой общеизвестной. Так, можно представить интересующегося поэзией читателя из круга, обозначенного в аннотации, которому не совсем понятны будут такие места: «В поэтическом же тексте голофрастические сращения, близкие к инкорпорирующим комплексам, выступают и в функции предиката» (с. 136); «возрастает, прежде всего, число объектных валентностей глагола, а сирконстанты с временной семантикой дополняются или заменяются сирконстантами с пространственным значением» (с. 162). Как представляется, пояснение некоторых терминов не слишком утяжелило бы книгу, но зато сделало бы ее полезнее для читателя-студента - хороший и простой образец такого приёма находим во «Введении»: «коллоквиализация, т. е. усиление влияния разговорной речи» (с. 7).

Стремлением не увеличивать объем книги можно объяснить и другие неясности. Например, на с. 34-35 за утверждением «фразеологизмы привлекают современных поэтов» и рядом примеров следует фраза: «В современной поэтической, как и в живой разговорной речи, фразеологизмы относительно немногочисленны - в ней преимущественно доминируют интертекстуальные включения»; чуть далее говорится: «Наряду с этими фразеологическими единицами (далее ФЕ) в связи с общей демократизацией языка художественной литературы широкое распространение в современной поэтической речи получили просторечные и жаргонные ФЕ». Создается впечатление либо нелогичности (остается неясным - характерно или нехарактерно для современной

литературы употребление фразеологизмов), либо недосказанности: возможно, в каждом из утверждений имеются в виду разные единицы.

С другой стороны, в рецензируемой работе можно найти примеры и некоторой избыточности. Если повторы теоретических обобщений могут быть ориентированы на читателя-студента, то повторы примеров кажутся не совсем оправданными, поскольку выбранный автором материал предоставляет значительное количество ярких иллюстраций. Например, читаем на с. 257-258: «Полидискурсивность распространяется и на современную автобиографическую драму... Так, пьеса Е. Исасвой "Про мою маму и про меня", основанная, по признанию автора, на документальном материале, строится с учетом различных жанровых моделей школьных сочинений», далее следует пример, занимающий около трети страницы. Этот же пример приводится на с. 310-311: «Так, в автобиографической пьесе Е. Исасвой "Про мою маму и про меня" развитие сюжета опирается на обращение к школьным сочинениям разных жанров и использует ситуацию школьного урока» (следует пример). Сходным образом, один и тот же пример из романа М. Шишкина «Взятие Измаила» приводится на с. 235 и 263.

При том, что книгу отличает яркая индивидуальность, и более того - изящество оформления (вплоть до оглавления и нумерации страниц), изложение, к сожалению, сопровождается небрежностями, которые нередко затрудняют восприятие текста. Это и опечатки (как в тексте, так и в примерах; см., например, с. 306, 309), и разноречивость в оформлении примеров (см. например, с. 72, с. 74-75, с. 268-269), и непоследовательность ссылок на литературу ([А. Скидан] на с. 175 и [Скидан 2003, 12] на с. 176).

Таким образом, если предположить, что проблема с определением круга читателей может быть решена и объем книги увеличен, следует ожидать, что «дополненное и исправленное» издание монографии Н.А. Николиной будет весьма полезно и не менее интересно, чем рецензируемая книга.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авторская лексикография 2003 - Русская авторская лексикография XIX-XX веков: Антология / Ю.Н. Караулов (отв. ред.). М., 2003.
- Бабенко 2007 - Н.И. Бабенко. Лингвопоэтика русской литературы эпохи постмодерна. СПб., 2007.

- Виноградов 1959 – *В.В. Виноградов*. О языке художественной литературы. М., 1959.
- Винокур 1959 – *Г.О. Винокур*. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Гин 1996 – *Я.И. Гин*. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избр. работы. СПб., 1996.
- Григорьев 1986 – *В.П. Григорьев*. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986.
- Зубова 2000 – *Л.В. Зубова*. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.
- Зубова 2010 – *Л.В. Зубова*. Языки современной поэзии. М., 2010.
- Ионова 1998 – *И.А. Ионова*. Поэтический курс русского языка. Кишинев, 1998.
- Некрасова, Бакина 1982 – *Е.А. Некрасова, М.А. Бакина*. Языковые процессы в современной русской поэзии. М., 1982.
- Очерки 1993 – Очерки истории языка русской поэзии XX века. Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993.
- Поэтическая грамматика 2005 – Поэтическая грамматика. Том I / И.И. Ковтунова, Н.А. Николина, Е.В. Красильникова (отв. ред.) и др. М., 2005.
- Ремчукова 2005 – *Е.Н. Ремчукова*. Креативный потенциал русской грамматики. М., 2005.
- Фатеева 2006 – *Н.А. Фатеева*. Открытая структура. О поэтическом языке и тексте рубежа XX–XXI веков. М., 2006.

*А.С. Кулева*

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

**XII Международные научные чтения  
«Е.Ф. Карский и современное языкознание»  
(Навстречу 150-летию Евфимия Федоровича Карского)**

18–19 мая 2010 года в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (Белоруссия) состоялись XII Международные научные чтения (Карские чтения) «Е.Ф. Карский и современное языкознание», посвященные предстоящему 150-летию выдающегося ученого-слависта академика Евфимия Федоровича Карского.

Организаторы чтений – Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (кафедра русского языка филологического факультета), Гродненский областной исполнительный комитет, Гродненский районный исполнительный комитет, Гродненская областная библиотека имени Е.Ф. Карского. Оргкомитет чтений возглавил ректор Гродненского университета доктор физико-математических наук профессор Е.А. Ровба.

На XII Карские чтения подали заявки 120 ученых из 6 стран. Кроме Белоруссии, это ученые из Украины, России, Польши, Болгарии, Италии.

Вполне закономерно, что самой представительной была делегация ученых из alma mater Е.Ф. Карского из Нежинского государственного университета имени Н.В. Гоголя.

Несмотря на лингвистическую тематику, обусловленную названием данного форума, в чтениях, кроме лингвистов, участвовали историки, работники архивов, музеев, библиотек. Рабочие языки – славянские.

В чтениях принял участие правнук ученого А.А. Карский, архивист и писатель (Санкт-Петербург). До начала заседания в «Вестнике ГрГУ» (Сер. 3. № 1 (93), 2010 г.) была опубликована его статья «Е.Ф. Карский – ректор Императорского Варшавского университета»,

а также его книга «Евфимий Федорович Карский. Библиографический обзор», изданная редакционно-издательским центром ГрГУ. На открытии чтений состоялась презентация этой книги. Автор рассказал, что полный хронологический перечень работ академика Е.Ф. Карского в этой книге представлен более объемным по сравнению с опубликованным в 1961 году. Выявлен ряд ранее неизвестных работ ученого. В книгу включены посмертные издания трудов академика, а также названия населенных пунктов, имеющих отношение к биографии Е.Ф. Карского.

Пленарное заседание открылось докладом А.А. Карского «Е.Ф. Карский – ректор Императорского Варшавского университета». Доклад, по содержанию и по накалу отраженных в нем политических страстей, в условиях которых ученому-филологу Евфимию Федоровичу Карскому пришлось взять на себя, говоря современной терминологией, функциональные обязанности, представляет собой почти детективное произведение: настолько интересными, необычными и в то же время актуальными и для нашего времени показаны в нем происходившие в Варшаве события. Таким образом, лакуна в сведениях о варшавском периоде жизни академика Е.Ф. Карского закрыта.

Следующий доклад – могилевского историка Т.Г. Бобковой «Национально-культурное движение белорусов в конце XIX – начале XX в.» расширил представление об историческом контексте действительности, на который выпало ректорство ученого.

Часть материалов чтений была посвящена фактам о семье Е.Ф. Карского – его родителях (доклад А.В. Блинца (Клецк, Белоруссия)), а также о братьях Е.Ф. Карского, оставивших

своей созидательной деятельностью след в отечественной истории (доклад А.А. Карского).

В.В. Швед (Гродно, Белоруссия) рассказал о нелегкой, со значительными потерями, судьбе библиотеки академика Карского, часть которой находится ныне в Национальной библиотеке Белоруссии.

Сотрудник фундаментальной библиотеки Национальной академии наук Белоруссии Е.В. Третьякова (Минск) познакомила участников с библиографическим отражением научного наследия Е.Ф. Карского и литературы о нем в базе данных главнейшей научной библиотеки страны. Как нам стало известно, благодаря встречам в кулуарах чтений база белорусской «Карскианы» вскоре пополнилась украинскими изданиями.

Хочется отметить огромный вклад украинских ученых в деле сохранения, говоря по-белорусски, *ушанавання* наследия Е.Ф. Карского, изучения его влияния на развитие украинской филологии. Не была обойдена данная тема и на этот раз. Ей были посвящены доклады А.В. Забарного «Е.Ф. Карский и Т.Г. Шевченко», А.С. Белой (Нежин, Украина) «Прагматический подход к изучению творчества Е.Ф. Карского». Взгляды выдающегося слависта на специфику западнорусского письменного языка, ставшего государственным в ВКЛ, на роль западнорусской письменности в формировании старобелорусского и украинского письменных языков прослежены В.Ю. Франчук (Киев, Украина) в докладе «Язык Великого Княжества Литовского в трудах Е.Ф. Карского».

В духе Е.Ф. Карского по его вниманию к историческому языковому факту прозвучал доклад С. Дель Гаудио (Неаполь, Италия) «Латинское лексико-синтаксическое влияние в «Киевских листах»». И.И. Савицкая (Минск, Белоруссия) познакомила собравшихся со ставшим уже раритетным изданием – докладом Е.Ф. Карского «Белорусская речь», с которым академик выступил на приснопамятном (так как он был разогнан властями) I Всебелорусском съезде.

Каким в зеркале Карских чтений отразилось научное сообщество в переломные десятилетия рубежа XX–XXI вв., какая языковедческая проблематика рассматривалась на этих форумах, рассказала М.И. Конюшкевич (Гродно, Белоруссия). Влияние наследия Е.Ф. Карского на современное белорусское языкознание было предметом доклада А.А. Лукашанца (Минск, Белоруссия).

В завершение заседания А.В. Никитевич на конкретных примерах продемонстрировал взаимодействие номинативных и релятивных значений, а Н.Н. Гордсй (Гродно, Белоруссия) увлекательно представила развитие и борьбу идей в области белорусской морфонологии.

Несмотря на широкий диапазон тем секционных заседаний, в содержании докладов и дискуссиях по ним отчетливо просматриваются две противоположные тенденции: с одной стороны, пристальное внимание к своеобразию в системах каждого из национальных языков, с другой – выявление черт человеческого языка в целом и его взаимодействия с носителем (индивидуумом и социумом / этносом). В поле внимания исследователей оказались почти все подсистемы языка в его национальных «костюмах», в том числе лексические, фразеологические, словообразовательные и грамматические инновации, обусловленные контекстом действительности, функционирование и взаимодействие языков в социокультурном пространстве, взаимодействие языка, языковой личности и речевой деятельности. Значительное количество докладов было посвящено изучению любимого языка Е.Ф. Карского – белорусского. Отрадно, что в чтениях активное участие приняли молодые исследователи.

В секции «Грамматические исследования языка» выделилась группа докладов гродненских исследователей, рассматривающих предлог как морфосинтаксическую категорию, обладающую полевой структурой. Представлен опыт атрибуции предлога в современном белорусском, российском, украинском, польском языкознании (М.И. Конюшкевич); на материале русского и белорусского языков исследована структура русских и белорусских предложных сочетаний «первичный предлог + наречие» с пространственной семантикой (О.Г. Николаенко); выделена группа русских и белорусских предложно-падежных синтаксем с конформативной семантикой (О.С. Деллалова); представлены принципы субкатегоризации ситуации внешней причины экзистенции и выявлены предлоги – маркеры указанной субкатегории в структуре простого предложения (И.А. Чепикова).

Семантике и типологии предикатов условно-целевых сложноподчиненных предложений посвящен доклад И.А. Бокатенко (Кировоград, Украина), выявлению факторов, влияющих на симметрию и асимметрию конверсных структур с предикатами партитивного отношения – доклад И.И. Минчук. Проблема взаимосвязи категорий «подлежащее – сказуемое» и «односоставность – двусоставность» анализируется в докладе В.К. Церлюкевича, способы и средства выражения *он*-авторизации в языке современных СМИ – в докладе Е.М. Куприян (Гродно, Белоруссия). Взгляды Е.Ф. Карского на систему белорусских наречий раскрыла И.Н. Курлович (Горки, Белоруссия). Программный инструментальный для автоматизации грамматических исследований

белорусского языка представила в своем докладе А.Ю. Станкевич (Гродно, Белоруссия), на примере отдельных неологизмов в русскоязычном Интернете проследила тенденции в грамматических инновациях О.С. Горицкая (Минск, Белоруссия).

Группа докладов гродненских лингвистов на секции «Актуальные проблемы фразеологии» была посвящена исследованиям фразеологизмов в широком смысле этого термина: традиционные структурно-семантические модели фразеологических единиц в белорусском диалектном языке рассмотрены в докладе Н.А. Даниловича, их видо-временная изменчивость – в докладе В.В. Маршевской, гиперо-гипонимические отношения между лексическими компонентами фразеологизмов в белорусском и английском языках – в докладе Т.П. Бочкарь; на материале английских паремий показаны виды модальности ирреальности в совместном докладе Е.Н. Ясюкевич и О.Г. Баламут; появление и функционирование новых устойчивых сочетаний с номинациями цвета в языке СМИ рассмотрела Т.В. Сивова. Семантические возможности номинативных и коммуникативных клише в русском и английском языках сопоставила И.В. Бырда (Минск, Белоруссия), особенности идиоматики диалектной речи Северного Полесья показала В.М. Березняк (Нежин, Украина).

Лексикологи (секция «Лексика в пространстве и времени») посвятили свои доклады исследованиям новаций в языке(ах), а также мало изученной в советскую эпоху лексике. Так, использование ресурсов различных языков в системе коммерческих названий прослежено в совместном докладе В.Л. Вороновича, Л.В. Рычковой, И.Ю. Самойловой (Гродно, Белоруссия), а семасиологические особенности названной лексики – в докладе Г.В. Зимовца (Киев, Украина). Структура, номинация, география грeko-католической эклезионимии Белоруссии представлена в докладе О.А. Борисевич (Витебск, Белоруссия). Функционированию лексики в художественном тексте в сопоставительном аспекте было уделено внимание в докладах Л.В. Бублейник (Луцк, Украина) и А.В. Суходольской (Минск, Белоруссия): в первом проведен анализ лексических несоответствий в польском и русском текстах «Пана Тадеуша» А. Мицкевича, во втором сопоставлены сравнения в поэзии И.А. Бродского и У.Х. Одена.

Ряд исследований гродненских ученых выполнен в свете теории номинации В.М. Никитевича, инициировавшего в свое время проведение в Гродно научной конференции «Словообразование и номинативная деривация

в славянских языках». Словообразовательные гнезда и аффиксы, деривационные сочетания и транспонирующие формы номинативных рядов в глаголах и именах стали предметом рассмотрения в докладах Т.И. Скоробогатой, И.Н. Чавлытко, П.С. Прибыловского, Ю.В. Шарец, А.М. Сивец. Процессы в словообразовательной системе русского языка представлены в исследованиях ученых из Каменец-Подольского (Украина): Е.В. Соловской («Словообразовательное гнездо с вершиной-антропонимом Ю.В. Тимошенко»), Т.П. Белоусовой («Универбация адъективных фразеологизмов в современном русском языке»), Э.Г. Мигуновой («Типы семантических соотношений производящих глаголов и производных имен действия в современном русском языке»). Обширный массив производной лексики – номинаций детей в русской диалектной речи – представлен в докладе О.И. Литвинниковой (Елец). Активные процессы словообразования в английских неологизмах выявлены в докладе Л.М. Середы (Гродно, Белоруссия).

На секции «Прагматика общения в современной коммуникации» два выступления были посвящены жанрам вопроса: в судебно-процессуальном дискурсе – доклад Л.В. Пономаревой (Мариуполь, Украина), как выражения косвенной просьбы в белорусском языке – выступление Е.Н. Дубицкой (Минск, Белоруссия). Особенности выражения этикетной вертикали «превозношение – уничижение» в древне- и старорусском речевом общении показала Н.С. Гребенщикова. Научный дискурс стал объектом внимания в докладах И.А. Болдаки и А.В. Испирян (Гродно, Белоруссия).

Место польского языка в коммуникативном пространстве современной Белоруссии было предметом внимания М.А. Раткевич (Минск, Белоруссия). Преобразование грамматических структур в неделимые метаязыковые стереотипные формулы в репликах-реакциях диалогической речи в болгарском речевом общении раскрыто М.И. Стефановой (София, Болгария).

Содержание выступлений на секциях «Национальные языки в их специфике и взаимодействии», «Научный, воспитательный и прагматический аспекты преподавания языка и изучения наследия Е.Ф. Карского», «Человек как языковая и речевая личность. Текст и картина мира» в силу малочисленности участников представим в одном абзаце. Так, интенсивность как компонент метафорического значения прилагательных тактильного восприятия рассматривался на данных русского и белорусского языков Е.С. Астапкиной (Минск, Белоруссия), отражение в языке «принципа на-

глядности» как универсального когнитивного механизма в освоении непредметных сущностей при концептуализации и категоризации – в докладе Р.И. Стеванович (Николаев, Украина). Лингвистические аспекты интерпретации и русских переводов поэзии Э. Дикинсон показала О.И. Гутар (Гродно, Белоруссия), роль контраста в структуре рассказа А.П. Чехова «Черный монах» в оригинальном и переводном болгарском текстах продемонстрировали

К. Иванова и Л.Р. Супрун-Белевич. Культурно-исторические факторы, влияющие на варьирование в лингвистической терминологии белорусского, русского, английского и немецкого языков, выявила Г.П. Жукова (Минск, Белоруссия).

На заключительном заседании было принято решение об итогах чтений. Сборник материалов готовится к печати.

М.И. Конюшкевич

**Опечатки, допущенные в тексте рецензии (№ 1, 2011 г.)**

**И.А. Фридман, С.В. Малышев. G. Goldenberg, A. Shisha-Halevy (eds.). Egyptian, Semitic and general grammar. Studies in memory of H.J. Polotsky. Jerusalem: The Israel Academy of sciences and humanities, 2009.**

страница	столбец	ошибочно напечатано	правильное прочтение
143	левый, строка 19 снизу	banyan	binyan
	правый, строка 7 сверху	banyan	binyan
144	левый, строка 11 сверху	aōīni	aḥīni
	правый, строка 19 снизу	baltāku	balṭāku
145	левый, строка 9 снизу	(ýəs)s-	(ʿəs)s-
	левый, строка 6 снизу	rəýəs	rəʿəs
146	правый, строка 23 сверху	òallan	ḥallan
	правый, строка 24 сверху	ÿuyūnan	ʿuyūnan
148	левый, строка 19 снизу	ýāšār	ʿāšār
		mefoÿal	mefoʿal
	правый, строка 15 сверху	mufÿal	mufʿal
		paÿul	paʿul
		nifÿal	nifʿal
	правый, строка 16 сверху	mefoÿal	mefoʿal
		mufÿal	mufʿal
		mitpaÿel	mitpaʿel
правый, строка 25 сверху	puÿal	puʿal	
	hofÿal	hofʿal	
151	правый, строка 6 сверху	əl-ÿAjārma	əl-ʿAjārma
		al-Balqāý	al-Balqāʿ

## CONTENTS

Boris A. Uspensky (Rome/Moscow). Deixis and secondary semiosis in language; Leonid L. Kasatkin (Moscow). Orthoepeme as the basic unit of orthoepy; Anatoly F. Zhuravlev (Moscow). A frequency list of motive elements in mythologies; Valentina Yu. Apresyan (Moscow). Cluster analysis of emotive concepts in Russian and English (II); Galina V. Fedyuneva (Syktyvkar). On the status of pro-verbs in language; Vadim V. Semenov (Tartu). On metrical ambiguity in the 20th century Russian non-classical verse; **From the history of linguistics:** Igor V. Nedyalkov (St. Petersburg). My father as a linguist and as a teacher; **Bibliography. Reviews:** Peter M. Arkadiev (Moscow). *R.P. Meier, H. Aristar-Dry, E. Destruel* (eds.). Text, time, and context. Selected papers of Carlota S. Smith; Natalya V. Vostrikova (Moscow). *P. Epps, A. Arkhipov* (eds.). New challenges in typology: Transcending the borders and refining the distinctions; Valery D. Solov'yev (Kazan). *M. Everaert, S. Musgrave, A. Dimitriadis* (eds.). The use of databases in cross-linguistic studies; Anna S. Kuleva (Moscow). *N.A. Nikolina*. Current trends in the language of the modern Russian fiction; **Chronicle notes:** Maria I. Konyushkevich (Grodno). XII Conference «E.F. Karsky and modern linguistics» (for the 150th anniversary of Evfimy Fedorovich Karsky).

---

Сдано в набор 15.12.2010	Подписано к печати 24.02.2011	Формат бумаги 70 × 100 <sup>1/16</sup>		
Офсетная печать	Усл. печ.л. 13.0	Усл.кр.-отт. 9.2 тыс.	Уч.-изд.л. 15.6	Бум.л. 5.0
Тираж 694 экз.		Зак. 1153		

---

Учредитель: Российская академия наук

---

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука»,  
117997 Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон (495) 637-25-16

Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»», 121099 Москва, Шубинский пер., 6